

АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

---

# ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ПО ОБЩЕМУ  
И СРАВНИТЕЛЬНОМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

6

НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ

---

«НАУКА»  
МОСКВА — 1991

Главный редактор: Т. В. ГАМКРЕЛИДЗЕ

Заместители главного редактора:

Ю. С. СТЕПАНОВ, Н. И. ТОЛСТОЙ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

АБАЕВ В. И.  
БАНЕР В. (ФРГ)  
БЕРНШТЕЙН С. Б.  
БИРНБАУМ Х. (США)  
БОГОЛЮБОВ М. Н.  
БУДАГОВ Р. А.  
ВАРДУЛЬ И. Ф.  
ВАХЕК Й. (ЧСФР)  
ВИНТЕР В. (ФРГ)  
ГРИНБЕРГ Дж. (США)  
ДЕСНИЦКАЯ А. В.  
ДЖАУКЯН Г. Б.  
ДОМАШНЕВ А. И.  
ДРЕССЛЕР В. (Австрия)  
ДУРИДАНОВ И. (Болгария)  
ЗИНДЕР Л. Р.  
ИВИЧ Н. (СФРЮ)  
КЕРНЕР К. (Канада)  
КОМРИ Б. (США)  
КОСЕРНУ Э. (ФРГ)  
ЛЕМАН У. (США)  
МАЖЮНС В. П.

МАЙРХОФЕР М. (Австрия)  
МАРТИНЕ А. (Франция)  
МЕЛЬНИЧУК А. С.  
НЕРОЗНАК В. П.  
ПИЛЬХ Г. (ФРГ)  
ПОЛОМЕ Э. (США)  
РАСТОРГУЕВА В. С.  
РОБИС Р. (Великобритания)  
СЕМЕРЕНЬИ О. (ФРГ)  
С. ЛЮСАРЕВА Н. А.  
ТЕНШЕВ Э. Р.  
ТРУБАЧЕВ О. Н.  
УОТКИНС К. (США)  
ФИШЬЯК Я. (Польша)  
ХАТТОРИ СИРО (Япония)  
ХЕМП Э. (США)  
ШВЕДОВА Н. Ю.  
ШМАЛЬСТИГ В. (США)  
ШМЕЛЕВ Д. Н.  
ШМИДТ К. Х. (ФРГ)  
ШМИТТ Р. (ФРГ)  
ЯРЦЕВА В. Н.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЛПАТОВ В. М.  
АПРЕСЯН Ю. Д.  
БАСКАКОВ А. Н.  
БОНДАРКО А. В.  
ВАРЬБОТ Ж. Ж.  
ВИНОГРАДОВ В. А.  
ГРАДЖИЕВА Н. Э.  
ГЕРЦЕНБЕРГ Л. Г.  
ГЛАК В. Г.  
ДЫБОВ В. А.  
ЖУРАВЛЕВ В. К.  
ЗАЛИЗНЯК А. А.  
ЗЕМСКАЯ Е. А.  
ИВАНОВ ВЯЧ. ВС.  
КАРАУЛОВ Ю. Н.  
КИБРИК А. Е.  
КЛИМОВ Г. А. (отв. секретарь)

КОЗЛАСОВ С. В.  
ЛЕОНТЬЕВ А. А.  
МАКОВСКИЙ М. М.  
НЕДЬКОВ В. Н.  
НИКОЛАЕВА Т. М.  
ОТКУШЕННИКОВ Ю. В.  
СОБОЛЕВА И. В. (зам. отв. секретари)  
СОСНИЦЕВ И. М.  
СТАРОСТИН С. А.  
ТОНОРОВ В. Н.  
УСПЕВСКИЙ Б. А.  
ХЕЛЛИМСКИЙ В. А.  
ХРАКОВСКИЙ В. С.  
ШАРЬБАТОВ Г. Ш.  
ШВЕЙЦЕР А. Д.  
ШИРОКОВ О. С.  
ЩЕРБАК А. М.

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 48/2. Институт русского языка.

редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 203 00 78

## СОДЕРЖАНИЕ

Д е с н и ц к а я А. В. (Ленинград). О В. М. Жирмунском — лингвисте (К столетию со дня рождения) . . . . .	5
✓ Э ш т е й н М. Н. (Москва). Идеология и язык (Построение модели и осмысление дискурса) . . . . .	19
П а д у ч е в а Е. В. (Москва). К семантике несовершенного вида в русском языке. Общезначимое и акциональное значение . . . . .	34
✓ Ф е д о р о в а Л. Л. (Москва). Типология речевого воздействия и его место в структуре общения . . . . .	46
✓ Л е б е д е в а Л. Б. (Рязань). Референциальные критерии в типологии высказываний . . . . .	51
С к л я р е н к о В. Г. (Киев). К истории славянской подвижной акцентной парадигмы . . . . .	64
К а л а ш н и к о в а Г. Ф. (Харьков), А л ь н и к о в а В. Ю. (Калинин). О структурной организации русского полипредикативного сложносочиненного предложения . . . . .	78
Х а л и л о в М. Ш. (Махачкала). К вопросу о грузинско-дагестанских языковых контактах (К постановке проблемы) . . . . .	90
Ш у т о в а Е. И. (Москва). Система членов предложения современного китайского языка . . . . .	101

### ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЙ

П р и ц а к О. И. (Кембридж, Массачусетс). Происхождение названия <i>RCS / RUS</i> . . . . .	115
--	-----

### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

#### Р е ц е н з и и

К р а с у х и н К. Г. (Москва). <i>Seriot P. Analyse du discours politique soviétique</i> . . . . .	132
П л у н г и н В. А. (Москва). <i>Sociolinguistics. An international handbook of the science of language and society</i> . . . . .	138
М о м и н а М. А. (Ленинград). <i>Joannis C. Tarnanidis. The Slavonic manuscripts, discovered in 1975 at St. Catarine's monastery on mount Sinai</i> . . . . .	141
Ш и р я е в Е. Н. (Москва). <i>Шварцкопф В. С. Современная русская пунктуация: система и ее функционирование</i> . . . . .	148

#### НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки . . . . .	152
Указатель статей, опубликованных в 1991 г. . . . .	158

## CONTENTS

Desnickaja A. V. (Leningrad). Academician V. M. Žirmunskij as a linguist (on the centenary of his birthday); Epstein M. N. (Moscow). Ideology and language (modelling and interpretation of discourse); Padučeva E. V. (Moscow). The semantics of the imperfective aspect in Russian: the factual and actional meanings; Fedorova L. L. (Moscow). Typology of speech influence and its place in the structure of the intercourse; Lebedeva L. B. (Rjazan'). Reference criteria in the typology of utterances; Skljarenko V. G. (Kiev). On the history of the Slavonic mobile accent paradigm; Kalašnikova G. F. (Kharkov), Al'nikova V. Yu. (Kalinin). On the structuring of the Russian polypredicative compound sentences; Khalilov M. S. (Makhackala). On the Georgian-Daghestanian language contacts (The statement of the problem); Sutova E. I. (Moscow). The system of the parts of speech in modern Chinese; **From the foreign journals:** Pritsak O. I. (Cambridge, Mass.). The origin of the name *RUS / RUS'*; Krasukhin K. G. (Moscow). *Seriot P.* Analyse du discours politique soviétique; **Reviews:** Plungian V. A. (Moscow). *Sociolinguistics. An international handbook of the science of language and society*; Momiina M. A. (Leningrad). *Joannis C. Tarnanidis*. The Slavonic manuscripts, discovered in 1975 at St. Catharine's monastery at Mount Sinai; Sirjaev E. N. (Moscow). *Švartskopf B. S.* The contemporary Russian punctuation: system and its functioning. **Scientific life:** Chronicle features; Index of articles published in 1991.

© 1991 г.

ДЕСНИЦКАЯ А. В.

## О В. М. ЖИРМУНСКОМ — ЯЗЫКОВЕДЕ

(К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

В августе 1991 года исполнилось 100 лет со дня рождения Виктора Максимовича Жирмунского, принадлежавшего к великой плеяде филологов, прославивших советскую науку.

Подобно своим выдающимся предшественникам и современникам, В. М. Жирмунский отличался широтой исследовательских интересов, охватывавших различные области филологической науки, каждую из которых он обогатил плодами своего яркого таланта. Одним из свойств научного таланта Жирмунского была тенденция к универсальному охвату всего комплекса дисциплин, традиционно объединяемых в академической номенклатуре под девизом «Язык и литература». В этом отношении научная деятельность В. М. представляется феноменальной даже на фоне той широты диапазона исследовательских интересов, которая была характерна для многих из принадлежавших к блестящему ряду русских филологов, работавших в таких областях, как востоковедение, славистика, русский язык и древнерусская литература. Обычным путем расширения диапазона научных интересов в большинстве случаев было включение в круг исследования целого комплекса родственных дисциплин, углублявшее процесс всестороннего изучения письменных памятников, оказывавшихся в центре внимания. Этим определялись внутренние обусловленные выходы в историю, философию, палеографию, археологию, этнографию и др., т. е. расширение круга фактов, необходимых для воссоздания конкретной среды возникновения и бытования письменных памятников, их прошлой жизни в пространстве и времени.

В. М. Жирмунскому был также отнюдь не чужд подобный подход к организации исследований, что и получило яркое отражение в целом ряде его научных трудов. Однако своеобразием его научного таланта была возможность создания — одновременно или в последовательности — не одного центростремительного круга научных исканий, но целого ряда таких кругов, иначе говоря, возможность для ученого, а также желание работать параллельно в целом ряде областей, входящих в условный комплекс «Язык и литература», притом с тенденцией к синтетическим построениям, к выходу в сферы общей теории. По широте охвата филологической проблематики В. М. Жирмунский может быть сопоставлен лишь с А. Н. Веселовским.

Поражает многообразие областей, в которых раздвигалось научное творчество В. М. Жирмунского на протяжении 60 лет его научной биографии. Сюда входили: история конкретных литератур и сравнительная литературоведение, изучение русской поэзии серебряного века и общая теория стиха, изучение фольклора отдельных народов и типологическая концепция исторического развития эпического творчества народов мира, немецкая диалектология и теория лингвистической географии, история

германских языков и общая теория языка. Поэтому не приходится удивляться тому, что как при жизни ученого, так и при изучении его научного наследия, естественным казалось и кажется говорить о нем специально как о литературоведе, фольклористе, языковеде. Кроме того, Жирмунский — литературовед-русист, литературовед и лингвист-германист, фольклорист-тюрколог...

Возникает вопрос, как мог один ученый соединить в своем творчестве столько научных индивидуальностей? Мало сказать, что Жирмунский обладал талантом и невероятным трудолюбием. Главное, чем он обладал, — это ни с чем не сравнимая и неистребимая жизнестойкость интереса к науке как к процессу познания и творческого самовыражения. В. М. Жирмунский не устал открывать все новые и новые области приложения своего исследовательского таланта, распространять на них свой опыт лингвиста, литературоведа, фольклориста. Так, уже во второй половине жизни он решил сосредоточить усилия на освоении совершенно новой для него и, казалось бы, далекой научной специальности — тюркологии. Результатом явилось создание выдающихся трудов, посвященных эпическому творчеству тюркских народов Средней Азии и проблемам тюркского стихосложения. В. М. Жирмунский показал на этом примере, что ученый может и должен учиться, учиться на протяжении всей жизни. И он учился, учился вместе со своими коллегами, со своими учениками. При этом он не принадлежал к типу замкнутых в своих кабинетах ученых, но любил жизнь во всех ее проявлениях, любил людей, любил природу, любил искусство. Несмотря на то, что общественная жизнь не раз поворачивалась к нему самыми жестокими сторонами, В. М. Жирмунский в бурях времен всегда оставался верным рыцарем науки, добрым учителем, добрым другом, всегда был готов помочь, защитить людей науки от несправедливых гонений.

В. М. Жирмунский был не только творчески активным ученым, но и талантливым организатором науки, что ярко проявлялось в его академической деятельности. Достаточно напомнить здесь о его плодотворной деятельности на посту председателя Научного совета «Теория советского языкознания», о его, к сожалению, недолгой, но очень научно значимой деятельности во главе редколлегии журнала «Вопросы языкознания». В. М. Жирмунский высоко ценил теоретические возможности и задачи главного лингвистического журнала нашей страны и был его многолетним сотрудником.

Настоящая статья посвящена специально лингвистическим трудам ученого, причем эти труды рассматриваются в исторической динамике их создания.

\*

Путь В. М. Жирмунского-лингвиста начался в середине 20-х годов и непрерывно продолжался до самого конца его творчески богатой и разносторонней научной биографии. В широком кругу языковедческих интересов выдающегося ученого можно выделить несколько основных тем, которые последовательно возникали на отдельных этапах его научной деятельности. Характерно, что теоретические проблемы, однажды возбудившие его творческий интерес, никогда не представлялись ему исчерпанными. Он снова и снова возвращался к ним, поворачивая их новыми гранями и углубляя их освещение в новых теоретических аспектах и с привлечением новых материалов. Поэтому очень различные, на первый взгляд, лингвистические вопросы оказывались взаимосотнесенными и связан-

ными в общем построении языковедческой концепции. Если рассматривать языковедческую концепцию В. М. Жирмунского на протяжении ряда десятилетий, невольно возникает образное сравнение ее с контрапунктом, в котором последовательно включаются отдельные темы и далее уже не снимаются, но продолжают звучать в сложных взаимодействиях, с нарастанием или убыванием интенсивности, формируя таким образом гармоническое целое.

Первой языковедческой темой В. М. Жирмунского были вопросы образования смешанных говоров, составляющие часть большой теоретической проблемы — проблемы взаимодействия языков (диалектов) в процессе их исторического развития. К этой теме Жирмунский пришел через комплексное изучение языка, фольклора и этнографии немецких поселений на территории СССР, развернувшееся в 20-е годы в общем контексте культурной работы среди национальных меньшинств. В период 1926—1931 гг. В. М. Жирмунский руководил рядом диалектологических и фольклорных экспедиций в районы Украины, Крыма и Закавказья. В его работах 20-х — начала 30-х гг. получил отражение широкий круг вопросов, связанных с изучением культурных и языковых традиций немецких крестьян, переселившихся в конце XVIII — начале XIX вв. на земли бывшей Российской империи.

В центре внимания ученого оказались полевые исследования и описания говоров — швабских говоров Закавказья и Украины, франкошвабских и северно-баварского говоров Украины. Результаты исследований публиковались в советских научных изданиях, а также за рубежом — в специальных журналах по германистике.

В формировании теоретических взглядов Жирмунского-диалектолога большую роль сыграло приобщение его к работам немецкой школы диалектной географии, интенсивно развертывавшимся в 20-е годы в связи с подготовкой карт Диалектологического атласа Германии под руководством Ф. Вреде и Т. Фрингса. В. М. Жирмунский высоко оценивал теоретические достижения этой школы, представлявшей наиболее прогрессивное направление в области лингвистической географии, непосредственно ориентированной на изучение истории языка в связи с историей народа.

В теоретическую диалектологию В. М. Жирмунский вошел со своей темой: изучение процессов диалектного смешения в условиях переселения компактных групп крестьянских семей, представлявших различные говоры. Он открыл фонетические закономерности этих процессов, сформулировав оригинальную теорию «первичных» и «вторичных» признаков диалекта. В работе 1929 г. он писал: «... мы будем обозначать, как п е р в и ч н ы е диалектические признаки, те особенности указанных говоров, которые образуют наиболее заметные отклонения от нормы литературного языка (или от соседних говоров), а менее значительные отклонения будем называть в т о р и ч н ы м и диалектическими признаками» [1, с. 496]. Результаты проведенных им полевых исследований показали, что при смешении франкских говоров со швабскими или верхнегессенскими «...первичные признаки этих последних, как правило, отпадают, даже в том случае, когда на стороне этих говоров было численное превосходство. Первичные признаки являлись наиболее значительным препятствием при сношениях между разноязычными поселенцами и потому должны были прежде всего подвергнуться нивелирующему воздействию языкового смешения. Вторичные признаки швабского и верхнегессенского могут

конкурировать с соответствующими особенностями франкских говоров, причем победа остается и здесь то за одним типом, то за другим» [1, с. 502]. Отмечалось, что признаки франкской группы, даже в случаях расхождения с литературной нормой, обладают значительной стойкостью, т. к. они являются грамматической основой «общего языка» для большей части новых поселений [1, с. 493].

Уже тогда В. М. Жирмунский с полным основанием подчеркнул общетеоретическое значение закономерностей диалектного смещения, наблюдаемых им на материале переселенческих говоров. Он указывал, что мы можем таким образом обнаружить «механизм процессов языкового смещения» вообще и что методологические выводы из непосредственных наблюдений над современными говорами послужат основанием для заключений по поводу аналогичных процессов в более отдаленные эпохи исторического развития языков. Применительно к истории немецкого языка проведенные в «лабораторных условиях» переселенческой диалектологии исследования дают возможность утверждать, как полагал В. М. Жирмунский, что на новой почве повторился «... тот же процесс смещения, который в самой Германии привел к образованию восточнореднемецких наречий» (1, с. 510), ср. [2, 3]. К намеченным в этой первой серии его лингвистических исследований положениям о непосредственной связи истории языка с диалектологией и о теоретическом значении изучения диалектных процессов для понимания исторических закономерностей языкового развития В. М. Жирмунский снова обратился ряд лет спустя и специально развернул их в трудах 50—60-х гг.



Изучение лексики крестьянских говоров, которому В. М. Жирмунский уделял много внимания в конце 20-х — начале 30-х гг., непосредственно привело его к вопросам социальной диалектологии в более широком плане. Проблема социальной дифференциации языковых явлений стояла в центре интересов советской лингвистической науки указанного периода. Это в немалой степени определялось актуальной потребностью участия языковедов в культурно-языковом строительстве, а также их стремлением применить в языкознании принципы марксизма. Наблюдение процессов, действовавших в языках современной эпохи, а также явлений относительно недавнего прошлого и их социологическая интерпретация — все это содействовало концентрации внимания на вопросах лингво-социологического характера.

В. М. Жирмунский был в числе основателей социологического направления в советском языкознании. Этому в немалой степени способствовала творческая среда Ленинградского Института Речевой Культуры (ИРК), где протекала также научная деятельность Б. А. Ларина, изучавшего явления социальной дифференциации в языке города, и, в особенности, Л. П. Якубинского, который в разработке образования национальных языков впервые творчески использовал высказывания В. И. Ленина по национальному вопросу [4]. Руководя в ИРК'e Кабинетом социальной диалектологии, В. М. Жирмунский активно участвовал во всех теоретических начинаниях и дискуссиях этого научного коллектива.

Основное направление его научных интересов указанного периода получило отражение в книге [5], написанной с привлечением широкого круга фактов русского и западноевропейских языков. Она содержит очерки следующих проблем: 1) Язык и диалекты. 2) Языковые отношения

эпохи феодализма. 3) Образование национальных языков. 4) Социальные диалекты эпохи капитализма. 5) Профессиональная лексика, жаргоны, арго. 6) Интернациональные и националистические тенденции в языке буржуазного общества. 7) Образование немецкого национального языка.

В предисловии автор указывал, что проблема социальной дифференциации в языке наиболее отчетливо выявляется при изучении языковых отношений буржуазного общества и что поэтому в методологическом отношении вполне закономерно начинать изучение новой лингвистической проблемы с материала языковой борьбы в условиях развитого классового общества, т. е. с социальных диалектов, «... доступных более непосредственному наблюдению и не потерявших своей актуальности с точки зрения языковой политики сегодняшнего дня» [5, с. 5]. Возможно, рассуждая так, В. М. Жирмунский скрыто полемизировал со взглядами Н. Я. Марра, настойчиво проводившего мысль о существовании классов и классовых противоречий в первобытном обществе.

В своей книге В. М. Жирмунский говорил о социальных диалектах, существующих рядом с языком господствующих классов, являющимся «господствующим языком данного общества», а именно — о крестьянских говорах, о мещанском просторечии, о диалектно окрашенном языке рабочих, о «принципиальном двуязычии», составляющем характерный признак языкового развития в капиталистическом обществе [5, с. 6].

Тридцать лет спустя, оценивая научное значение социологических исследований советских языковедов 20—30-х гг., а в их числе и свой труд «Национальный язык и социальные диалекты», Жирмунский самокритично заметил: «Разумеется, в настоящее время мы вряд ли сочли бы правильным так упрощенно и прямолинейно отождествлять социальную дифференциацию языка с классовой дифференциацией общества. Однако, всякое явление социальной дифференциации в конечном счете обусловлено классовыми отношениями и классовой борьбой. Книга была написана в 1934 г. и опубликована в 1936 г. Характерно, что имя акад. Н. Я. Марра в ней нигде не упоминается» [6].

Для современного читателя наличие некоторых элементов вулгарного социологизма не должно заслонять большое научное значение книги «Национальный язык и социальные диалекты», которая и в наше время продолжает оставаться одним из наиболее содержательных исследований исторических аспектов социолингвистической проблематики. В плане дальнейшего движения теоретической мысли в области разработки теории национальных языков специальный интерес имел заключительный раздел книги «Образование немецкого национального языка». В этой части своего труда автор проследил на широком лингвистическом, историческом и историко-литературном материале развитие языковых процессов, протекавших в Германии, и их обусловленность особенностями общественного развития страны.

•

В 30-е годы лингвистические интересы В. М. Жирмунского заметно концентрировались на проблемах языковой истории. Эта направленность, уже определившаяся в его предшествующих занятиях диалектологией, получила новые стимулы в связи с опубликованием ранее неизвестной работы Ф. Энгельса «Франкский диалект». Ознакомившись с работой еще до ее выхода в свет, Жирмунский живо откликнулся на это научное событие. «„Франкский диалект“, — писал он, — является специальным научным исследованием по исторической диалектологии, объединяющим

исключительную зрелищность в этой области с широкими историческими и методологическими перспективами» [7]. Однако к исследованию поставленных в работе Энгельса вопросов исторической диалектологии немецкого языка и специального вопроса о племенных диалектах древних германцев В. М. Жирмунский обратился лишь много лет спустя, в работах 50—60-х гг. В центре внимания В. М. Жирмунского к середине 30-х гг. оказались вопросы исторической грамматики и специально — проблема внутренних закономерностей развития грамматического строя немецкого языка. Этой теме В. М. Жирмунский посвятил специальную работу [8], в которой развивалась мысль о существовании закономерных тенденций, определяющих характер и направление развития языковых структур.

В этот период своих лингвистических занятий В. М. Жирмунский рассматривал внутренние тенденции развития грамматического строя немецкого языка, исходя из положения о закономерности его эволюции от флективного типа структуры к аналитическому, т. е. на основе теории морфологического прогресса в языках, с которой он в то время связывал концепцию развития более адекватных средств выражения мыслительного содержания. Позднее этот подход был им самим критически пересмотрен [9]. Однако даже в рамках несколько ограниченной указанным подходом постановки вопросов исторической грамматики немецкого языка, В. М. Жирмунскому удалось выявить уже в этом первом из его историко-грамматических исследований целый ряд закономерно возникавших инноваций в структуре немецкого языка нового времени.

Характерно, что уже в [8] В. М. Жирмунский широко использовал диалектные факты как имеющие существенное значение при определении направления и внутренней динамики процесса эволюции строя немецкого языка в целом. Так например, считая одним из наиболее характерных для развития немецкой морфологической структуры явлений тенденцию к унификации способов образования форм множественного числа имен в соответствии с грамматическим родом, он отмечал, что в диалектах, не связанных письменной традицией, эта тенденция проявляется особенно отчетливо. Устанавливая основные линии развития немецкой глагольной системы и указывая на появление нового способа обозначения категории лица — с помощью обязательной постановки местоимения при глаголе, он также обнаружил наибольшую последовательность реализации этой тенденции в диалектах, а именно в тех, для которых характерно устранение различий личных глагольных окончаний во множественном числе.

Вполне очевиден следующий факт: когда в начале 50-х гг. в советском языкознании предметом активного обсуждения стала проблема внутренних законов развития языка, выступления В. М. Жирмунского с докладами и статьями, посвященными этой теме, не были для него случайными. Актуализация указанной проблемы собственно подтвердила теоретическую значимость проводившихся им ранее исследований вопросов исторического развития немецкой грамматической структуры.

Свои разработки проблемы образования немецкого национального языка и вопросов развития его грамматического строя В. М. Жирмунский синтезировал в учебнике [10]. Эта настольная книга германистов многократно переиздавалась с существенными дополнениями.

\*

В середине 30-х годов в творчестве В. М. Жирмунского обозначился поворот к историко-типологической проблематике. Началом этого важ-

ного этапа в развитии его научных взглядов явилась статья [11]. Изложенная в ней концепция единства историко-литературного процесса, обусловленного единым социально-историческим процессом развития человечества, была в то время сформулирована в свете теории Н. Я. Марра о «единстве глоттогонического процесса». В понимании Жирмунского, как и многих других языковедов, принимавших отдельные положения марровской концепции, основное содержание указанной теории состояло в признании связи развития языковых категорий с «развитием мышления» и «их обусловленности общим процессом социально-исторического развития человечества» [11, с. 383]. Для конкретного лингвистического исследования «это значит, что наличие аналогичных явлений в разных языках и возможность их сравнения может объясняться не только общностью происхождения (от „праязыка“) или прямым заимствованием („влиянием“ одного языка на другой), но также сходством (аналогиями) языка и мышления на одинаковых стадиях социально-исторического развития» [11, с. 383]. Сформулированный таким образом историко-типологический подход к изучению языковых явлений был удачно проиллюстрирован на примере развития сложноподчиненного предложения, обнаруживающего общность для ряда языков закономерности.

Несколько позднее В. М. Жирмунский применил свое понимание лингвистической «стадиальности» специально к области сравнительного языковедения; он подчеркивал, что «путь к стадиальной истории языка лежит через сравнительную грамматику» и «сравнительная грамматика генетическая должна опираться на сравнительную грамматику типологическую» [12].

Такова была в конце 30-х и в 40-е годы позиция, разделявшаяся рядом сотрудников бывшего Института языка и мышления Академии наук (С. Д. Кацнельсон, В. И. Абаев, М. М. Гухман, Д. В. Бубрих, А. В. Десницкая). Позиция эта не только открывала возможность сравнительно-исторического изучения родственных языков в рамках так называемого «нового учения о языке», но и способствовала обогащению исследований элементами историко-типологического сравнения с неродственными языками, чем достигалась известная широта постановки историко-грамматических проблем в генетическом плане.

Ярким примером удачного применения «стадиально-типологического сравнения» при изучении вопросов генезиса и развития грамматических категорий в группах родственных языков явилась статья В. М. Жирмунского [13]. Одной из основных затронутых в ней тем был вопрос о генетической связи категории прилагательных в индоевропейских языках с именами существительными, выступавшими в функции атрибута, о чем свидетельствует исходное единство морфологического оформления существительных и прилагательных. В статье были сопоставлены в историко-типологическом плане представленные в грамматических системах индоевропейских и тюркских языков возможности выражения атрибутивных значений с помощью имени, выступающего как носитель определенного качества.

Более подробно этот вопрос был освещен в другой статье того же времени [14], где для обоснования указанной концепции происхождения грамматической категории прилагательных было использовано большое количество фактов из сравнительной грамматики индоевропейских языков и снова были привлечены «стадиально-типологические» аналогии соответствующих конструкций в тюркских и монгольских языках. Следует заметить, что сама эта концепция вполне соответствует традициям

индоевропейского сравнительного языкознания, что и отмечалось соответствующими ссылками на работы К. Бругмана и, в особенности, на исследования А. А. Потебни.



В 50-е годы В. М. Жирмунским был написан и опубликован монументальный труд [15], в котором были развиты и синтезированы основные направления исследований, проводившихся автором на протяжении тридцати лет.

Однако, характеризуя содержание и значение этого труда, невозможно ограничиться признанием того, что Жирмунский лишь подвел в нем итоги своим занятиям немецкой диалектологией и своим исследованиям проблемы образования немецкого национального языка в его соотношении с диалектами. Все это, несомненно, содержится в книге «Немецкая диалектология». Тем не менее, эту книгу никак нельзя рассматривать только как компиляцию материалов, сведений и идей, увенчавший долголетние труды ученого в одной специальной области лингвистических знаний. Основным и главным в ней для самого автора было движение вперед, разработка новой большой проблемы, осуществление особой, новой для науки задачи — создание истории языка в перспективе внутренние закономерной эволюции всех его диалектных разновидностей.

Сочетание историко-типологического и сравнительного методов изучения закономерностей развития языка, представленного в ряде территориальных вариантов, с методом лингвистической географии дало Жирмунскому возможность создать синтетический труд, который по своему теоретическому значению выходит далеко за пределы обобщающих работ по диалектологии в обычном понимании этого термина. Поставленные перед собой задачи В. М. Жирмунский определил в предисловии: «... научная история немецкого языка должна строиться на основе диалектологии, ... историческая грамматика немецкого языка опираться на сравнительную грамматику немецких диалектов...» [15, с. 3]. В этих кратких формулировках в сущности заключена программа целого направления исследований. Не имея в этой области предшественников, В. М. Жирмунский взял на себя грандиозный труд теоретического обобщения огромного количества эмпирических описаний немецких диалектов, воздвигнув стройное здание новой научной дисциплины, которую он обозначил как «сравнительная грамматика диалектов».

Сам он скромно характеризовал свои исследовательские разработки как «... попытку обобщить и теоретически осмыслить обширный материал частных фактов и наблюдений, собранный в многочисленных записях и специальных исследованиях по немецкой диалектологии» [15, с. 3—4]. В своей книге В. М. Жирмунский собственно заново проанализировал материал эмпирического характера, накопленный несколькими поколениями немецких диалектологов, стремясь обнаружить в нем внутреннюю динамику исторической эволюции фонетики и морфологического строя немецких диалектов. Именно в сложном многообразии диалектных явлений он стремился выявить общие внутренние закономерности существования и развития немецкой народноразговорной речи в ее ненормированном состоянии.

«Сравнительно-историческое рассмотрение, — писал Жирмунский, — представляет и в этой области единственно возможный путь к раскрытию общих внутренних закономерных тенденций исторического развития языка в его диалектах. В книге сделана попытка на материале диалектов ос-

ветить с этой точки зрения некоторые центральные проблемы исторической фонетики и грамматики немецкого языка» [15, с. 5].

Этой установкой определилось построение книги «Немецкая диалектология», созданной как теоретическое исследование новой научной проблемы. В первой части, помимо широко развернутого критического обзора литературы о немецких диалектах, дано теоретическое рассмотрение основных проблем лингвистической географии. Заключительный раздел книги посвящен вопросам исторического развития немецких диалектов в социально-историческом и лингвогеографическом аспектах. Центральное место занимают часть II — «Сравнительная фонетика» и часть IV — «Сравнительная морфология», имеющие характер монографий. В этих монографиях развернут детальный анализ фонетических и морфологических особенностей и явлений всех немецких диалектов, рассмотренных в их исторической эволюции. В результате исследования колоссального количества лингвистических фактов были выявлены общие закономерности развития немецкой народноразговорной речи во всех ее территориальных вариантах. Все частные явления, создающие обычно картину необычайной диалектной пестроты, рассмотрены в единой перспективе внутренней истории немецкого языка, которая получила, таким образом, как бы новое измерение.

Заключая свое новаторское исследование, В. М. Жирмунский с полным правом отмечал: «Изучение диалектов, которые на протяжении многих веков служили средством устного общения народных масс, вносит существенный корректив в наши представления об истории языка, почерпнутые из письменных источников, открывая путь к построению истории языка в связи с историей народа... Показания письменных памятников лишь поверхностно отражают творческие процессы развития языка, которые происходят в условиях устного языкового общения в глубине народных масс, являющихся истинными творцами истории: поэтому история письменного (литературного) языка, построенная на этих показаниях, неизбежно остается на периферии языковых явлений, и с трудом может нащупать пути от истории языка к истории народа» [15, с. 536].

Выдвигая в качестве теоретического задания выявление внутренних закономерностей, определяющих общее направление развития системы немецкого языка в целом, Жирмунский придавал особое значение исследованию диалектов прежде всего потому, что в них действие этих внутренних закономерных тенденций не связано с влиянием устойчивой письменной традиции. Как уже было отмечено выше, это положение было впервые сформулировано Жирмунским еще в 30-е годы в работе «Развитие строя немецкого языка». Книга «Немецкая диалектология» явилась таким образом осуществлением давно поставленной научной задачи.

Значение труда «Немецкая диалектология» выходит за пределы германистики как особой научной дисциплины. Фонетические и морфологические процессы, открытые Жирмунским в немецких диалектах, показывают, как реально «делается» история языка, если эволюция его фонетической и грамматической системы не сдерживается письменной традицией. Это образец истории языка в его народноразговорной форме. Представитель любой лингвистической специальности, если он занимается не составлением схем, а изучением живых языковых фактов в их практическом многообразии и исторической динамичности, найдет в книге В. М. Жирмунского много поводов для размышлений, много оснований для типологических сравнений и дальнейших теоретических обобщений.

С конца 50-х годов В. М. Жирмунский перенес центр своего исследовательского интереса с вопросов диалектологии и истории немецкого языка на область общей германистики. Он углубился в проблемы сравнительной грамматики германских языков. Специальное монографическое исследование он посвятил давно занимавшему его вопросу о древнегерманских племенных диалектах. В книге [16] он осветил проблему классификации древнегерманских диалектных групп в их исторических взаимосвязях. Свидетельства античных писателей и материалы древних письменных памятников дополняются в этом исследовании материалами диалектологии, без которых, как заметил автор, «...сравнительная грамматика германских языков на современном уровне научного развития уже не может обходиться...» [16, с. 5].

Поставленные в этой книге проблемы являются предметом дискуссий в зарубежной германистике. В. М. Жирмунский подошел к ним с учетом методов и достижений современной лингвистической географии. Он подчеркнул при этом значение факторов социального порядка, считая необходимой постановку вопроса о конкретных исторических связях языка с породившей его социальной действительностью, с его реальными историческими носителями. При таком подходе «языки и наречия, диалекты и поддиалекты из безвоздушного пространства классификационной схемы переносятся в определенную историческую и географическую среду» [16, с. 7]. И далее: «...в своем исследовании мы будем исходить из положения, что носителями древнегерманских диалектов были германские племена и племенные союзы и что тем самым сравнительная грамматика германских языков опирается как на свою историческую основу на *сравнительное изучение племенных диалектов древних германцев*» [16, с. 7]. Можно заметить непосредственную связь указанных установочных положений этого исследования с проблемами, поставленными Энгельсом в его работе «К истории древних германцев» и, в особенности, с составляющим ее часть чисто лингвистическим экскурсом «Франкский диалект», о котором В. М. Жирмунский неоднократно писал и который он считал «методологически основополагающим исследованием по древнегерманским племенным диалектам» [16, с. 21].

Углубляя хронологическую ретроспективу сравнительно-исторического изучения германских языков, в последние годы своей жизни В. М. Жирмунский исследовал проблему прагерманского языкового состояния. В 1967 г. им была написана статья [17], опубликованная уже посмертно<sup>1</sup>. Автор положительно ответил на поставленный вопрос, находя лингвистически обоснованным положение о существовании общегерманского или прагерманского единого языка, в ряду других индоевропейских языков. Внутри общегерманского единства уже могла образоваться «очень ранняя диалектная дифференциация, также не слишком значительная, но с течением времени возрастающая» [17, с. 274].

Таким образом, на протяжении своего научного пути В. М. Жирмунский охватил исследованиями широкий круг германистических проблем, начав с изучения современных крестьянских говоров и придя к постановке ключевых вопросов сравнительной грамматики германских языков.

<sup>1</sup> На указанную тему В. М. Жирмунским был прочитан доклад на Международной лингвистической конференции в Милане в сентябре 1969 г. [18].

Внутренняя логика развертывания лингвистических исследований все более и более определяла направление научных интересов В. М. Жирмунского в сторону проблем общей лингвистической теории. Как один из ведущих языковедов страны, он в течение ряда лет возглавлял деятельность Научного Совета по теории советского языкознания при Отделении литературы и языка АН СССР, активно участвовал в теоретических дискуссиях по актуальным проблемам лингвистической науки. Продолжая разрабатывать основные линии своих лингвистических исследований, которые в послевоенные годы преимущественно концентрировались вокруг вопросов исторического развития германских языков, он в то же время неоднократно возвращался к проблемам, занимавшим его в более ранние периоды, особенно в связи с тем, что эти проблемы приобретали большую актуальность на новейших этапах движения лингвистической науки.

Так, в 60-е годы он снова возвращается к теоретическим вопросам лингвистической географии, включая сюда и обсуждение вопроса о задачах и методах создания диалектологического атласа тюркских языков [19]. В постановке темы этого большого коллективного труда важную роль сыграла научная инициатива Жирмунского, который в данном случае выступал и как признанный теоретик в области методов лингвистической географии, и как лингвист-тюрколог.

Относясь к числу основателей социально-лингвистического направления в советском языкознании, В. М. Жирмунский был первым, кто в 60-е годы поднял вопрос о возобновлении в нашей науке этой линии исследований. Он справедливо указывал на то, что устранение вопросов социальной дифференциации языка из тематики языковедческих работ в период 50-х годов (после лингвистической дискуссии 1950-го года) нанесло определенный ущерб нашей науке, отразившийся в «...методологической неполноценности большинства трудов последнего десятилетия, посвященных проблемам истории языка в связи с историей общества» [20].

Хорошо известен «взрыв» интересов к социолингвистической проблематике, который довольно бурно обозначился в зарубежном языкознании 60—70-х гг., особенно в американской лингвистике, которая даже претендует на приоритет в создании «социолингвистики» как специальной научной дисциплины. Устные и печатные выступления Жирмунского, в которых он убедительно напоминал о традициях отечественного языкознания в разработке вопросов социальной дифференциации языковых явлений и призывал советских лингвистов к развитию исследовательских работ в этой области, были в высшей степени актуальны.

Очень значимы по научному содержанию были доклады и выступления Жирмунского на дискуссиях по вопросам грамматической теории, в организации которых он сам принимал деятельное участие. Его доклады [21—23] были остро полемичны и направлены против «узко флективного подхода» к грамматическому учению о слове. Выступая против концепций, в том или ином виде развивавших подходы Ф. Ф. Фортунатова к вопросам грамматической формы, Жирмунский примыкал в этих вопросах к взглядам Л. В. Щербы и В. В. Виноградова.

Так, в докладе «О границах слова», прочитанном на дискуссии о морфологической структуре слова (Ленинград, 1960), он говорил: «Если мы не хотим отрицать реальных языковых фактов во имя метафизических

определений и основанных на них теорий, мы должны... признать возможность существования стойких словосочетаний рядом со слитными (сложными) словесными единицами как форм одного и того же слова...» [21, с. 7]. И далее: «Границы между словоизменением (формообразованием) и словообразованием являются зыбкими и при синхронном рассмотрении. Вопрос этот имеет не только классификационно-терминологическое значение: от его решения зависит установление грамматической границы слова, т. е. того, какие грамматические категории следует рассматривать как формы одного слова (словоизменение или формообразование), какие — как самостоятельные слова (словообразование)» [21, с. 8].

Жирумунский исходил из положения о том, что критерий семантического единства является основным и обязательным признаком каждого слова, в том числе и сложного, — положения, которое отнюдь не снимается тем обстоятельством, что словосочетания типа *железная дорога* (по В. В. Виноградову, «фразеологические единства») представляют подобные же семантические единства. Он допускал, что признак этот, всегда безусловно необходимый, «...не всегда является достаточным в ряде случаев, когда формальные критерии отсутствуют, не вполне четким. Что касается фонетического и морфологического оформления единства и цельности слов (в том числе и сложного слова по сравнению со словосочетанием), то степень и характер этого оформления ... целиком зависят от морфологических особенностей данного языка, а в некоторых случаях — и от особенностей данной категории слов» [21, с. 21].

Эти положения Жирумунский развивал в докладе на конференции по проблеме аналитических конструкций (Ленинград, 1963). Полемицируя с различными подходами к этой проблеме, получившими отражение в работах некоторых советских лингвистов, он сослался на известное высказывание Л. В. Щербы о том, что «везде в языке... важны лишь крайние случаи. Промежуточные же в самом первоисточнике — в сознании говорящего — оказываются колеблющимися, неопределенными. Однако это неясное и колеблющееся и должно больше всего привлекать внимание лингвиста, так как здесь именно подготавливаются те факты, которые потом фигурируют в исторических грамматиках, иначе говоря — так как здесь мы присутствуем при эволюции языка» [24].

Обосновывая эту точку зрения на фактах эволюции грамматического строя новых индоевропейских языков, В. М. Жирумунский подчеркивал, что развитие аналитических конструкций в языке представляет «...живой и сложный процесс, который требует процессуального рассмотрения как в аспекте истории языка, так и при описании его современного состояния». Он полагал, что не должно существовать разрыва между синхронией и диахронией, но любое состояние языка должно рассматриваться как система, находящаяся в движении в целом и в отдельных своих частях. Исходя из сказанного, он формулировал требование процессуального подхода, который устанавливает в аналитических конструкциях различные ступени грамматизации и «...предполагает особое внимание к случаям переходным, отражающим в современном состоянии языка динамику его развития» [22, с. 56].

В дискуссионном докладе, прочитанном на конференции по вопросам теории частей речи (Ленинград, 1965), В. М. Жирумунский также заострил противоположность своей точки зрения, основанной на учете лексико-грамматических и грамматических аспектов, известной характеристике частей речи, изложенной применительно к русскому языку в «Синтаксисе» А. М. Пешковского, концепции Фортунатова и его школы: «Если,

в отличие от Фортунатова, мы будем рассматривать части речи как лексико-грамматические категории (разряды) слов, необходимо будет учитывать в их определении как значение слова, его лексико-семантическое содержание, так и его грамматическую форму — морфологическую (формы словообразования и словоизменения) и синтаксическую (связи и формы управления в словосочетании и предложении)» [23, с. 18—19]. Принимая во внимание особенности грамматического строения языков различных типов, Жирмунский указывал, что, в зависимости от грамматического строя того или иного языка, оформление части речи как грамматической категории будет представлять существенные различия, с сохранением универсальности ее значения в аспекте лексико-семантическом.

Как видим, для грамматической концепции В. М. Жирмунского была характерна принципиальная установка на изучение грамматических явлений в их внутренней динамике, с учетом моментов перехода и становления, свойственных языку как системе, находящейся «в движении в целом и в отдельных своих частях». В этой установке получил выражение историзм научного подхода, отличавший труды В. М. Жирмунского.

Заканчивая на этом обзор лингвистических исследований В. М. Жирмунского, следует еще раз отметить тесную взаимосвязь отдельных направлений его научной деятельности. Изучение любого из вопросов, привлекавших его внимание как диалектолога, историка языка, лингвосоциолога, грамматиста, неизменно выстраивалось на определенном месте в общем движении и развитии концепции ученого как развивающейся системы научных взглядов, все части которой были тесно взаимосвязаны и разработка которых определялась внутренней динамикой целого.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Жирмунский В. М. Проблемы переселенческой диалектологии // *Жирмунский В. М. Общее и германское языкознание*. Л., 1976.
2. Жирмунский В. М. Процессы языкового смешения во франко-швабских говорах южной Украины // *Язык и литература*. 1937. VII.
3. Жирмунский В. М. Восточносреднемецкие говоры и проблема смешения диалектов // *Язык и мышление*. 1936. VI—VII.
4. Десницкая А. В. Как создавалась теория национального языка // *Современные проблемы литературоведения и языкознания*. М., 1974.
5. Жирмунский В. М. Национальный язык и социальные диалекты. Л., 1936.
6. Жирмунский В. М. Проблемы социальной диалектологии // *ИАН ОЛЯ*. 1964. № 2. С. 103.
7. Жирмунский В. М. «Франкский диалект» Ф. Энгельса // *Известия Отделения общественных наук АН СССР*. 1936. № 4. С. 3.
8. Жирмунский В. М. Развитие строя немецкого языка // *Известия Отделения общественных наук АН СССР*. 1935.
9. Жирмунский В. М. К вопросу о внутренних законах развития немецкого языка // *Доклады и сообщения Ин-та языкознания АН СССР*. 1953. № 5. С. 80.
10. Жирмунский В. М. История немецкого языка. Л., 1938.
11. Жирмунский В. М. Сравнительное литературоведение и проблемы литературных влияний // *Известия Отделения общественных наук АН СССР*. 1936. № 3.
12. Жирмунский В. М. Сравнительная грамматика и новое учение о языке // *ИАН ОЛЯ*. 1940. № 3. С. 39.
13. Жирмунский В. М. Развитие категорий частей речи в тюркских языках по сравнению с индоевропейскими языками // *ИАН ОЛЯ*. 1945. № 3—4.
14. Жирмунский В. М. Происхождение категории прилагательных в индоевропейских языках в сравнительно-грамматическом освещении // *ИАН ОЛЯ*. 1946. № 3.
15. Жирмунский В. М. *Немецкая диалектология*. М.: Л., 1956.
16. Жирмунский В. М. Введение в сравнительно-историческое изучение германских языков. М.: Л., 1964.
17. Жирмунский В. М. Существовал ли общегерманский язык-основа // *Жирмунский В. М. Общее и германское языкознание*. Л., 1976.

18. *Zirmunskij V. M.* Esiste una «protolingua germanica» // *Le Lingue dell' Europa: Atti del V Convegno Internazionale di Linguisti*, Brescia, 1972.
19. *Жирмунский В. М.* О диалектологическом атласе тюркских языков Советского Союза // *ВЯ*, 1963. № 6.
20. *Жирмунский В. М.* Проблемы социальной диалектологии // *ИАН ОЛЯ*, 1964. № 2.
21. *Жирмунский В. М.* О границах слова // *ВЯ*, 1961. № 3.
22. *Жирмунский В. М.* Об аналитических конструкциях // *Аналитические конструкции в языках различных типов*. М.; Л., 1963.
23. *Жирмунский В. М.* О природе частой речи и их классификации // *Вопросы теории частой речи*. Л., 1966.
24. *Щерба Л. В.* Избранные работы по языкознанию и фонетике. Т. I. Л., 1958. С. 33—34.

© 1991 г.

ЭПШТЕЙН М. Н.

## ИДЕОЛОГИЯ И ЯЗЫК

## (ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ И ОСМЫСЛЕНИЕ ДИСКУРСА)

Способ выражения оценочности в языке — одна из тех лингвистических проблем, с которыми постоянно приходится сталкиваться при анализе идеологических текстов. Какими лексическими средствами располагает говорящий для оценки предмета своего сообщения? Образуют ли эти средства целостную систему упорядоченного воздействия на читателя или слушателя? Эти вопросы лексической прагматики, тесно связанные с идеологической практикой и «идеократическими» системами XX в., ставятся в данной статье в основном на материале публицистического стиля современного русского языка.

1. **Оценочно-референтные слова — прагмемы.** На уровне лексики можно выделить три класса слов, различных по способам их оценочного использования. К первому классу относятся слова, прямое значение которых ничего не предопределяет в отношении говорящих к обозначаемым ими явлениям: *дом, книга, языкознание, зеленый, деревняный, смотреть* и т. п. Ко второму классу относятся слова, значение которых содержит оценку, — однако не указывается, к чему именно, к какому предмету или явлению относится эта оценка: *хороший, плохой, полезный, вредный, прелесть, ужас.*

Наконец, можно выделить третий класс слов, в которых предметное и оценочное значения предстают как бы склеенными, жестко связанными. Например, слово *ошельмовать* означает «предать позору, обесчестить» и в то же время выражает отрицательную оценку этого действия, предполагая, что некто был опозорен незаслуженно, несправедливо. Слово *заклеймить* имеет то же самое предметное значение, что и *ошельмовать*, но выражает другую, положительную оценку данного действия. Говоря *заклеймить*, мы выражаем свое согласие с тем, что обозначает это слово: некто был заслуженно, справедливо предан позору за совершенные им преступления, злодеяния. В словарных определениях этих и подобных слов обычно присутствуют как предметные, так и оценочные компоненты, причем последние могут записываться по-разному: либо в виде словарной пометы («презрительное», «неодобрительное», «почтительное» и пр.), либо в составе самой словарной статьи, в виде оценочных слов, входящих в дефиницию («ложный», «мнимый», «полезный», «прогрессивный» и пр.). Сравним два определения в Толковом словаре Ожегова:

«Пособник» (неодобр.). Помощник в дурных, преступных действиях».

«Сподвижник (высок.). Тот, кто участвует как чей-н. помощник в деятельности на к.-л. поприще, соратник».

Как видим, указанные слова, имея почти одинаковую референтную соотнесенность, выражают противоположное отношение говорящего к явлению, нейтрально обозначаемому в определении словом *помощник*. Очевидная идеологическая отмеченность слов *пособник* и *сподвижник*,

часто употребляемых в публицистических, газетных текстах, обусловлена тем, что в их значении предметный (референтный) компонент «помощника» неотделим от оценочных компонентов «высокий», «дурной» и пр., сами же по себе лексемы, данные в дефинициях, идеологически совершенно нейтральны.

Таким образом, есть слова, грубо говоря, «предметные» по своему лексическому значению и приобретающие оценочный смысл лишь в контексте своего употребления; есть слова сугубо «оценочные», предметная соотнесенность которых также выясняется только из контекста; и есть слова «предметно-оценочные», в самом лексическом значении которых совмещены оба компонента, — слова, оценивающие собственную предметность и опредмечивающие собственную оценочность, так сказать, «самозначимые» слова, не просто называющие явление, но и нечто сообщающие о нем. Так, слово *сговор* можно перефразировать как «соглашение с дурной, преступной целью»; *прокламировать* — как «провозглашать нечто ложное, несбыточное»; *бодрчество* — как «ложная, надутая, наигранная бодрость». Каждое из этих слов потенциально несет в себе целое суждение, объект которого — явление, обозначенное словом, а «предикат» — выражаемая им оценка. Слова, принадлежащие к третьему классу, соединяющие предметность и оценочность, мы в дальнейшем будем называть прагмемами. В их лексическом значении семантический аспект — отношение слова к обозначаемому явлению — неразрывно связан с прагматическим аспектом — отношением говорящего к предмету сообщения. Лексема с закрепленной за нею, устойчивой прагматической установкой — это и есть прагмема, включающая в свое основное, словарное значение те компоненты, которые словами первого и второго класса обретаются лишь окказально, в контексте общения. Прагмемы наиболее автономны в коммуникативном плане — они выбрали контекст, или прагматическую ситуацию в ядро своего лексического содержания, в силу чего могут употребляться как законченные суждения о том, что они сами обозначают. Такие слова, как *объективизм, идеализм, примиренчество, самоуправство, сговор, лизорядочно, матерый, пособие, смыкаться* — с одной стороны, *объективность, материализм, миролюбие, почин, содружество, оперативно, опытный, сподвижник, сплачиваться* — с другой, могут сами по себе играть роль законченных коммуникативных единиц. Ясно, что такой прагматической функции лишены слова типа *дом* (закрывающие в себе объект суждения, но не имеющие предиката) или слова типа *хороший* (закрывающие в себе предикат суждения, но не имеющие объекта).

Роль прагмем в публицистическом тексте определяется тем, что они представляют собой свернутые суждения, обладающие особой силой убеждения. Суждения могут быть развернуты в предложении как расчлененное единство субъекта и предиката, и тогда эксплицированная структура суждения позволяет его оспорить, не согласиться с ним, поправить его. Прагмема же представляет собой идею, свернутую в одно слово, которое имплицитно заключает в себе оба члена суждения. Ср.: *Эта инициатива оказалась (по каким причинам?) неужесткой и нанесла нам значительный (какой именно?) ущерб* — пример эксплицитного суждения, внутри которого остается (в скобках) место для доводов, подлежащих обоснованию или опровержению; *Необходимо должным образом оценить и пресечь подобные случаи самоуправления!* — пример имплицитного суждения, в котором неразрывно склеены и «субъект», и предикат.

Следует отметить, что класс прагмем исключительно широко представлен в лексике современного русского языка, составляя, по нашим

подсчета, примерно одну пятую всего его словарного фонда (точное количество можно было бы определить по семантическим множителям толкового словаря — оценочным словам, входящим в состав словарных помет и дефиниций). По наблюдению В. Г. Гака, сравнивавшего лексику русского и французского языков, «очень часто одному стилистически нейтральному французскому слову соответствует несколько русских слов с различной стилистической характеристикой (отрицательной, положительной, нейтральной)» [1]. Так, французское *entente*, лишенное экспрессивной окраски, по-русски передается словами, которые к общему предметному значению добавляют противоположные оценочные: положительное — *согласие*, отрицательное — *сговор* и на их фоне нейтральное — *соглашение*. Точно так же французское *fateux* имеет три оценочных русских соответствия: *знаменитый*, *известный*, *пресловутый* (примеры взяты из указанной книги В. Г. Гака). Подобный «синтетизм», сращение семантической основы слова с его прагматической функцией, объединение их в рамках прямого, основного значения лексических единиц — крайне интересная особенность лексической системы современного русского языка.

**2. Типы отношений между прагмемами.** Связи между прагмемами определяются теми же отношениями тождества и противоположности, синонимии и антонимии, которые пронизывают всю лексическую систему языка. Но поскольку прагмемы обладают двойственным, оценочно-предметным значением, то и все отношения между ними удваиваются. На место антонимии и синонимии встают отношения четырех типов:

1) **Полная антонимия**<sup>1</sup>, противопоставленность как предметных, так и оценочных значений. Такое отношение мы будем называть **контрарным**, а соответствующие слова, связанные контрарными отношениями, — **контративами**. Так, пары: *требовательность* — *пустительство*, *миролюбие* — *агрессивность*, *коллективизм* — *индивидуализм*, *новаторство* — *эпигонство*, *сплочение* — *раскол*, *интернационализм* — *национализм*<sup>2</sup> являются контрарными, поскольку слова в них противопоставлены не только по наличию или отсутствию какого-либо собственно семантического признака, но и по положительному или отрицательному отношению говорящего к предмету речи. *Коллективизм* — это и а л и ч и е общности между людьми (или стремление к ней), которое оценивается п о л о ж и т е л ь н о, а *индивидуализм* — о т с у т с т в и е такой общности (или стремления к ней), которое оценивается о т р и ц а т е л ь н о.

2) **Предметная синонимия** (ко-референтность) при оценочной антонимии. Прагмемы указывают на тождественные (или сходные) явления действительности, но присваивают им противоположные оценочные значения. Такое отношение мы будем называть **к о н в е р с и в н ы м**, а соответствующие слова — прагматическими (оценочными) конверсивами<sup>3</sup>, например: *требовательность* — *придирчивость*, *миролюбие* — *при-*

<sup>1</sup> Понятия «синонимии» и «антонимии» мы будем употреблять расширительно, включая сюда квазиантонимию и квазисинонимию в том смысле, в каком эти явления охарактеризованы в [2].

<sup>2</sup> При подборе этих и других примеров мы пользовались рядом словарных пособий [3—6].

<sup>3</sup> В отличие от семантических конверсивов, характеризующих противоположные роли участников описываемой ситуации (если А «выигрывает», то В «проигрывает»; если А «продает», то В «покупает» и т. п.), прагматические, или оценочные конверсивы характеризуют противоположные позиции участников в самой ситуации общения (что для А «мечты», то для В «бредни»; что для А «заклеймить», то для В «шельмовать» и т. п.).

миренчество, свобода — вседозволенность, новаторство — авангардизм, размежевание — раскол, патриотизм — национализм.

Слова *миролюбие* и *примиренчество* имеют общее означаемое: «склонность к миру», «стремление установить мир». Но оценочное значение этих слов прямо противоположно, поскольку предполагает позитивное или негативное отношение говорящего к стремлению установить мир. С точки зрения лексической прагматики, конверсивные отношения слов особенно интересны, поскольку оценочные различия становятся здесь единственным фактором, который обуславливает выбор говорящим тех или иных слов. Наличие в языке таких лексических пар, как *собрание — сборище*, *усилия — потуги*, *обещания — посулы*, *воин — вояка*, *хозяйствовать — хозяйничать*, *проводить — прокламировать*, *сподвижник — приспешник*, *популярный — вульгарный*, *доходчивость — упрощенчество*, *соревнование — конкуренция*, *деловитость — делчество*, *непринужденный — бесцеремонный*, *безоговорочно — безапелляционно*<sup>4</sup> и многих других, объясняется тем, что для лексико конструктивным оказывается не только семантический, но и прагматический план языка, необходимость противопоставлять в системе словесных знаков не только предметные, но и оценочные значения.

Благодаря контекстуально связующей функции прагмем целые высказывания могут находиться между собой в отношениях оценочной конверсии, противопологающей попарно их элементы. Например, высказывание *Опытный политик заключил договор с руководителями повстанческого отряда* может быть сопоставлено с прагматически ориентированным высказыванием *Матерый политикан вступил в сговор с главарями бандитской шайки*. Закон прагматического согласования всех элементов высказывания не допускает, чтобы поменялись местами хотя бы два оценочных слова из этих фраз. Точно так же скептическая характеристика литературного стиля — *щеголеватость укрощенного ритма*, *стерильность языка*, *переходящая в искусственность*, *но не препятствующая туманностям и недоумкам* — может быть переведена в позитивную: *изящество покоренного ритма*, *чистота языка*, *доходящая до высокой искренности*, *но не упражняющая многозначности и глубины*.

3) Предметная антонимия, оценочная синонимия и я. Этот тип отношений между прагмемами обратен конверсии: слова имеют противоположные предметные значения, но тождественные оценочные: *требовательность — доброжелательность*, *миролюбие — непримиримость*, *интернационализм — патриотизм*, *сложение — размежевание*, *новаторство — традиционность*, *объективизм — субъективизм*.

Слова *обелять* и *очернять* обозначают действия, прямо противоположные, но в обоих случаях подразумевается негативная оценка этих действий. *Миролюбие* и *непримиримость* — антонимы в предметном плане («стремление к миру» — «отказ от мира»), но предполагают равно положительную оценку обозначаемых явлений. Такую связь мы будем называть коррелятивной, а соответствующие слова — *к о р р е л я т и в а м и*. Коррелятивы часто встречаются в позиции однородных членов как дополняющие друг друга стороны одного — положительного или отрицательного — явления: *Как новаторство, так и традиции составляют незыблемую основу искусства; Борьба против субъективизма и объективизма*

<sup>4</sup> Как видно из приведенных примеров, в конверсивной паре положительный член часто выражен исконно русским, а отрицательный — заимствованным словом (ср. также союз — альянс, разводчик — шпион, объединяться — блокироваться); гораздо реже встречается обратное соотношение (*оптимизм — прекраснотушие*).

в науке — актуальная задача наших дней. Если благодаря конверсии одно и то же явление может оцениваться противоположным образом, то благодаря корреляции противоположные явления могут оцениваться одинаково.

4) Полная синонимия, тождественность (или близкое сходство) как референтных, так и оценочных значений. Слова *дисциплина — организованность — сознательность* в противопоставленном другому ряду слов (*анархия — стихийность — распушенность — вседозволенность*) могут рассматриваться как взаимозаменяемые прагмемы, с у б с т и т у т и в ы. Поскольку субститутивный тип связи, в отличие от трех предыдущих, не является оппозитивным, структурообразующим, он не участвует в построении прагматической модели, описанной в разделах 4 и 5, но зато играет большую роль в конкретной реализации этой модели, в лексическом варьировании ее элементов, что приводит к образованию оценочно-тематических групп слов (разд. 6).

3. Структура оценочности — тетрада. Три описанных выше типа отношений между прагмемами (контрарность, конверсия, корреляция) существуют не изолированно, но образуют целостную структуру, существенно определяющую оценочное использование лексики. Это четырехэлементная структура (тетрада) следующего типа:

<i>миролюбие — примиренчество</i> <i>непримиримость — агрессивность</i>	<i>свобода — распушенность</i> <i>дисциплина — принуждение</i>
<i>требовательность — придирчивость</i> <i>доброжелательность — попустительство</i>	<i>твердость — твердолобость</i> <i>гибкость — мягкотелость</i>
<i>вдвительность — подозрительность</i> <i>доверие — ротозейство</i>	<i>патриотизм — национализм</i> <i>интернационализм — космополитизм</i>
<i>новаторство — авангардизм</i> <i>традиционность — эпилеянство</i>	<i>деловитость — делачество</i> <i>бескорыстие — бесхозяйственность</i>
<i>щедрость — расточительство</i> <i>бережливость — накопительство</i>	<i>непринужденный — бесцеремонный</i> <i>сдержанный — чопорный</i>
<i>сплочение — блокирование</i> <i>размежевание — раскол</i>	<i>ускоренный — формирванный</i> <i>стабильный — застойный</i>

Каждая из этих лексических тетрад имеет одинаковую структуру, которая схематично может быть изображена в виде квадрата, пересеченного диагоналями. По горизонтали между элементами тетрады развертываются конверсивные отношения, по вертикали — коррелятивные, а по диагонали — контрарные:



На схеме видно, что тетрада представляет собой целостное смысловое образование, в котором прослеживаются выделенные выше связи трех типов. Важно, что каждый элемент тетрады одновременно входит во все перечисленные отношения с другими элементами. Так, *жиролюбие* связано конверсивной связью с *прижиренчеством*, коррелятивной — с *неприжиримостью* и контрарной — с *агрессивностью*. Все эти оппозитивные отношения являются обязательными и конструктивными для каждого элемента тетрады, благодаря чему вся структура приобретает компактность и напряженность.

Такое соотношение прагмем показывает, как происходит в языке процесс порождения и распределения оценочных смыслов. Благодаря тетраде некое понятие, комплекс культурно обусловленных представлений, преобразуясь через набор определенных правил, может быть передано четырьмя различными способами, четырьмя лексемами, каждая из которых несет четкую идеологическую установку. Эту изначальную «тему», лежащую в основе каждой тетрады, обозначим условно буквой «А» (архетема, трансформируемая в систему четырех прагмем). Пусть в выбранном нами примере «А» интерпретируется как «стремление к миру». Тогда возможны следующие операции преобразования «А»:

1) А трактуется говорящим как нечто положительное, желательное, должное, и тогда ему присваивается имя *жиролюбие*, несущее позитивный оценочный смысл: «+А».

2) А трактуется говорящим как нечто отрицательное, вредное, несвоевременное, и ему присваивается имя *прижиренчество*, несущее негативный смысл: «-А».

3) -А (т. е. противоположность «А» — «отсутствие стремления к миру», «отказ от мира») трактуется говорящим как нечто своевременное, необходимое, положительное, и ему присваивается имя *неприжиримость*, несущее позитивный смысл: «+(-А)».

4) -А трактуется как нечто вредное, разрушительное, дурное, и ему присваивается имя *агрессивность*, несущее негативный смысл: «-(-А)».

Точно так же, если мы возьмем в качестве архетемы «трата средств», то преобразование ее по правилам тетрады даст нам четыре идеологически окрашенных прагмемы, в которых будет выражено как положительное и отрицательное отношение к обильной трате средств (*щедрость*, *бескорыстие* — *расточительность*, *разбазаривание*), так и положительное и отрицательное отношение к отказу от траты средств (*бережливость*, *экономность* — *собственничество*, *накопительство*).

Архетема «следование ранее установленным образцам» дает «на выходе» из тетрады такие слова, несущие идеологическую нагрузку, как *традиционность* — *эпигонство* (положительная и отрицательная оценка «следования»), и *новаторство* — *авангардизм* (положительная и отрицательная оценки отказа от такого «следования»).

Таким образом, четыре прагмемы, образующие тетраду, — это совокупность оценочных преобразований одной темы, лежащей в их основе. Тетрада образуется двумя последовательными дуальными расщеплениями единой сущности, в ходе чего на первой стадии возникают «+А» и «-А» [денотативное членение: предмет с положительно маркированным и отсутствующим (или противоположным) признаком типа «стремление к миру» — «отказ от мира»], а на второй стадии — «+(+А)», «-(-А)», «+(-А)», «-(-А)» (коннотативное членение: каждый из двух предметов — с присутствующим или отсутствующим признаком — оценивается положительно или отрицательно). Более наглядно это соотношение элементов в тетраде может быть передано с помощью знаков 1 и 0, образующих четыре последовательности, «слова», каждое в два знака длиной: 11 01 10 00, что позволяет четко проследить синонимически-антонимические отношения в тетраде и соответствующую им структуру оценок (совпадение или различие одноместных, т. е. стоящих справа и слева, знаков).

4. Речевая актуализация тетрады и логика оценок. То, что описано выше как теоретическая конструкция, с древнейших времен находило воплощение в живой языковой практике. Фукидид в своей «Истории» пронизательно замечает, как изменяются оценочные нормы словоупотребления в эпохи общественных потрясений: «Безрассудная отвага, например, считалась храбростью, готовой на жертвы ради друзей, благоразумная осмотрительность — замаскированной трусостью, умеренность — личиной малодушия, всестороннее обсуждение — совершенной бездеятельностью. Безудержная вспыльчивость признавалась истинным достоинством мужа. Забота о безопасности была лишь благовидным предлогом, чтобы уклониться от действия» [7].

Перед нами — два ряда идеологических оценок, принадежающих разным общественным группам, партиям, субъектам речи. То, что один считает положительным проявлением *мужества*, другой характеризует отрицательным словом *безрассудство*. И, напротив, медлительное, осторожное поведение противоположного лагеря, которое изнутри его характеризуется как необходимая *предусмотрительность*, встречает извне упрек в замаскированной *трусости*. Само употребление соответствующих слов освобождает от долгих логических доказательств: то, что *предусмотрительность* лучше *безрассудства*, а *мужество* лучше *трусости* — всецело заключено в самих словах, в их лексически закрепленной оценочности, как это явствует из тетрады:

*мужество* — *безрассудство*  
*предусмотрительность* — *трусость*.

Архетема «предпринимать опасные действия, не бояться за свою жизнь» трансформируется тетрадой в идеологически насыщенные прагмемы — слова, которые говорят сами за себя. Доказательств могло бы требовать не то, что *предусмотрительность* — хорошо, а *трусость* — плохо, но то, какое из этих двух слов более подходит к обозначению данного свойства в данной ситуации; однако это уже вопрос, требующий выхода на мета-языковый уровень, что, естественно, разрушает идеологические установки спора.

Можно выделить три вида отношений между тетрадой как языковой структурой и способом ее речевой актуализации. Во-первых, говорящий может осознавать и активно использовать лишь фрагмент тетрады — одну

из контрарных пар, актуализируя, скажем, либо противопоставление «мужества — трусости» и занимая позицию «радикала», либо противопоставление «предусмотрительности — безрассудства» и занимая позицию «консерватора»; при этом его речевое поведение всецело подчинено одной из этих двух оценочных установок. Во-вторых, говорящий может осознавать тетраду во всем ее объеме и представлять как предмет метаязыкового описания, выступая в качестве лингвиста, философа, историка, одним словом, беспристрастного наблюдателя; при этом тетрада лишается прагматического назначения, поскольку обнажается сам механизм ее действия. Наиболее интересен третий вид отношения структуры к ее актуализации — объединяющий первые два. Субъект включает всю тетраду в свою лексическую компетенцию, но реализует не сразу, не такой, какова она в языке, — а диадами, в последовательности речевых актов, каждый из которых сохраняет свою отдельную прагматическую направленность. Если развить пример, взятый из Фукидида, то один и тот же субъект (индивид или группа) может пользоваться поочередно обоими противопоставлениями: «мужества — трусости» и «предусмотрительности — безрассудства», поражая в одном случае своих умеренных, консервативных — «трусливых», — противников, а в другом, под флагом борьбы за осмрительность, против «безрассудства», поражая своих недавних союзников — «мужественных», радикалов. Один речевой субъект здесь берет на себя роль двух противоположных субъектов, пользуется обоими контрарными установками, заключенными в тетраде, и тем самым приобретает практический перевес над своими односторонними противниками, используя силу каждого для победы над другим. Как сформулировал стратегию такого поведения Н. Маккиавелли, «с помощью одного ты разгромишь другого, хотя тому, будь он умнее, следовало бы спастись, а не губить противника; а после победы ты подчинишь союзника своей власти» [8, с. 367]. Речевой субъект третьего типа отличается от первых двух тем, что не отдается эмоциям и не отказывается от них — он рационально пользуется эмоциями и оценками, заключенными в словах, так, чтобы в каждой данной ситуации нужная ему эмоция, подкрепленная авторитетом языка, возмела силу. Обладая набором всех четырех имен для двух противоположно направленных сил А и В (—А), субъект может осуществлять полный речевой контроль над ними. В ситуации, требующей усиления А и ослабления В, употребляются имена «+А» и «—В». Но если А достигает чрезмерной силы и претендует на самостоятельность и господство, субъект речевой стратегии меняет имена, использует другую контрарную пару, противопоставляя «+В» и «—А» или, по словам Маккиавелли, «обуздывает сильных и поощряет слабых» [8, с. 355], что укрепляет его превосходство над теми и другими. С этой точки зрения тетрада формулирует оптимальную стратегию речевого поведения в ситуациях конфликта, показывая, как применяются словесные оценки против обеих противоборствующих сторон, с целью их взаимного ослабления и достижения глобального перевеса.

Структура оценочности, выраженная в лексической тетраде, могла бы стать предметом самостоятельного логико-лингвистического изучения, особенно интересного в сопоставлении с уже известными и более или менее описанными структурами формальной, диалектической, релятивистской логики. Есть основание предполагать, что тетрада как принцип прагматического мышления включает в себя существенные моменты всех этих логик, объединяя их как идеально структурированное целое.

В самом деле, важнейший закон формальной логики — закон проти-

воречия ( $A \neq \text{не } A$ ) — находит себе выражение в контрарной связи элементов, входящих в тетраду, в противопоставлении « $+(+A)$ » и « $-(-A)$ », а также « $+(-A)$ » и « $-(+A)$ » («свобода—принуждение», «дисциплина—распущенность»). Узловой момент диалектической логики — закон единства противоположностей ( $A = \text{не } A$ ) раскрывается в к о р р е л я т и в н о й связи элементов, где противоположности обнаруживают свое единство в прагматическом аспекте («свобода» и «дисциплина» — в равной степени утверждаются, а «принуждение» и «распущенность» — в равной степени отрицаются). Наконец, р е л я т и в и с т с к а я (реляционная) логика, особенно глубоко разработанная в науке XX в., утверждает зависимость всех характеристик объекта от позиции наблюдателя, что находит себе соответствие в конверсивной связи элементов: один и тот же предмет обнаруживает разную сущность и называется противоположными по смыслу словами в зависимости от отношения к нему говорящего (то, что в одном отношении предстает как «свобода», в другом отношении является «распущенностью»; в разных системах отсчета «дисциплина» может быть оценена как «принуждение», а «принуждение» — как «дисциплина»). Тетрада организует противоположности таким образом, что они: а) противопоставляются друг другу ( $A \neq -A$ ); б) объединяются между собой ( $A = -A$ ); в) меняются местами ( $A -A$ ), что соответствует трем операциям, выполняемым внутри разных логик. Каждая из этих операций в системе иной логики выглядит незаконной, недопустимой — например, формальная логика не приемлет диалектического единства противоположностей. Что касается языковой прагматики, то для нее в с е эти операции представляются законными, поскольку они образуют три типа отношений в тетраде. То, что предстает неразрешимым противоречием в рамках какой-нибудь одной логики, тетрада перекодирует в систему другой, где это противоречие разрешается. Так, «свобода» противопоставит «принуждению» или «насилию», но в то же время она полностью коррелирует с этой же сущностью, взятой как «дисциплина» или «необходимость», и сама переходит в свою отрицательную противоположность, становясь «распущенностью» и вставая в один оценочный ряд с «насилием». Круговая и перекрестная оценочная перекодировка всех элементов в тетраде обеспечивает ей полную логическую неуязвимость, по-видимому, вообще свойственную «оценочной» логике, что проявляется в максимально эффективном воздействии ее — через механизмы языка — на общественное сознание.

5. Лексико-прагматические функции и группы слов. До сих пор речь шла в основном о структурных связях прагмем. Теперь необходимо вновь вернуться к лексическому материалу и способу его организации на основе четырехэлементных структур. Предстоит показать, что каждая позиция в тетраде занимает в сущности не конкретным словом, а типовым оценочным значением, своего рода прагматической функцией, варьируемой множеством прагмем. Сопоставим несколько сходных тетрад:

*миролюбие — примиренчество*  
*непримиримость — агрессивность*  
*соглашение — соглашательство*  
*соревнование — конкуренция*

*содружество — альянс*  
*противоборство — конфронтация*  
*сплочение — блокировка*  
*размежевание — раскол*

Несмотря на лексические различия, очевидно, что во всех этих тетрадах варьируется один набор оценочных функций:

«положительное объединение» — «отрицательное объединение»  
 «положительное противопоставление» — «отрицательное противопоставление»

Вместо четырех лексических мы получили теперь одну ф у н к ц и о н а л ь н у ю тетраду, каждая позиция в которой представлена не словом, а обобщенным значением целого ряда слов, их единой прагматической функцией<sup>3</sup>. *Миролюбие, содружество, согласие, сплочение* — все это разнообразные синонимические выражения функции, которую можно обозначить «+UN» (объединение, которое оценивается положительно); *агрессивность, конфронтация, конкуренция, раскол* имеют общую функцию —DIF (разъединение, которое оценивается отрицательно). Вот весь набор функций, входящих в данную обобщенную тетраду:

+UN —UN  
+DIF —DIF

Каждой из этих функций соответствует целая группа слов, находящихся-ся между собой в отношениях субституции (см. конец 2-го раздела). Этот последний, четвертый тип связи между прагмемами, не противопоставляющий их ни в оценочном, ни в референтном плане и потому не учитываемый при построении тетрадической модели, играет огромную роль в ее конкретной лексической реализации. Приведем примеры субститутивов для четырех вышеуказанных функций:

+UN	—UN	+DIF	—DIF
<i>мир</i>	<i>соглашательство</i>	<i>борьба</i>	<i>вражда</i>
<i>единство</i>	<i>примиренчество</i>	<i>боевитость</i>	<i>раскол</i>
<i>сплоченность</i>	<i>асепрошение</i>	<i>непримиримость</i>	<i>антагонизм</i>
<i>содружество</i>	<i>капитулянтство</i>	<i>наступательность</i>	<i>конфронтация</i>
<i>равенство</i>	<i>веклассовость</i>	<i>классовость</i>	
<i>братство</i>	<i>космополитизм</i>	<i>бескомпромиссность</i>	<i>соинственность</i>
<i>миролюбие</i>	<i>блокирование</i>	<i>рамежевание</i>	<i>агрессивность</i>
<i>разрядка</i>	<i>альянс</i>	<i>дифференциация</i>	<i>милитаризм</i>
<i>коллективизм</i>	<i>стадность</i>	<i>соревнование</i>	<i>реваншизм</i>
<i>бесклассовость</i>	<i>облагачка</i>		<i>национализм</i>
<i>интернационализм</i>	<i>уравнительство</i>		<i>индивидуализм</i>

Из этого перечня видно, что субститутивы не являются полными синонимами или даже квазисинонимами, как их понимает лексическая семантика, — принцип их объединения лежит не в семантической, а в прагматической плоскости языка, где они служат выражению одной оценочной установки в отношении одного тематического круга проблем. Объединяясь своим типовым значением в рамках тетрадических оппозиций, субститутивы различаются между собой конкретными областями лексической референции. Так, если исходить из словоупотребления, харак-

<sup>3</sup> Сама идея выделения «абстрактных, типовых значений, которые, подобно грамматическому, выражаются при достаточно большом числе слов» [2, с. 45], была выдвинута и отчасти реализована в рамках не прагматики, а семантики — группой лингвистов, объединенных работой над моделью «Смысл — Текст». Примером лексико-семантической функции может служить MAGN, означающая «очень», «высокую степень» и реализуемая, в зависимости от контекста, словами *жучий (бронет), грубая (ошибка), крошечная (тума), зреловат (тешина)*, и т. п. Было выделено около 40 подобных типовых значений [9]; однако дальнейший анализ показал, что, с одной стороны, число таких функций вряд ли может быть как-то ограничено, а с другой — семантическое богатство языка не поддается до конца подобной классификации, как бы ни увеличивать количество функций. Что касается лексической прагматики, то вычленение типовых значений тут существенно облегчено четким разделением всех слов на позитивно-оценочные и негативно-оценочные. Кроме того, слова с конкретными, трудно кодируемыми значениями (типа *ягода, симиз, шепелявить*) остаются в основном за пределами данной области, что позволяет предположить в ней большую, чем в семантике, степень доступности функциональным обобщениям.

терного для современных публицистических текстов, то *борьба* — это противопоставление «своих» и «чужих»; *рамеживание* — разделение между «своими», из которых выделяются «чужие»; *соревнование* — разделение внутри «своих». Субститутивы *соглашение* и *примиренчество* дают отрицательную характеристику объединению «своих» и «чужих», а *блокирование* и *альянс* — объединению между «чужими».

Типичный пример субституции — слова *материализм*, *реализм*, *историзм*, *атеизм*, выражающие положительную оценку материального начала в его первенстве над идеальным, — соответственно в сфере философских убеждений, художественных направлений, научных методов и религиозных верований. Здесь мы переходим уже к другой оппозиции, также характерной для публицистического стиля: «реальное — идеальное», оценочная трансформация которой в языке раскрывается набором следующих четырех функций:

+REAL	-REAL	+IDEAL	-IDEAL
<i>реализм</i>	<i>бездейность</i>	<i>идейность</i>	<i>идеализм</i>
<i>реалистичность</i>	<i>бездальность</i>	<i>духовность</i>	<i>субъективизм</i>
<i>материализм</i>	<i>бездуховность</i>	<i>вера</i>	<i>спиритуализм</i>
<i>историзм</i>	<i>беспринципность</i>	<i>идеал</i>	<i>мистика</i>
<i>атеизм</i>	<i>объективизм</i>	<i>принципиальность</i>	<i>утопиям</i>
<i>научность</i>	<i>позитивизм</i>	<i>страстность</i>	<i>мифотворчество</i>
<i>объективность</i>	<i>эмпиризм</i>	<i>узеленность</i>	<i>обскурантизм</i>
<i>трезвость</i>	<i>копиизм</i>	<i>окрыленность</i>	<i>фанатизм</i>
<i>здоровый смысл</i>	<i>натурализм</i>	<i>вдохновение</i>	<i>экзальтация</i>
<i>беспристрастность</i>	<i>приземленность</i>	<i>горение</i>	<i>прекрасновидие</i>
<i>правдивость</i>	<i>бескрылость</i>	<i>героика</i>	<i>беспочвенность</i>
<i>отражение</i>	<i>мещанство</i>	<i>безаветность</i>	<i>доктринерство</i>
	<i>обывательство</i>	<i>романтика</i>	<i>нечетичество</i>

Подчеркнем, что данный список субститутивов, как и последующие, далеко не полон — он лишь показывает, как модель тетрады, прагматическая «тетралектика» функционирует в лексической системе языка, подбирая необходимые слова, в которых выражена как положительная, так и отрицательная оценка обоих членов структурной оппозиции «реальное — идеальное». Можно было бы привести множество других слов и словосочетаний, способных в контексте публицистического высказывания выражать те же самые прагматические функции, например: *правда жизни, связь с действительностью, воистину пережитое, опора на факты* (функция + REAL); *голая фактография, плестись в хвосте у фактов, бескрылая описательность, оставаться в плену ощущений* (— REAL); *полет воображения, создавать новую, одухотворенную реальность, восходить к высшим обобщениям, творческое преобразование фактов* (+ IDEAL); *романтические бредни, в борьбе со здравым смыслом, субъективный произвол и презрение к фактам, мещановщина* (— IDEAL). Прагматические функции столь устойчивы, подчиняют себе такое количество лексических и фразеологических единиц, что было бы весьма поучительно для лингвистикетики проследить историю хотя бы одной из таких функций, сменяющихся через века и десятилетия способы ее воплощения в конкретных, самых характерных для данной эпохи словах и словосочетаниях. При этом следует учитывать неравномерное развитие функций в языке разных эпох, возможность преобладания одной из них, отождествляемой с целым мировоззрением, которому подчиняется и отбор лексико-оценочных средств (так, функция «+ IDEAL» может в обособленном и застывшем виде отождествиться с идеалистическим мировоззрением, а «— IDEAL» — с нигилистическим).

Следующая оппозиция, объединяющая вокруг себя значительное количество прагмем, — это идеологически насыщенные понятия «свободы» и «необходимости» (организации). Соответствующая тетрада функций и реализующая их лексическая подсистема языка представлены в таблице:

+LIB	-LIB	+ORG	-ORG
свобода	своеволие	необходимость	гнет
воля	приваол	порядок	насилие
свободолюбие	еседоволенность	организация	угнетение
волюнолюбие	распушенность	дисциплина	закрепощение
бунтарство	стихийность	планоность	принуждение
мятежность	анархия	централизм	
активность	плюрализм	детерминизм	деспотизм
энтузиазм	либерализм	соответственность	тирания
самостоятельность	самоуправство	ответственность	авторитаризм
инициатива	солютаризм	бдительность	тоталитаризм
лозунг	полустительство	исполнительность	бюрократизм
демократия	безнадзорность	законность	подневольность
самоуправление			покорность
			фатализм

Четвертая функциональная тетрада, важная для анализа публицистических текстов, возникает на основе «имущественной» оппозиции: *дать* — *взять*, *поделиться* — *присвоить*, *пожертвовать* — *обогатиться*. При этом может иметься в виду как отношение к вещественному достоинству (*щедрость* — *скупость*), так и к собственной жизни (*храбрость* — *трусость*), но большее количество прагмем относится к первому подвиду. Наименования соответствующих функций образованы от латинских слов *donare* «дарить, давать» и *habere* «держат, хранить, владеть».

+DON	-DON	+HAB	-HAB
щедрость	расточительство	бережливость	скупость
храбрость	разбазаривание	деловитость	скарденность
бескорыстие	растраниживание	предприимчивость	снобкорыстие
самоотверженность	бесхозяйственность	хозяйственность	нажива
подвижничество	халатность	рачительность	стяжательство
бесребрничество	безрассудство	экономность	накопительство
открытость			приобретательство
доброжелательность	разгильдяйство	предусмотрительность	делачество
жертвенность	ротозейство		лицезнество
альтруизм	мягкотелость	основательность	потребительство
		практичность	собственничество
			гошам

Наконец, пятая функциональная тетрада дает распределение оценок, связанных с ходом времени, с оппозицией «новое — старое», «развитие — преемственность», «новаторство — традиционность»:

+NOV	-NOV	+TRAD	-TRAD
новаторство	авангардизм	традиция	консерватизм
развитие	модернизм	преемственность	реакция
прогресс	ревизионизм	наследие	регресс
революционность	пересмотр	заветы	ретроград
современность	новомодный	классика	эпигонство
актуальность	сиюминутный	стабильность	костность
своевременность	дестабилизация	испытанный	инерция
творчество	подрыв	высверженный	ортодоксия
обновление	попешность	потомственный	догматизм
ускорение	лихорадочность	ветеран	шаблонность
переводчик	эскалация		оградительный
	форсирование		устарелый
			пережиток

Эмпирическая проверка показывает, что подавляющее большинство прагмем, употребляемых в публицистических текстах, относится к одной из указанных пяти лексических подсистем языка и распределяется по соответствующим двадцати прагматическим функциям. На вопрос, почему именно этими функциями охватывается в основном многообразие лексических средств оценочности в языке, можно пока дать лишь гипотетический ответ. Оппозиции «единство — различие», «реальность — идея» «свобода — необходимость», «отдача — присвоение», «развитие — преемственность» наиболее глубоко укоренены в структуре человеческого интеллекта, что выражается и в древнейших традициях их философского осмысления (соответствие этим оппозициям мы найдем и в парадоксах Гераклита, и в апориях Зенона, и в кантовских антиномиях разума, и в гегелевских законах диалектики). Чем труднее чисто теоретическое решение проблемы, представленной противоположностью двух понятий, тем более склонно мышление делить эти понятия дальше, давая каждому из них двойную оценку и тем самым снимая напряженность дуальной структуры уже в рамках тетрады. Поэтому закономерно, что крупные массивы идеологически заряженных слов группируются вокруг наиболее фундаментальных оппозиций, очерчивая все возможные способы их разрешения в самом языке, в лексически закрепленной системе его прагматических установок.

**6. Рефлексия оценочности. Метатетрада.** В лексической системе языка выделяется еще одна подсистема, включающая прагмемы, сам референтный компонент которых является оценочным. Эта подсистема обслуживает все другие, обеспечивает их стабильное функционирование и вносит момент рефлексии, самооценки в сферу лексической прагматики. Например, прагмемы *очернить* или *обелить* уже предполагают оценочное употребление слов, которым они сами дают соответствующую отрицательную оценку.

Возьмем еще раз ситуацию, описанную у Фукидида. Некто А характеризует свою склонность к рискованным действиям как «мужество», а его противник В — как «безрассудство». Заключенная в этих словах положительная и отрицательная оценка одного и того же явления может быть отрефлектирована и уже вторично переоценена, «переиграна» оппонентами. С точки зрения А, В очерняет его мужество, а с точки зрения В, А обеляет свое безрассудство. Таким образом, А подхватывает обращенную против него оценку (*безрассудство*), чтобы обратить ее против своего противника (*очерняет*); В также использует положительную самооценку А (*мужество*) как повод для его отрицательной оценки (*обеляет*).

Слова типа *очернить*, *обелить*, *заклеймить*, *дискредитировать*, *фальсифицировать* являются элементами прагматического метаязыка, которым описывается прагматический язык объектов. При этом между объектом и относящимся к нему метаоценочным предикатом существует определенная взаимозависимость, регулируемая следующими правилами. Если объект — положительный, то предикат, к нему относящийся, может либо заключать в себе положительную оценку объекта и тогда вызывать к самому себе положительное отношение говорящего, либо заключать отрицательную оценку и оцениваться отрицательно. К таким положительным объектным прагмемам, как *мир*, *свобода*, *законность*, *равенство*, *прогресс*, могут относиться либо предикаты типа «+++» — *провозгласить*, *возвестить*, *восславить*, либо типа «—» — *попрать*, *очернить*, *дискредитировать*, т. е. дающие негативную оценку своему объекту и тем самым негативно

характеризующие самого субъекта оценки. Что касается отрицательных объектных прагмем, таких, как *насилие, агрессия, беззаконие, конфронтация, эксплуатация*, то к ним могут относиться либо предикаты типа «+—», дающие отрицательную оценку и потому положительные сами по себе, например, *разоблачать, клеймить, предостерегать, обуздывать*; либо предикаты типа «—+», дающие положительную оценку и потому сами прагматически негативные, например, *смаковать, культивировать, насаждать, подстрекать, нагнетать* и т. п. «Законность» можно «крепить» или «попирать»; «беззаконие» — «осуждать» или «насаждать». Прагматически невозможны сочетания типа *попирать беззаконие* или *насаждать законность, подстрекать к свободе* или *сколачивать содружество* (слова *законность, свобода* в этом случае пришлось бы заключать в иронические или скептические кавычки, подчеркивая, что они употребляются в оценочном смысле, противоположном обычновенному). Если в публицистическом тексте встречается глагол *фальсифицировать* или *торпедировать*, то дополнением к нему, как правило, окажется слово или словосочетание с положительной окраской, типа *конструктивные предложения* или *мирные инициативы*. Напротив, положительным предикатам *заклеймить, обуздать* соответствуют в качестве объектов отрицательные прагмемы *преступные акции, гонка вооружений* и т. п.

Структура этого метаязыка предикатов в точности воспроизводит структуру объектного языка, но в еще более концентрированном виде. Все метапрагмемы являются вариациями четырех функций, образующих предикативную метатетраду. Сущность идеологического мышления в ней выражена наиболее чисто и сжато, поскольку отвлечена от того предметно-понятийного многообразия, с которым имеет дело объектный язык. Там оппозиции были связаны с более или менее семантически определенными понятиями «свободы» и «необходимости», «идеи» и «материи» и т. п. — метаоценочный язык отвлечен от этой предметности, потому что объектом его описания выступают уже сами оценки, те самые «плюсы» и «минусы», которые сопровождают каждую функцию объектного языка. Метатетрада представляет собой удвоение этой оценочности, пересечение всех возможных плюсов и минусов, что опять-таки дает четыре функции:

$\begin{matrix} ++ & -+ \\ +- & -- \end{matrix}$  или  $\begin{matrix} +\text{PRO} & -\text{PRO} \\ +\text{CONTR} & -\text{CONTR} \end{matrix}$

Это значит, что позитивная оценка какого-либо явления сама может быть оценена позитивно (*провозглашать, воспевать*) или негативно (*прокламировать, смаковать*), а негативная оценка какого-либо явления может быть оценена как позитивно (*разоблачить, заклеить*), так и негативно (*очернять, дискредитировать*).

Вот как выглядят более полный список субститутивов, реализующих эти четыре функции прагматического метаязыка:

+PRO	-PRO	+CONTR	-CONTR
<i>воспевать</i>	<i>смаковать</i>	<i>клеить</i>	<i>попирать</i>
<i>возвеличивать</i>	<i>культивировать</i>	<i>осуждать</i>	<i>угрожать</i>
<i>прославлять</i>	<i>прокламировать</i>	<i>разоблачать</i>	<i>очернять</i>
<i>славить</i>	<i>евангелизировать</i>	<i>приговаривать</i>	<i>охлаждать</i>
<i>провозглашать</i>	<i>облаять</i>	<i>обуздывать</i>	<i>шлепывать</i>
<i>возвещать</i>	<i>подстрекать</i>	<i>овергивать</i>	<i>подрывать</i>
<i>крепить</i>	<i>насаждать</i>	<i>предостерегать</i>	<i>дискредитировать</i>
<i>приумножать</i>	<i>нагнетать</i>	<i>свергать</i>	<i>фальсифицировать</i>
<i>увеличивать</i>	<i>сколачивать</i>	<i>равенчать</i>	<i>осквернять</i>
			<i>посягать</i>

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гак В. Г. Согоставительная лексикология. М., 1977. С. 99.
2. Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. М., 1974. С. 235—255, 312—315.
3. Словарь синонимов русского языка. 1—2. Л., 1970.
4. Александрова Э. Е. Словарь синонимов русского языка. М., 1969.
5. Львов М. Р. Словарь антонимов русского языка. М., 1984.
6. Полякова Г. П., Солганик Г. Я. Частотный словарь языка газет. М., 1971.
7. Фукидид. История. Кн. 3. § 82, 4. Л., 1981. С. 147.
8. Маккиавелли Н. Избр. соч. М., 1982.
9. Мельчук И. А. Опыт теории лингвистических моделей «Смысл ↔ Текст». М., 1974.

© 1991 г.

ПАДУЧЕВА Е. В.

## К СЕМАНТИКЕ НЕСОВЕРШЕННОГО ВИДА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: ОБЩЕФАКТИЧЕСКОЕ И АКЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Хотя общефактическим значениям несовершенного вида (НСВ) уже посвящена большая литература, они продолжают оставаться благодатным полем для любителей замысловатых лингвистических задач.

Основным среди общефактических значений является общефактическое результитивное, когда глагол НСВ обозначает действие, достигшее предела; так, *показывал* во фразе *Ты показывал ей это письмо?* означает приблизительно то же, что *показал*. В связи с этим значением НСВ возникает следующий вопрос: почему говорящий, имея в своем распоряжении глагол совершенного вида (СВ), который обозначает действие, достигшее предела, употребляет, тем не менее, глагол НСВ, нормально лишенный этого значения; например, говорит *показывал*, а не *показал*? Иными словами, каковы семантические различия между глаголом НСВ в этом результитивном значении и парным глаголом СВ?

Ответ на этот вопрос должен был бы вытекать из сопоставления толкования СВ, в его основном значении, и результитивного НСВ. Толкование СВ не вызывает особых проблем (см., например [1]), а толкования результитивного значения НСВ в полном виде нет<sup>1</sup>.

Толкование, предлагаемое ниже, не претендует на полноту, но должно удовлетворять следующим требованиям.

1. Оно должно прояснить условия, при которых возможно употребление НСВ в общефактическом значении, результитивном или любом другом. Например, оно должно объяснить, почему все-таки нельзя сказать в НСВ \**Кто ронял кошелек?* (когда речь идет о кошельке, лежащем на полу), а надо — *Кто уронил кошелек?* Или почему во фразе *Ты решал задачу?*<sup>2</sup> форма *решал* не означает «решил», т. е. не имеет результитивного значения?

2. Оно должно предопределять тот лексический, синтаксический и прагматический контекст, который требуется для возникновения у глагола в НСВ результитивного значения: в идеале все многочисленные условия, которые благоприятны или же, наоборот, препятствуют реализации общефактического результитивного (см. [4, с. 132—144]), должны вытекать из тех или иных компонентов толкования.

3. Наконец, оно должно обеспечивать возможность семантического сопоставления НСВ с СВ, т. е. все семантические различия между НСВ результитивным и парным СВ должны либо состоять в различии каких-то

<sup>1</sup> Об описании грамматических значений с помощью толкований см. [2]. Метод толкований был впервые применен к славянскому виду в работе [3]. Толкования для актуально-длительного значения НСВ в глаголах различных семантических классов см. [4]. Там же сформулированы некоторые компоненты толкования общефактического значения НСВ, см. ниже.

<sup>2</sup> Знаки \ и / фиксируют фразовое ударение: \ — каденция, / — антикаденция (по Карцевскому [5]).

компонентов их толкований, либо быть естественными семантическими следствиями таких различий.

В данной работе речь идет только о значении НСВ. Сопоставлению НСВ общефактического с СВ мы надеемся посвятить отдельную статью.

Общефактическое результативное значение НСВ противопоставлено и результирующему (*Ты решил задачу?*) и неопредельному (*Я вас любил*). Так называемое общефактическое двуправление — *К тебе кто-то приходил* (▷ «и ушел») — является разновидностью результативного, поскольку *приходит* ▷ «пришел»<sup>3</sup>. Неоднозначность в отношении достижения предела (*Кто строил этот завод? — строительство может быть и не доведено до конца*) мы будем рассматривать именно как неоднозначность (обусловленную, например, недостаточным контекстом), а не как особое значение.

Противопоставление результативного и нерезультативного понимания возможно только для тех глаголов НСВ, у которых имеется парный глагол СВ: только значение глагола СВ фиксирует результат, т. е. итоговое состояние ситуации, которое может быть достигнуто или не достигнуто. Только от парного глагола НСВ можно в принципе о ж и д а т ь результирующего понимания. Так, для глагола *искать*, непарного, во фразе

(1) *Вы искали коменданта?*

значение достижения предела невозможно в такой же степени, как, скажем, для *любить* или *висеть*. Ю. С. Маслов относит *искать* к глаголам «бесперспективного протекания», которые, по своей языковой семантике, «не дают никакой перспективы, кроме перспективы бесконечной себестоительной деятельности» [6, с. 309]. Значение НСВ общефактического в (1) мы называем и неопредельным. Аналогично для *стреляться*, *драться на дуэли*, *подстрекать* и др. Непарные глаголы НСВ, если даже их лексическая семантика включает идею результата, как, например, глагол *видеть* (о зрелищах), проанализированный в [2, с. 68], не будут нас интересовать, поскольку конечной целью анализа является различие между результирующим НСВ и парным СВ, а *видеть* в этом значении не имеет пары, ср. \**Я увидел этот фильм*. Ср. в [7] историческое объяснение семантической специфики глаголов *видеть* и *слышать*.

З а м е ч а н и е. Глагол НСВ входит в видовую пару с СВ, если он может обозначать многократное осуществление той ситуации, которая обозначена глаголом СВ (см. [1]; ср. близкое определение в [8]). Например, *находить* — *найти* — видовая пара, а *любить* — *полюбить*, *подозревать* — *заподозрить* — нет: *подозревать* не может означать «много раз заподозрить». Не составляют видовой пары *умолять* — *умолить*, *уверять* — *уверить*, *настаивать* — *настоять*: *умолять* не может значить «много раз умолить», *уверять* ≠ «много раз заставить поверить», *настаивать* ≠ «неоднократно настоять».

Как сиреведливо утверждает Ю. С. Маслов, понятие видовой парности нельзя строить на основе семантического соотношения «попытка — успех», которое может связывать и аспектуально не соотносимые лексемы — такие, как *искать* и *найти*, *смотреть* и *увидеть*, *слушать* и *услышать*, и т. д.

Ниже мы рассмотрим несколько семантических признаков, которые упоминались в тех или иных работах как характеризующие общефактическое результативное (результативность, фактичность, кратность, неопределенность временной локализации, разобщенность с моментом речи и ретроспективность), и покажем, что многие из них свойственны лишь части результирующих употреблений, так что следует различить по крайней мере три различных значения НСВ, которые все будут результирующими.

<sup>3</sup> ▷ — знак семантического следования.

Каждый признак мы представим как семантический компонент в составе толкования общефактического результивного. Иначе говоря, признак — это название семантического компонента.

## 1. Результивность

Признак «результивность» имеет следующее толкование: «ситуация (обозначаемая глаголом) достигла своего внутреннего предела, и в некоторый момент наступило ее итоговое состояние». Для моментальных глаголов, типа *находить*, которые не имеют процессной фазы, т. е. не обозначают процесса, направленного на достижение предела, «результивность» — это только наступление итогового состояния.

Компонент «результивность» является, естественно, общим для всех результивных употреблений НСВ. Однако статус этого компонента может быть различным. Так, для фразы

(1) *Где апельсины покупали?*

результивное понимание возникает из внеязыкового контекста, так что компонент «результивность», возможно, вообще не входит в семантическое представление предложения (1) (см. [9]). Между тем у глагола *приходить* во фразе (2) результивность является компонентом толкования его формы несов. вида:

(2) *К тебе кто-то приходил.*

Фраза (2) подразумевает «в некоторый момент пришел».

Компонент «результивность» возникает в семантическом представлении тех семантических или лексических классов глаголов НСВ, у которых, как у *приходить*, результивное понимание является единственно возможным (как в единичном, так и в многократном случае). Эти глаголы можно разделить на две группы.

Г р у п п а 1. Глаголы НСВ, не допускающие актуально-длительного (и, вообще, синхронного континуального — не многократного) значения:

а) глаголы с предпочтительно ретроспективной временной позицией наблюдателя: *видеться с*, *покушаться* (на свою жизнь), *отлучаться*, *останавливаться* (в гостинице), *собираться* (в значении «участвовать в собрании», например, *Вчера в нашем клубе собирались ветераны*), *посещать* (ср.? *Он сейчас посещает родственника*) и др.

б) глаголы с предпочтительно многократной интерпретацией НСВ (выделены в работе [6]): *случаться*, *сталкиваться*, *удаваться*, *встречаться* (кому-то), *встречаться* (с кем-то — случайно), *бывать*, *спотыкаться*, *приходить*, *находить*, *приносить*, *приезжать* и пр.; *вызубривать*, *выучивать*, *изнашивать*, *стедать*, *устаревать*, *ослабевать* и под., ср. \**Мне (в данный момент) встречается девочка с ведром.*

Г р у п п а 2. Глаголы, которые обладают следующим семантическим свойством: НСВ.НАСТ ⊃ «СВ.ПРОШ» (т. е. из того, что имеет место ситуация, обозначаемая НСВ.НАСТ, семантически следует, что имеет место ситуация, описываемая парным глаголом СВ.ПРОШ); такие глаголы тоже введены в обращение Ю. С. Масловым:

а) глаголы «непосредственного эффекта» («обозначающие такие действия, которые, даже будучи взяты в сколь угодно краткий момент своего протекания, не могут мыслиться как оставшиеся „неэффективными“, безуспешными» [6, с. 314]): *касаться*, *гладить*, *обнимать*, *трогать*, *щупать* и др. (см. [4, с. 131]). Так, *касается* ⊃ «коснулся», ср. аномальное \**касается, но не коснулся*;

б) глаголы, не допускающие безуспешной попытки, например, *пы-*

таться стараться, пробовать; так, *пытается* □ «попытался», ср. аномальное \**пытается, но еще не попытался*;

в) глаголы передачи информации, которые в сов. виде обозначают речевой акт, а в несов. виде — состояние, сопутствующее этому речевому акту, т. е. предполагающее этот речевой акт совершенным: *просить, предупредить, звать, приглашать, разрешать, посылать, звонить, говорить, требовать, советовать, обещать, благодарить, клясться* и мн. др.; например, *он обещает* предполагает предшествующее «он пообещал», так что из *он обещает* семантически следует «он пообещал». Эти глаголы обладают указанным свойством (НСВ.НАСТ □ «СВ.ПРОШ») только в не 1 л.: в 1 л. они обычно имеют перформативное употребление.

## 2. Фактичность

Признак «фактичность» толкуется с помощью предиката ИМЕЕТ МЕСТО и понятия релативного акцента; а именно, фактичность состоит в том, что в утвердительном высказывании с НСВ общефактическим акцептируется сам факт, что ситуация, обозначаемая общефактическим НСВ, имела место; в отрицательном — то, что не имела места; смысл вопроса с НСВ общефактическим — в том, чтобы выяснить, ситуация имела место или нет. Именно это содержание разумно вложить в понятие факта, и именно этот компонент (обще)фактического значения оправдывает его название.

Признак «фактичность» (в близком понимании) трактуется как конституирующий для общефактического значения в работах О. П. Рассудовой [10, с. 17] и А. В. Бондарко [11, с. 85]. Так, в [10] подчеркивается связь общефактического значения НСВ с определенной коммуникативной установкой говорящего — с акцентом на «было или не было». В [12, с. 82] выражение «констатация факта действия», используемое в русистике для описания функции НСВ общефактического, переводится так: a report or declaration that the action did occur.

Средством выражения фактичности в этом смысле служит главное фразовое ударение на глаголе (обычно контрастное). И действительно, в парадигматических примерах общефактического НСВ главное фразовое ударение падает на глагол:

(1) *Ты когда-нибудь возвращался / этой дорогой?*

(2) *Я тебя предупреждал \*

Фразовое ударение, не контрастное, на одном из актантов, однако, не лишает высказывание статуса утверждения факта:

(3) *Этот фильм показывали по телевизору \*

Перенос ударения на глагол в этом случае всего лишь помещает предложение в полемический контекст:

(3') *Этот фильм показывали \ по телевизору.*

То, что понятие факта играет в определении общефактического значения не чисто терминологическую роль, получит подтверждение в дальнейшей анализе (см. ниже раздел 4).

Известно, что фразовое ударение на глаголе может быть, само по себе, фактором, обуславливающим предпочтение общефактической интерпретации формы НСВ перед актуально-длительной [4, с. 141], например:

(4) а. *Я смотрела этот глупый фильм \* (допустимо актуально-длительное понимание: «смотрела в тот момент, когда...»);

б. *Я смотрела \ этот глупый фильм* (только общефактическое понимание).

В (5а) ударение на глаголе дает однозначно общефактическое понимание, а при конечном ударении предпочтительно актуально-длительное:

(5) а. Я открывал \ окно.

б. Я открывал окно \ :

В самом деле, предложение с акцентной структурой (5а) подставляется в контекст (6), а со схемой (5б) — нет:

(6) Когда ты позвонил, я открывал окно, но что-то заело.

\*Когда ты позвонил, я открывал \ окно.

Аналогично:

(7) а. Я показывал \ ему твое письмо (общефактическое значение).

б. Я показывал ему твое письмо \ (актуально-длительное).

Казалось бы, признак «фактичность» можно ввести в толкование НСВ общефактического; однако, скажем, про примеры (8а)—(8в) нельзя сказать, что в них глагол НСВ выражает факт, — главный акцент здесь падает на сирконстант, а ситуация, описываемая глаголом, оказывается в презумпции:

(8) а. Операцию делали ему в Москве \ (пример взят из [13]).

б. В этой портерной я написал ... первое любовное письмо к Вале.

П и с а л карандашом \ (пример взят из [12]).

в. Кто с т р о и л эту дорогу?

Общий вопрос — это вопрос о факте, т. е. о том, имела место ситуация или нет, см. (9а); между тем в частном вопросе, так же, как в предложении с контрастным ударением на одном из актантов, тот факт, что ситуация имела место, составляет презумпцию, см. (9б):

(9) а. Ты выносил \ мусор? (вопрос о факте).

б. Ты / выносил мусор? (вопрос о субъекте действия; само осуществление действия — в презумпции).

Таким образом, признак «фактичность», при его безусловной релевантности, не является общим для всех употреблений НСВ, обычно причисляемых к общефактическим, например, (8а)—(8в) и (9б) его не имеют.

### 3. Кратность

Признак «кратность» — это следующий компонент толкования: «ситуация (обозначаемая глаголом) имела место по крайней мере один раз, т. е. один раз или больше».

Глагол НСВ в общефактическом значении обычно выражает ситуацию с неопределенной кратностью (см. об этом, например [11, с. 84]). Примеры:

(1) Мне случилось потерять паспорт (= «по крайней мере один раз случилось»);

Ты находил в этом лесу рыжики? (= «нашел хоть раз?»);

Я шил такие куртки (= «шил по крайней мере одну»).

Однако общефактическое значение часто контактируется и в контексте высказывания, обозначающего единичную ситуацию, как в примере (2) [ср. также пример (8) из раздела 2]:

(2) Вы обедали? (= «сегодня»)

Ср. противопоставление — неопределенная кратность в (3а) и единичность в (3б):

(3) а. Сергей вешал \ эту карту. <Он знает, как это делается.>

б. Сергей вешал \ тогда карту. <Я точно помню.>

Как правило, единичная интерпретация обусловлена не собственным значением глагола НСВ, а контекстом, — языковым или внеязыковым. Так, в (2) единичность достигается на уровне прагматики — она вытекает

из того, что мы обедаем раз в сутки, а вопрос относится к текущему дню (см. [14]). В (3б) она выражается обстоятельством времени: *тогда* (= «в тот раз»). В примере (8) из раздела 2 единичность подкрепляется конкретно-референтным статусом объекта: нельзя многократно строить одну и ту же дорогу или писать одно и то же письмо. Так или иначе, противопоставление «кратность» vs. «единичность» дает разные семантические разновидности общефактического значения.

Как и фактичность, кратность ситуации может быть существенным условием, благоприятствующим пониманию формы НСВ в результативном значении, т. е. однозначно выраженная кратность имеет следствием однозначно результативное понимание НСВ:

- (4) а. *Петя решил \ такие задачи* (кратная ситуация, результативное понимание);  
б. *Петя решил \ задачу* (единичная ситуация, нерезультативное понимание).

Обычно одну и ту же задачу не решают несколько раз; представляется, что только поэтому у (4б) не возникает результативного понимания (даже под фразовым ударением, т. е. в контексте положительного значения признака «фактичность», которое уже само по себе благоприятствует результативному пониманию). А если возникает, то только постольку, поскольку многократное решение одной задачи все-таки возможно.

Контекст кратности, т. е. потенциальная возможность многократного осуществления ситуации, оказывается существенным условием допустимости результативного осмысления НСВ даже тогда, когда речь идет о единичном действии. Иначе говоря, потенциальная кратность тоже способна породить компонент «результативность». Ср. пример, показывающий связь результативного понимания НСВ общефактического с потенциальной кратностью ситуации:

- (5) а. *А тьква / превращалась в спектакле «Золушка» в карету \* (пример из [4, с. 129]);  
б. *А дом / превращался в груды развалин \*.

В предложении (5б), в отличие от (5а), *превращаться* не понимается в значении «превратиться». Почему? Единственное видимое различие между (5а) и (5б) — в том, что в (5а) речь идет о регулярном и, следовательно, обратимом превращении, которое происходит каждый спектакль, а предложение (5б) описывает превращение, которое может произойти только один раз. Для (5б) поэтому наиболее естественное понимание — в актуально-длительном значении. Другой пример:

- (6) а. *В прошлый раз я выразил ему свое неудовольствие;*  
б. *Я сейчас выразил ему свое неудовольствие.*

В (6а) можно заменить *выразил* на *выражал* — с точки зрения достижения предела эти глаголы равнозначны; но *выражал* порождает противопоставление прошлого раза каким-то другим, а следовательно, подчеркивает потенциальную многократность возникновения неудовольствия. Между тем если в (6б) заменить СВ на НСВ *выражал*, то НСВ будет понято в актуально-длительном значении (синхронном точке отсчета, задаваемой обстоятельством *сейчас*: «находился в какой-то момент в процессе выражения»); ситуация отчетливо единичная.

Связь результативности с многократностью, которая обнаруживается в плане чисто сочетаемом, имеет очевидную семантическую основу. Общим для всех значений НСВ — актуально-длительного и общефактического — является следующий компонент: «в некоторый момент имела место ситуация, обозначаемая данным глаголом». Чтобы имела место си-

туация, надо, чтобы имел место по крайней мере один ее «квант»; а если глагол НСВ обозначает процесс (состояние) многократного осуществления ситуации, выражаемой глаголом СВ, то один квант такого процесса — это будет ситуация, достигшая предела.

Эксплицитные показатели однократности эквивалентны многократности, поскольку предполагают потенциальную кратность ситуации (ср. в [10, с. 26] о том, что слова *однажды*, *один раз* создают благоприятный контекст для реализации общефактического значения: *В этом году я уже один раз брал отпуск*). Так что многократность противопоставлена не однократности, а единичности.

**З а м е ч а н и е.** Многократность ситуации — это ее воспроизводимость во времени — с неизменным набором основных участников; иначе, это распределенность во времени. Многократность следует отличать от дистрибутивности: дистрибутивность — это распределенность ситуации по некоторому классу участников. Значение достижения предела («результативность») порождается любой множественностью, т. е. не только многократностью, но и дистрибутивностью:

(7) а. *Я много раз находил клад* (многократность);

б. *Многие смельчаки находили там себе могилу* (дистрибутивность по множеству субъектов).

Различие между многократной и дистрибутивной ситуацией является, однако, принципиальным, поскольку многократность (вне узувальности и потенциальности) требует ретроспективной точки отсчета и, следовательно, работает на общефактическое значение, см. раздел 6. Между тем дистрибутивность безразлична к точке отсчета, так что в контексте дистрибутивности значение НСВ может быть результативным, но не общефактическим. Так, в (8) результативное понимание возникает в наст. времени, т. е., очевидно, не при общефактическом значении НСВ, поскольку в наст. времени общефактическое понимание НСВ невозможно [9]:

(8) *На юге люди рано стареют.*

#### 4. Разобценность действия с моментом речи

Компонент «разобценность действия с моментом речи»: «итоговое состояние ситуации (иначе — результат) не сохранилось в момент речи или в какой-то другой точке отсчета». Термин «разобценность» принадлежит А. В. Исаченко, ср. типичные контексты для НСВ в противоположность СВ:

(1) а. *Я прочел статью, и теперь все знаю.*

б. *Я читал статью, но ничего не помню.*

В работе М. Я. Гловинской [4, с. 118] для признака «разобценность» принята более слабая формулировка: «неизвестно, сохранился ли результат». В такой формулировке этот компонент мог бы даже не включаться в толкование НСВ общефактического, поскольку такое значение НСВ порождается, в контексте прош. времени, противопоставлением формы НСВ форме СВ, у которой перфектность, т. е. сохранение результата в момент речи, является одним из отчетливых компонентов значения (см. [1]).

Однако для таких употреблений НСВ результативного, которые характеризуются положительным значением признаков «фактичность» и «кратность», верна именно более сильная формулировка; и тогда «разобценность» — это положительный признак общефактических значений НСВ, а не компонент, который возникает у формы НСВ по умолчанию:

(2) а. *Мне предложили написать на нее рецензию.*

б. *Мне предлагали написать на нее рецензию.*

Вариант (2б) более уместен в ситуации, когда я уже отказался или когда время для положительного ответа истекло, а вариант (2а) — когда я еще думаю, согласиться или нет. Другие примеры:

(3) — *От кого письмо?* — *Не знаю. Мне его няня передала* (ср. \**передала*).

(4) *Когда же выпал* (ср. \**выпадал*) *этот снег?*

В примерах (3), (4) неуместность НСВ обусловлена очевидным сохранением итогового состояния в момент речи. В (5) итоговое состояние прекратилось, и употребляется ССВ:

(5) а. *Я брал твой ключ.* <Я его вернул>.

б. *Я открывал окно.* <Окно сейчас закрыто.>

Признак «разобшенность» объясняет семантический механизм двунаправленного значения [10, с. 22]: в контексте глагола, обозначающего действие, для которого определено следующее за ним «противоположно направленное», если итоговое состояние не сохранилось, это значит, что оно было аннулировано противоположно направленным действием. Так, из *открывал* в (5б) следует «потом закрыл» или «потом закрылось».

Имеется характерный класс общефактических употреблений НСВ, которые, как может показаться, свидетельствуют против включения компонента «разобшенность» в толкование этого значения:

(6) а. <—Хочешь борща?> — *Спасибо, я обедал.*

б. <—Пойдем со мной в кино!> — *Я смотрел этот фильм.*

в. *Я дарил тебе свою книгу?* (т. е. «Она у тебя есть?»)

Казалось бы, что интересует говорящих, так это именно результат. Однако дело здесь не в сохранении итогового состояния, а в коммуникативной важности тех или иных следствий, вытекающих из факта осуществления соответствующего действия (ср. [11, с. 88]). Так, в (7) состояние обладания представлено говорящим как следствие, вытекающее из факта дарения; аналогично в (8):

(7) *Он дарил мне свою книгу. Она у меня где-то есть.* (= «должна быть»; или: «из этого факта я заключаю, что она у меня есть»)

(8) *Должна быть моя карточка. Я записывался* (пример из [13]).

В некоторых контекстах сохранение итогового состояния процесса и следствие из факта его осуществления могут быть почти неразличимы:

(9) *Почему ты не пришел? Мы же с тобой условились!* (или: *Мы же с тобой славилились!*)

В обоих случаях — при СВ и при НСВ — сила договора сохраняется; в одном — потому, что еще длится итоговое состояние, в другом — в силу факта его заключения. Так что связь общефактического значения с понятием факта оказывается далеко не случайной.

Другой тип примеров, которые, на первый взгляд, противоречат признаку «разобшенность»:

(10) *Ты брал/ со стола ключи?* <когда ключей на столе нет>

(11) *Ты переставлял/ мои книги?* <когда книги переставлены>

Объяснение для (10): здесь противопоставлены не «брал» и «не брал», а «ты взял ключи» и «с ключами случилось что-то еще». Т. е. состояние, которое находится перед глазами говорящего, может быть итоговым не только для данного действия, но и для каких-то других, так что нельзя считать, что высказывание сделано просто в контексте сохранения итогового состояния действия, обозначенного глаголом СВ *взять*. Высказывание (11) делается, видимо, в контексте неполной уверенности в том, что книги переставлены; в противном случае более естественно сказать *Ты / переставлял мои книги?*

Таким образом, в контексте положительного значения признаков «фактичность» и «кратность» семантика НСВ результативного включает компонент «разобшенность». В то же время при отрицательном значении этих

признаков НСВ свободно употребляется в контексте сохранившегося итогового состояния — условие «разобщенность» не выполняется (*Где апельсины покупали?*). Так что разобщенностью характеризуются не все употребления НСВ результативного.

### 5. Неопределенность времени завершения

Компонент «неопределенность времени завершения»: «момент окончания действия и наступления итогового состояния является неопределенным или даже неререферентным — неконкретным» (о неопределенности времени завершения см. [4, с. 120]).

Этот компонент отчетливо противопоставляет НСВ общефактическое и СВ, в толкование которого входит компонент «определенность — конкретная референтность — времени завершения». В самом деле, в предложении, где глагол СВ имеет точное обстоятельство времени, обстоятельство обозначает именно время завершения действия. А при отсутствии обстоятельства форма СВ предполагает приуроченность окончания действия к моменту речи или к другой точке отсчета, фиксированной в контексте. Этот факт хорошо объясняется структурой толкования СВ: именно завершение действия является главной ассерцией в семантическом разложении глагола СВ [1].

Для НСВ общефактического типичное употребление — без обстоятельства времени или в контексте обстоятельства, которое эксплицитно выражает временную неопределенность (*как-то*) или неререферентность показателя времени (*когда-нибудь*), и в этом контексте время наступления итогового состояния — это некоторый (неопределенный и, быть может, не единственный) момент, предшествующий точке отсчета:

(1) Ты читал *«Капитанскую дочку»*? (= «читал когда-нибудь?»).

Глагол в общефактическом значении свободно допускает показатель объемлющего времени [15], которое задает достаточно широкий временной интервал для ситуации и не устраняет неопределенности времени завершения — в этом случае показатель времени локализует не завершение процесса, а сам процесс (локализуется тот его квант, который предполагается инвариантом НСВ):

(2) Я разбирал \ одно похожее дело в прошлом году (пример из [13]).

Таким образом, имеется достаточно оснований для того, чтобы включить «неопределенность времени завершения» в число семантических компонентов общефактического значения НСВ.

Исключение составляют двунаправленные глаголы — для них момент наступления итогового состояния может быть задан с достаточной определенностью:

(3) а. Он когда-нибудь возвращался в полночь?

б. Почтальон приходил в 8 утра.

в. Мы встречались с ней в два часа.

В (3а) показатель времени является неререферентным, хотя и задает точное время.

Семантическое взаимодействие НСВ общефактического с показателем времени — это одно из следствий «коммуникативной структуры» его толкования: наступление итогового состояния (результата) находится здесь не в фокусе, т. е. не является главной ассерцией, как у СВ. Отсюда тот факт, что не только показатель времени, но и другие типы обстоятельств, которые допустимы в контексте НСВ общефактического, относятся к процессу, т. е. к деятельности (activity), а не к результату:

(4) *Он приходил, чтобы проститься.*

К данной цели направлен процесс, а не его завершение, так что в толковании этого предложения указание цели должно относиться к «шел», а не к «пришел»: (4) предполагает «он шел, чтобы проститься».

Ограничение сочетаемости, представленное примером (5), также свидетельствует о том, что компонент «неопределенность времени завершения» в семантике НСВ общефактического является следствием неассертивности резульативного компонента (пример из [10]):

(5) а. *Ты, наконец, передал ему мою книгу?*

б. *\*Ты, наконец, передавал ему мою книгу?*

Основным для НСВ общефактического является контекст, где обстоятельство времени вообще отсутствует. В частности, только в этом контексте реализуется компонент «фактичность», требующий главного фразового ударения на глаголе. В самом деле, в предложении с романтическим обстоятельством времени осуществление действия будет составлять презумпцию; а тематическое обстоятельство времени препятствует реализации общефактического значения, поскольку фиксирует синхронную точку отсчета (см. в разделе 6).

Таким образом, по поводу временных характеристик НСВ резульативного можно сказать следующее.

1) Необходимо отделить сочетаемость общефактического значения с обстоятельством времени от проблемы временной локализации, предполагаемой самим общефактическим значением НСВ, т. е. проблемы референциального статуса момента наступления итогового состояния, входящего в толкование.

2) Момент наступления итогового состояния является нереферентным в одних употреблениях НСВ общефактического — в контексте кратности (*Ты читал «Капитанскую дочку» хоть раз?*), и конкретно-референтным в других — в контексте единичности (*Вы тогда ходили в кино?*).

3) Что же касается сочетаемости, то способ семантического взаимодействия НСВ общефактического с обстоятельствами времени, как и с другими семантическими операторами, предопределен неассертивным статусом компонента «результативность» в его толковании. Из обстоятельств времени НСВ общефактическое свободно (лексически неограниченно) сочетается только с показателями объемлющего времени, которое погружает ситуацию в широкий временной интервал, т. е. задает «неточное» время.

## 6. Ретроспективная точка отсчета

Компонент «ретроспективная точка отсчета» (иначе — ретроспективная позиция наблюдателя, о наблюдателе см. [16]) — это единственный действительно общий компонент всех общефактических значений НСВ, как резульативных, так и не резульативных, в частности, непредельных (см. [9]); он противопоставляет общефактическое значение актуально-длительному, которое характеризуется синхронной точкой отсчета (об актуально-длительном как синхронном см. [3]).

Кроме общефактических значений НСВ, ретроспективная точка отсчета свойственна только дуративному (термин из [17]) (*Я гулял с двух до трех*) и определено-кратному (термин из [6]) (*Я стучал три раза*). Однако эти значения всегда маркируются эксплицитным обстоятельством длительности или кратности. Между тем при общефактическом значении ретроспекция не имеет специальных синтаксических показателей. Тем самым ретроспекция, наряду с временной

Признак	Видовое значение		
	НСВ общефактическое	НСВ акциональное	
1. Статус компонента «результативность»	«результативность» — компонент семантического представления	результативная интерпретация может быть следствием ситуативного контекста	
2. Коммуникативное членение лексического значения	«фактичность», т. е. релятивный акцент на операторе ИМЕЕТ МЕСТО	действие (процесс) — тема	
3. Сохранение/несохранение итогового состояния ситуации	«разобщенность действия с моментом речи»	обычно употребляется в контексте сохранения итогового состояния	
4. Количество	«кратность» (у общефактического экзистенциального)	«единичность» (у общефактического конкретного)	«единичность»
5. Определенность/неопределенность времени завершения ситуации	«неопределенность»		
6. Положение точки отсчета	«ретроспективность»		

неопределенностью, является действительно характеристическим признаком, объединяющим все результативные значения НСВ. Колебания в отношении употребления НСВ к общефактическому или к актуально-длительному возникают именно в том случае, когда неясна временная позиция наблюдателя. Ср. неоднозначную фразу (1) *Маша только что мыла пол в коридоре.*

В контексте вопроса *Ты не видел Машу?* ответ (1) будет пониматься с синхронной точкой отсчета и актуально-длительным значением НСВ *мыла*; в контексте вопроса *Зачем ты можешь пол?* ответ (1) будет понят с ретроспективной точкой отсчета и с общефактическим значением НСВ. Ср. также пример (86) из раздела 2, где при переходе от одного упоминания ситуации написания письма к другой возможна смена точки отсчета.

\*

Итак, наш анализ показывает, что результативные употребления несовершенного вида не составляют единого значения: имеется несколько различных результативных значений НСВ. Значение, которое включает все шесть указанных компонентов, можно назвать *экзистенциальным* (*Мой дядя восходил на Эверест*), или *собственно общефактическим*. К нему примыкает общефактическое конкретное,

которое не имеет признака «кратность» (*Вы обедали?*). На противоположном полюсе находится а к ц и о н а л ь н о е значение (*Где апельсины покупали?*), которое не включает ни одного из характерных семантических компонентов общефактического значения, кроме ретроспективной точки отсчета и, быть может, временной неопределенности.

Сравнительные характеристики НСВ общефактического и НСВ акционального представлены в таблице. Экзистенциальное значение основано на идее кратности и не предъявляет особых требований к лексическому значению глагола — многократную интерпретацию допускают, по определению, все глаголы НСВ, входящие в предельную видовую пару. Между тем акциональное значение возможно только у акциональных глаголов НСВ, т. е. таких, которые а) входят в предельную видовую пару и б) имеют активный субъект, контролирующей ситуацию; иначе говоря, у глаголов, которые допускают противопоставление по линии попытка-успех. Это объясняет аномалию в примере *\*Кто ронял кошелек?*: экзистенциальная интерпретация исключается контекстом уроненного кошелька (т. е. противоречит компоненту «разобщенность»), а акциональная невозможна из-за неакциональности глагола *ронять*.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Падучева Е. В. К поискам инварианта в значении глагольного вида: вид и лексическое значение глагола // НТИ. Сер. 2. 1989. № 12.
2. Апресян Ю. Д. Типы информации для поверхностно-семантического компонента модели «смысл ↔ текст» // Wiener slawistischer Almanach. 1980. Sbd 1.
3. Wierzbicka A. On the semantics of verbal aspect in Polish // To honor Roman Jakobson. The Hague; Paris, 1967.
4. Гловинская М. Я. Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола. М., 1982.
5. Karcevski S. Systeme du verbe russe. Prague, 1927.
6. Маслов Ю. С. Вид и лексическое значение глагола в современном русском литературном языке // ИАН ОЛЯ. 1948. № 4.
7. Lehmann F. Besonderheiten der Verwendung von *videt'* «sehen» / *slyšat'* «hören» im Russischen und die Konservierung alter Sprachzustände // Slavistische Linguistik. 1988. München, 1989.
8. Булагина Т. В., Шмелев А. Д. Ментальные предикаты в аспекте аспектологии // Знание и мнение. Проблемы интенциональных и грамматических контекстов. М., 1989.
9. Падучева Е. В. Семантика вида и точка отсчета // ИАН СЛЯ. 1986. № 5.
10. Рассудова О. П. Употребление видов глагола в русском языке. М., 1968.
11. Бондарко А. В. Вид и время русского глагола. М., 1971.
12. Forsyth J. A grammar of aspect. Cambridge, 1970.
13. Leinonen M. Russian aspect, «temporal'naja lokalizacija» and definite / indefinite. // Neuvostoliitto-instituutin vuosikirja. 1982. № 27.
14. Charut R. P. Temporal and semantic factors affecting aspect choice in questions // Slavic aspect // Ed. by Thelin N. Amsterdam, 1990.
15. Падучева Е. В. К семантической классификации временных детерминантов предложения // Язык: система и функционирование. М., 1988.
16. Апресян Ю. Д. Дейксис в лексике и грамматике и иппиния модель мира // Семантика и информатика. Вып. 28. М., 1986.
17. Timberlake A. The temporal schemata of Russian predicates // Issues in Russian morphosyntax / Ed. by Flier M. S., Brecht R. D. Columbus; Ohio, 1984.

© 1991 г.

ФЕДОРОВА Л. Л.

ТИПОЛОГИЯ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И ЕГО МЕСТО  
В СТРУКТУРЕ ОБЩЕНИЯ

Речевое воздействие представляет собой одну из сторон речевого общения. В теории речевой коммуникации принята двухуровневая модель речевого общения, включающая социологический и коммуникативный уровни. Содержанием социологического уровня общения является социальное взаимодействие собеседников, т. е. их влияние на поведение, образ мыслей и чувства друг друга. Содержанием коммуникативного уровня является передача сообщения, точнее — обмен информацией между собеседниками. Тем самым общение не сводится просто к передаче информации, но предполагает более глубокое социальное содержание. Такая трактовка речевого общения основывается на идеях К. Маркса и Ф. Энгельса, высказанных в «Немецкой идеологии», и развивается в трудах А. А. Леонтьева, Е. Ф. Тарасова и других советских исследователей [1].

В соответствии с этой теорией речевое воздействие можно понимать как речевую форму социального воздействия, иначе говоря, как однонаправленное речевое действие, содержанием которого является социальное воздействие говорящего на собеседника в процессе общения, диалога.

Термин «речевое воздействие» восходит к понятию перлокуции, введенному Дж. Остином. Его модель речевого акта включает локуцию — говорение, иллокуцию — коммуникативное речевое действие и перлокуцию — речевое воздействие, или речевоздействующий эффект, производимый говорящим на чувства, мысли и действия собеседника. В силу своей непредсказуемости и психологического характера содержания перлокутивы не рассматривались в рамках лингвистического анализа, который был направлен преимущественно на иллокутивные действия, определяемые по выраженному в них коммуникативному намерению говорящего<sup>1</sup>.

В настоящей статье речевое воздействие, в отличие от перлокуции Дж. Остина, определяется как рассчитанный эффект, т. е. мы ориентируемся не на результат воздействия на собеседника, а на коммуникативное намерение говорящего, выраженное в речи и распознанное собеседником (ср. иллокутивы). Тем самым речевое воздействие сопоставляется с коммуникативным действием не по соотношению результата и цели, а по соотношению объектов действия: объектом речевого воздействия выступает собеседник, а объектом коммуникативного действия — само сообщение. Это дает возможность более полно проанализировать речевые воздействия как рассчитанные эффекты, вызывающие определенную реакцию собеседника, и включить в сферу анализа целый ряд речевых действий, оставшихся за ее пределами. Такая задача представляется вполне

<sup>1</sup> Известны классификация иллокутивных глаголов Дж. Остина, Дж. Серая; одна из последних классификаций, близкая к традиционным, принадлежит К. Баху и Р. Харришу [2].

правомерной и осуществимой. Недаром в лингвистике издавна делались попытки продолжить ряд очевидных соответствий типа: вопрос — ответ, суждение — подтверждение/отрицание, предложение — согласие/отказ [3—7].

Для решения этой задачи обратимся сначала к модели акта речевого взаимодействия. Ее компонентами явятся, в частности, речевые действия, которыми обмениваются собеседники, осуществляя цели общения (более подробно данная модель рассмотрена в [8—9]). Характерна для общения как социального и коммуникативного взаимодействия, можно говорить о целях социального взаимодействия, или о речевоздействующих целях, и о подчиненных им коммуникативных целях — целях передачи сообщения. Можно еще выделить цели речевого самовыражения, подчиненные речевоздействующим и определяющие манеру речевого поведения говорящего. Соответственно и в структуре речевых действий могут быть выделены три элементарных составляющих: речевое воздействие, имеющее своим объектом собеседника, коммуникативное действие, имеющее в качестве объекта собственно сообщение, и, так сказать, речевое самовыражение — безобъектную составляющую. Это можно проиллюстрировать на примере конкретной ситуации общения: «*Эх ты, чучело!*» — говорит мальчишка новенькой однокласснице. Тем самым он **д р а з н и т** ее, осуществляя эмоциональное речевое воздействие; он **г о в о р и т**, что она выглядит чучелом, — в этом заключается содержание его высказывания, коммуникативная составляющая речевого действия; наконец, он **п р о с т о д р а з н и т с я**, **ш у т и т**, осуществляя в речи свою линию поведения.

Таким образом, уточняя первоначальное определение, можно сказать, что речевое воздействие — это не речевое действие как таковое, но его основная составляющая, поскольку она определяет в известной степени остальные.

Большинство речевых воздействий может быть охарактеризовано с трех сторон, хотя могут указывать и на одну их составляющую — на речевое воздействие их названия: *здороваться с кем-либо, хвалить кого-либо, дразнить кого-либо* и др., на коммуникативное действие — *описывать что-либо, подтверждать что-либо, отрицать что-либо* и др., на речевое самовыражение — *хвастаться, шутить, злословить* и др. В тех случаях, когда в описании конкретной ситуации используется речевоздействующая составляющая, обычно не составляет труда восстановить остальные. Поэтому типология речевых воздействий может служить основной типологии речевых действий.

Предложенная модель акта речевого взаимодействия описывает элементарный диалог, однако она может быть распространена и на более сложные случаи речевого общения. Как для отдельных актов речевого взаимодействия, так и для диалога в целом можно говорить о целях речевого воздействия (целях общения) и коммуникативных целях (целях сообщения) его участников. Цель общения инициатора диалога задает его стратегию, в то время как конкретные речевоздействующие цели собеседников в каждом акте речевого взаимодействия задают тактику ведения диалога. (Цель сообщения и конкретные коммуникативные цели говорящих определяют содержательную сторону диалога.) Речевое поведение собеседника — инициатора диалога определяется обычно одной из трех стратегий: противодействия, содействия или подчинения цели общения инициатора диалога.

В соответствии с предложенной моделью речевого общения можно

строить типологию речевых воздействий. Одним из путей для создания такой типологии является анализ словарного материала<sup>2</sup>.

В Словаре русского языка С. И. Ожегова удалось обнаружить более 800 наименований речевых действий, которые можно было отнести к трем классам: наименования речевых действий по характеру речевого воздействия (около 46%), по характеру коммуникативного действия (около 25%) и по способу речевого самовыражения (примерно 29%). Это разбиение достаточно условно, поскольку целый ряд глаголов характеризует речевые действия одновременно с двух, а то и с трех сторон: так, глаголы *жаловаться*, *звать* можно отнести и к речевым воздействиям, и к коммуникативным действиям, и к речевому самовыражению. В таких случаях мы использовали грамматический критерий: если в модели управления глагола обязателен объект — собеседник, то такой глагол относился к группе речевоздействующих; если допускается безобъектное употребление глагола, он относился к глаголам речевого самовыражения; если же глагол речевого действия требует в качестве объекта сообщение и допускает отсутствие адресата, то его относили к группе коммуникативных действий. Таким образом, *звать кого-либо за что-то*, *угрожать кому-то чем-то*, *убеждать кого-то в чем-то*, *советовать кому-то что-то*, *сообщать кому-то что-то* и т. д. — глаголы речевого воздействия; *доказывать что-то*, *отвергать что-то*, *утверждать что-то*, *пересказывать что-то*, *описывать что-то* — глаголы коммуникативного действия; *жаловаться*, *звать*, *браниться*, *язвить*, *шутить*, *любезничать*, *ругаться* — глаголы речевого самовыражения.

В результате анализа словарного материала были выделены следующие основные типы речевых воздействий: 1) социальные воздействия, 2) волеизъявления, 3) разъяснение и информирование и 4) оценочные и эмоциональные речевые воздействия.

К первому типу, условно названному «социальные воздействия», относятся особые ситуации общения, в которых не происходит передачи информации как таковой, но осуществляются определенные социальные акты: приветствия, прощания, представления, благодарности, извинения, прощения, соблазнования, обязательства (обещания, клятвы, присяги, поручительства), а также обращения и законодательные акты (постановления), молитвы, заклинания, посвящения и др. Собеседник, осуществляющий в акте общения социальное воздействие, руководствуется речевоздействующей, но не коммуникативной целью. Такие акты речевого взаимодействия относятся к особому типу общения — общению-деятельности, характеризующемуся собственными речевыми целями в отличие от общения-действия, подчиненного социальному взаимодействию и не являющегося деятельностью в строгом смысле слова. Таким образом, общение-действие и общение-деятельность представляют собой два основных типа речевого взаимодействия. Общение-деятельность охватывает в основном ритуальные формы речевого поведения, в которых речь самоценна. Речевое воздействие говорящего на поведение собеседника заключается здесь в том, чтобы вызвать у собеседника ответные социальные действия, оно имеет конвенциональный характер. Реакции собесед-

<sup>2</sup> Анализ класса глаголов речи, но в связи с другими конкретными задачами посвящены работы [10, 11]. Другой возможный путь для решения нашей задачи — анализ диалогической речи, к которому приходилось обращаться и в нашем исследовании. В принципе, построить адекватную модель можно, только учитывая обе эти сферы анализа.

ника на речевые воздействия этого типа обычно стандартны и задаются социальными нормами. Волеизъявления являются ядерной группой речевых воздействий. Речевые воздействия этого типа направлены на поведение, поступки собеседника, заставляя его действовать в соответствии с волей и желанием говорящего.

Виды волеизъявлений различаются по роли в акте речевого взаимодействия (они могут выступать как акции или как реакции), по характеру и по силе речевого воздействия. По характеру речевого воздействия выделяются следующие акции: 1) приказ, повеление, 2) призыв, агитация, 3) указание, 4) убеждение, совет, 5) предложение, 6) просьба, 7) просьба о разрешении, 8) просьба дать информацию, т. е. вопрос и 9) желание. К реакциям волеизъявления относятся еще четыре вида речевых действий: 10) согласие, 11) несогласие, возражение, отказ, 12) разрешение, 13) запрет. Перечисленные виды волеизъявлений, равно как и виды социальных воздействий, можно назвать тактическими формами речевого воздействия. Волеизъявительные акции упорядочены по убыванию силы речевого воздействия: наибольшей силой обладает приказ, а наименьшей пожелание. Что касается волеизъявительных реакций, то наиболее слабой из них являются реакция согласия и разрешения, а более сильными выступают соответственно отказ и запрет.

Волеизъявительные акции могут вызвать у собеседника реакции подчинения, содействия или противодействия воле говорящего. При этом тактические формы акций обуславливают использование определенных тактических форм реакций, что определяет в конечном счете связность диалога.

Третий тип речевого воздействия соответствует стратегиям разъяснения и информирования. К речевым действиям информирования можно отнести: *сообщать, предупреждать, извещать (Сегодня придут гости); докладывать, рапортовать, отчитываться (Задание выполнено!); рассказывать, исповедоваться, признаваться, поверять (Я должен вам признаться, что совершил ошибку...); объявлять (Продается шкаф); заявлять (Я протестую!)* и др. Последние два названных вида могут, впрочем, в определенных социальных ситуациях выступать как социальные воздействия. Речевые действия разъяснения описываются глаголами *объяснять, растолковывать, просвещать (Для теста нужно стакан муки, два яйца, две ложки майонеза...)*.

Речевые действия этого типа, заключая в себе сообщения и суждения, которыми говорящий хочет поделиться с собеседником, могут изменять образ мыслей и степень осведомленности собеседника и тем самым оказывают воздействие на него. Они могут выступать как реакции на вопрос говорящего и как самостоятельные акции, не обладая, однако, большой силой воздействия.

Последний, четвертый тип речевого воздействия представляют оценочные и эмоциональные воздействия. К оценочным воздействиям относятся такие моральные оценки, как 1) порицание, осуждение (*Как тебе не стыдно! Ай-яй-яй!*), 2) похвала, одобрение (*Молодец! Хорошо!*), 3) обвинение (*Это ты натворил! Ты не прав*), 4) защита, оправдание (*Ты не виноват; Ты правильно сделал*). Они направлены в основном на чувства собеседника и производятся на основании общепринятых моральных критериев.

Речевые воздействия этого типа подразделяются по шкале оценок на положительные (похвала, одобрение и защита, оправдание) и отрицательные (порицание, осуждение и обвинение). При этом первые два вида — похвала и осуждение — относятся к морально-этической сфере, а два

последних — оправдание и обвинение — подразумевают социально-правовую сферу оценки поведения.

Эмоциональные речевые воздействия отличаются от оценочных в основном тем, что они связаны не с общественными, объективно установленными морально-правовыми отношениями, а с областью межличностных субъективно-эмоциональных отношений. Отметим следующие виды эмоциональных воздействий: 5) оскорбление, брань (*Ах ты, нагал!*), 6) угроза (*Ну, заяц, погоди!*), 7) насмешка (*Эх, ты, чучело!*), 8) ласка (*Солнышко ты мое!*), 9) одобрение, утешение (*Ну-ну, не вешай нос!*).

Поскольку эмоциональные и оценочные речевые воздействия направлены на чувства собеседника, они требуют особого эмоционального строя речи, в котором широко используются междометия, восклицания, особые интонационные средства и даже специфические стиливые разновидности речи. В целом языковые формы речевого воздействия этого типа отличаются большим разнообразием, хотя для каждого из выделенных видов могут быть отмечены наиболее типичные, устойчивые языковые формы.

Проблема заключается в том, чтобы создать лингвистическую типологию речевых жанров, т. е. относительно устойчивых типов высказываний, в которых неразрывно связаны на основе специфики общения три момента: тематическое содержание, стиль и композиционное построение. «Может показаться, — отмечает М. М. Бахтин, — что разнородность речевых жанров так велика, что нет и не может быть единой плоскости их изучения: ведь здесь в одной плоскости изучения оказываются такие разнороднейшие явления, как однословные бытовые реплики и многотомный художественный роман, как стандартная и обязательная даже по своей интонации военная команда и глубоко индивидуальное лирическое произведение и т. п.» [12, с. 238]. По-видимому, такой единой плоскостью для создания типологии речевых жанров может быть теория речевой коммуникации, учитывающая социальные, коммуникативные, психологические и лингвистические перспективы изучения высказывания.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тарасов Е. Ф. Место речевого общения в коммуникативном акте // Национально-культурная специфика речевого поведения. М., 1977.
2. Bach K., Harnish R. M. Linguistic communication and speech acts. The Massachusetts Institute of Technology, 1979.
3. Виноградов В. В. О поэзии Анны Ахматовой // Тр. фонетического института практического изучения языков. Л., 1925.
4. Несина Г. И. К вопросу о взаимоотношениях реплик диалога // Материалы XXII научной конференции Волгоградского пединститута. Волгоград, 1968.
5. Арутюнова Н. Д. Некоторые типы диалогических реакций и почему-реплики в русском языке // ФН. 1970. № 3.
6. Балаян А. Р. Основные коммуникативные характеристики диалога: Автореф. ... дис. канд. филол. наук. М., 1971.
7. Падучева Е. В. Прагматические аспекты связности диалога. ИАН СЛН. 1982. № 4.
8. Федорова Л. Л. О двух референтных планах диалога // ВЯ. 1983. № 5.
9. Федорова Л. Л. О смысловой структуре акта речевого взаимодействия // Тез. VII Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации. М., 1982.
10. Васильев Л. М. Семантические классы глаголов чувства, мысли и речи // Очерки по семантике русского глагола. Уфа, 1971.
11. Кобалева И. М. О границах и внутренней стратификации семантического класса глаголов речи // ВЯ. 1985. № 6.
12. Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества М., 1979.

© 1991 г.

ЛЕБЕДЕВА Л. Б.

## РЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ В ТИПОЛОГИИ ВЫСКАЗЫВАНИЙ

## 1

В референциальном плане обычно дифференцируются имена и именные сочетания в составе высказывания. С референцией самым тесным образом связано проявление семантической двойственности, присущей как раз имени: актуализация денотативного и сигнификативного аспектов значения. Но вопрос о типах референции правомерен прежде всего по отношению к высказыванию. Референция, или соотносительность с действительностью, — это функция высказывания как целого, референцией определяется возможность оценки высказывания как истинного или ложного.

В осуществлении референции имя или именное сочетание в позиции субъекта (а иногда и объекта) во многих случаях играет ведущую роль, но к референции причастны также синтаксические члены, ориентирующие высказывание в пространстве и во времени. Время и место, наряду с говорящим и адресатом, включаются в число так называемых «опорных пунктов референции» (reference-points) (см. [1, с. 221], а также [2]). Соотнесение с действительностью так или иначе определяется этими компонентами акта высказывания: говорящий и адресат выступают как носители знания об объектах действительности, соответствующих значениям референтных имен (его также называют идентифицирующим знанием [3]), позволяющим отнести имя к тому, а не иному объекту или классу объектов. Такое, например, высказывание, как *Андрей поступил в университет*, достигает своих коммуникативных целей только в том случае, если говорящий и слушающий однозначно соотносят имя *Андрей* с определенным лицом, а, скажем, *Фейхоа растет и дает плоды в теплом влажном климате* будет полностью высказыванием, если и говорящий, и адресат способны соотносить название *фейхоа* с определенным видом растений. Пространственные и временные координаты выходят на первый план в определении референции у высказываний о непредметных сущностях — событиях, положениях дел, например, *Вчера здесь столкнулись два автомобиля* или *В Калифорнии в октябре 1989 года произошло сильное землетрясение*. Именные компоненты в субъектной позиции *два автомобиля*, *землетрясение* в таких случаях входят в описательную, сообщающую часть высказывания и его референции не определяют, референция осуществляется временными и пространственными локализаторами.

Чаще всего, однако, референция в высказываниях осуществляется в первую очередь через значение субъектного именного компонента: их референт совпадает с денотатом субъектного имени или именного сочетания. Но и в этом случае для реализации референтных свойств субъекта далеко не безразличны семантические характеристики других членов высказывания, в том числе и предиката. Предикат ориентирован на денотат субъектного выражения, и эта ориентация находит отражение в со-

гласовании семантических признаков предиката с референциальными признаками субъекта. Так, например, в предикате — отчасти в лексическом значении предикатных слов, а также через значение временной формы глагола — выражаются такие референциально значимые характеристики, как временная локализованность — нелокализованность (об этих характеристиках и их связи с референтными свойствами субъекта и объекта высказывания см. [4]). Обозначенные в предикате признаки могут также предполагать локализованность или нелокализованность в пространстве. Чаще всего временной локализации сопутствует пространственная: действие или процесс происходит в определенное время и в определенном месте.

Очевидно, что вопрос о референциальной типологии высказываний не может быть сведен только к рассмотрению функционирования имен в их составе. Даже в наиболее простых по синтаксической структуре двучленных высказываниях, кроме субъекта и предиката не включающих никаких распространителей, характер референции накладывает отпечаток на семантику как субъекта, так и предиката. Не случайно одна из наиболее интересных классификаций высказываний, отражающая их референциальные характеристики (см. [5, гл. 6]), разработана для системного описания временных значений предикатов.

В настоящей статье рассматриваются в основном высказывания о скрытых объектах (предметах, людях, животных). Соотнесение с референтом в них осуществляется именем — собственным или общим. Высказывания с субъектом, выраженным общим именем или сочетанием общего имени с атрибутом, в референциальном плане неоднородны. Это именно та неоднородность, которая связана с разными возможностями употребления общих имен, с денотативно-сигнификативной двойственностью их семантики. Принадлежность высказывания к тому или иному референциальному типу, с одной стороны, определяет выбор имени для обозначения референта и, с другой — сказывается на возможности употребления определенных типов предикатов. То есть, как мы попытаемся показать, характер референции определяет целый комплекс смысловых характеристик высказывания.

## 2

При описании референциальных свойств высказываний мы различаем ряд терминов, которые иногда употребляются недифференцированно: референт, денотат, экстенционал, с одной стороны, сигнификат, интенционал — с другой. Термин референт обозначает то, с чем соотносится высказывание как целое. Соотнесение с референтом может осуществляться разными членами высказывания. Референтную функцию, как было показано выше, могут выполнять пространственные и временные локализаторы. В наиболее типичных случаях, и в частности, когда высказывание соотносится с предметными объектами, референтную функцию выполняет именовое выражение в субъектной позиции. Референтной части противостоит сообщающая, описательная или характеризующая, часть высказывания, в типичных случаях совпадающая с его предикатом.

Денотат и сигнификат — это аспекты значения имени. В общем имени они совмещены: денотат выступает как носитель признаков, выраженных в сигнификате, — но в высказывании они предстают раздельно: признаки, выраженные в предикате, приписываются носителю, обозначенному субъектным именем, они ориентированы на его денотат. В предикатном употреблении реализуется только сигнификативный ас-

пект значения. При субъектном употреблении обязательно реализуется денотат.

Общее имя выступает и как обозначение понятия. Понятие также является двусторонней сущностью, обладающей и *н т е н с и о н а л о м*, сосредоточивающим весь мысленный комплекс признаков, определяющих его содержание, и *э к с т е н с и о н а л о м*, или объемом, каким является все множество объектов, обладающих этими признаками. Экстенционал понятия выходит на внешний мир с объективно заданными отношениями между объектами, интенционал же включен в систему связей, сформировавшихся в сознании познающего мир человеческого субъекта. Сигнификат имени отражает именно интенциональные признаки, можно сказать, что он соответствует интенционалу.

Референты высказываний, о которых пойдет речь ниже, как правило, совпадают с денотатами субъектного имени или именного сочетания. Денотат субъектного имени в высказывании — это величина, подверженная варьированию, и в самом общем плане он может быть определен как то, на что ориентирован предикат высказывания. Предикат может относиться к отдельному представителю обозначенного именем класса: *Инженер окончил институт два года назад*. Он может относиться к некоторому множеству представителей этого класса, объем которого так или иначе задается в высказывании или в тексте: *На собрании инженеры поддержали предложение рабочих* (имеются в виду инженеры, принимавшие участие в собрании). Множество, к которому относится предикат, может совпадать с экстенционалом понятия, обозначенного данным общим именем: *Все инженеры имеют высшее техническое образование*. В этом случае денотат имени *инженеры* совпадает с экстенционалом понятия. Наконец, предикат высказывания может быть ориентирован на интенционал понятия: *Инженер — это профессия*. Здесь можно говорить о совпадении денотата имени с интенционалом понятия, или о слиянии денотата и сигнификата у общего имени *инженер*.

Референциальные различия между высказываниями о предметных объектах могут быть описаны как возможные варианты соотношения денотата субъектного имени с его сигнификатом. По этому признаку выделяются следующие типы высказываний.

1. **Индивидуные высказывания, или высказывания об индивидуальных объектах.** Их референт, он же денотат субъектного имени, — индивидуальный объект, имя выступает в идентифицирующей функции (см. [6, с. 12]), т. е. служит средством соотнесения данного предиката с объектом, выделенным среди всех других объектов, находящихся в поле зрения говорящего и адресата и заранее им известного. Способы идентификации индивиду известны из теории дескрипций. Идентификация может протекать и без участия сигнификата, для этой цели как раз наилучшим образом приспособлены чисто денотатные слова — имена собственные, а также указательные и личные местоимения. Индивидуальный объект обладает практически неограниченным набором признаков, как постоянных, так и ситуативных, каждый из которых может быть использован для выделения его среди других объектов. Это делает возможной его идентификацию с помощью общего имени или именного сочетания, сигнификат которых фиксирует такие признаки. При этом для успешной референции необходимо не просто соответствие общего имени характеру референта, но и фиксация в обозначении признаков, выделяющих данный объект в данной ситуации. Одно и то же общее имя в одной ситуации оказывается вполне достаточным (например, при описании урока имя *учитель* вполне

однозначно идентифицирует определенное лицо), тогда как в другой ситуации оно может оказаться несостоятельным для идентификации того же человека (ср. обозначение *учитель* при описании, например, подсвета).

В высказываниях может идти речь о нескольких индивидуальных объектах. В этом случае каждый из них может быть обозначен своим собственным именем, но возможна также референция «сокращенным способом», когда используется общее родовое имя, под которое подводится каждый из референтов, или общее реляционное имя, объединяющее референты по связывающему их отношению. Так, об одних и тех же мальчиках можно сказать: *Витя и Ваня поссорились; Мальчики поссорились; Друзья поссорились; Дети поссорились* и т. д.

Предикаты в индивидуальных высказываниях могут быть как ситуативными, т. е. локализованными в пространстве и времени (*Петр вышел из дому*), локализованными только во времени (предикаты изменения): *Петр поседел*, локализованными только в пространстве (предикаты нахождения): *Петр живет в Киеве*, так и обобщенными, т. е. не имеющими ни временной, ни пространственной локализации: *Петр честен, хорошо рисует, не любит много говорить* и т. п.

В индивидуальных высказываниях обозначение идет от референта к имени, от известного говорящего и адресату денотата к сигнификату (о двух возможных направлениях именного обозначения см. [6 с. 18]), т. е. выбор имени диктуется характером индивидуального референта и описываемой ситуации. Такое направление обозначения отличает индивидуальные высказывания от индивидуализирующих.

**2. Индивидуализирующие высказывания.** В тексте они выполняют интродуктивную функцию, т. е. вводят новый предмет обсуждения (см., [6, с. 221 и сл.], а также [7]); *Жил-был разбойник; Один купец был очень богат; Одна девочка пошла в лес за грибами*. В индивидуализирующих высказываниях денотат субъектного имени, который становится референтом последующих индивидуальных высказываний, выделяется из множества объектов, обладающих зафиксированными в сигнификате признаками, т. е. из множества, которое соответствует экстенционалу выраженного именем понятия. Обозначение, таким образом, идет от сигнификата к денотату, от имени к объекту.

Для индивидуализирующих, или интродуктивных высказываний, как известно, наиболее типичны экзистенциальные предикаты, роль которых практически целиком сводится к выделению денотата в составе множества, обладающего известными участникам коммуникации свойствами. Экзистенциальные предикаты также открывают позиции для пространственных и временных локализаторов, служащих дополнительными ориентирами при индивидуализации референта, ср.: *Немного лет тому назад, там, где, сливаясь, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь* (Лермонтов). Индивидуализация возможна и в высказываниях с другими предикатами, сообщающими некоторую информацию о референте. Индивидуализирующую функцию в русском языке выполняет кванторное местоимение *один*, наличие которого перед субъектным именем придает высказыванию совершенно особый референциальный статус. Такие высказывания, как и высказывания с экзистенциальными предикатами, собственно говоря, не являются высказываниями в полном смысле слова. Когда движение идет от сигнификата общего имени к индивидуальному денотату, субъектное имя не до конца определяет референцию. Индивидуализирующие высказывания референтно неполноценны. Эта неполноценность проявляется в невозможности

быть оцененными по параметру истинности — ложности. Референтное высказывание, если оно ложно, может быть опровергнуто через отрицание его предиката. Индивидуализирующие высказывания, если только они не содержат конкретных временных и пространственных указаний, таким образом не могут быть фальсифицированы. *Один купец не был богат* или *Одна девочка не ходила в лес* не являются опровержениями соответствующих утвердительных высказываний. Единственный мыслимый способ опровержения подобных высказываний — через отрицание совместимости признаков субъекта с признаками предиката, действенный для заведомо нерелективных высказываний, как, например, *Одна девочка пошла в лес на охоту. — Неправда, девочки на охоту не ходят*, — здесь, очевидно, исключен.

Референтная недостаточность, видимо, определяет общую информативную недостаточность таких предложений. Они образуют законченное информативное целое только в сочетании с последующими индивидуальными высказываниями.

**3. Высказывания о ситуативных множествах.** Референтами таких высказываний являются множества неиндивидуализированных объектов, объединенных в рамках какой-либо ситуации, множества, локализованные во времени и в пространстве. Такие референты обозначаются общими именами. Сигнификат общего имени в этом случае не определяет объема множества, выступающего как его денотат. Объем денотата определяется ситуацией, описание которой, как правило, дается в предшествующем тексте, так что во многих случаях высказывания о ситуативных множествах нельзя считать полностью самостоятельными в референциальном плане.

Сигнификаты имен, осуществляющих референцию к ситуативному множеству, часто содержат минимальное количество различных признаков, что позволяет подвести под них порой самые разнородные объекты: *Все в е щ и при пожаре сгорели*. Когда речь идет о множествах людей, весьма часто используются имена, обозначающие лицо по его роли в данной ситуации: *Спектакль окончился. З р и т е л и долго аплодировали актерам; Поезд резко остановился. Все п а с с а ж и р ы вскочили с мест*.

В высказываниях о ситуативных множествах употребляются ситуативные предикаты.

Субъектное имя в высказываниях этого типа может быть употреблено с квантором (*все, некоторые*) и без квантора. Наличие или отсутствие квантора соответствует двум разным способам представления множества. Существительное без квантора представляет множество как единое целое, как некий недискретный компонент ситуации: *Учитель вошел в класс. Ученики встали*. Предикат (в этом примере *встали*) дает субъекту глобальную характеристику, исключается всякая возможность проявления его элементами присущих только им свойств. Существительное с квантором, наоборот, представляет множество как совокупность дискретных объектов. Такое обозначение предполагает возможность различия в признаках или поведении составляющих его элементов. Если такое различие фиксируется, существительное употребляется с квантором: *Вошел учитель. Некоторые ученики встали, а некоторые остались сидеть* или *Все ученики встали, а один ученик не встал*. Невозможно: \**Ученики встали, а один ученик не встал*. Сходный с кванторами дезинтегрирующий эффект дает также употребление некоторых предикатов, констатирующих различия внутри множества, ср.: *Выступившие на собрании выразили р а з н ы е точки зрения по обсуждаемому вопросу*.

4. **Высказывания о стабильных множествах.** Стабильные множества образуют неиндивидуализированные объекты, связанные с отдельным индивидуальным объектом одним из типов отношений, которые в обобщенном виде можно представить как отношения принадлежности. Эти отношения разнородны и включают отношения собственности к владельцу (*собаки Ноздрева*), части к целому (*страницы журнала*), произведения к автору (*картины Рафаэля*), разные типы отношений, объединяющих людей вокруг одного человека или в составе организации (*пациенты доктора Петрова*; *дети Иванова*; *последователи Дарвина*; *рабочие ЗИЛа* и т. п.). Такие множества обозначаются сочетанием общего имени, сигнификат которого уточняет признаки объектов, составляющих множество, с именем, осуществляющим индивидуальную референцию в позиции атрибута. Первое имя определяет состав множества. В этой функции могут употребляться названия различных классов предметов, которые выступают как объекты владения (*поля маркиза Карабаса*; *крестьяне маркиза Карабаса*; *лошадь маркиза Карабаса*). Вместе с тем можно выделить семантические типы имен, наиболее предрасположенных к обозначению множеств такого рода, это имена, включающие реляционный семантический компонент, значения которых получают окончательную определенность лишь в сочетании с именем, обозначающим вторую сторону отношения: *произведения Шостаковича* (*Шостаковича*); *последователи Дарвина* (*Дарвина*); *друзья Иванова* (*Иванова*); *члены кружка*; *главы романа* и т. п. Значения таких слов чаще всего включают минимум дифференциальных признаков. Наряду с ними выделяется ряд слов с достаточно дифференцированными значениями, в которых реляционный компонент присутствует латентно. Таковы, например, обозначения частей, выполняющих вполне определенную функцию в составе целого объекта: *листья дерева* (*дерева*, *кустарника*); *колеса автомобиля*, *вагона*; названия различных видов авторских произведений: *романы Достоевского*; *скульптуры Родена*; *портреты Рембрандта* и т. п. Такие имена регулярно используются как для обозначения соответствующих объектов без отсылки к имени целого или имени автора, так и для обозначения компонентов соответствующих стабильных множеств.

Функция второго имени, осуществляющего индивидуальную референцию, в таких сочетаниях неоднозначна. Для некоторых типов отношений, формирующих множество, — например, отношения владельца к собственности — индивидуальное имя скорее определяет множество по чисто внешнему признаку: оно задает его границы и служит средством идентификации его членов. Другие типы отношений, объединяющих объекты во множество вокруг индивидуального объекта — отношения авторства, духовного наставничества или принадлежности к социально значимой группе или организации — предполагают наличие у членов множества особых признаков, объединяющих их в особый, качественно отличный от других, класс: *картины Леонардо*; *последователи Толстого*; *воспитанницы Смольного института*. На основе индивидуальных имен, обозначающих членов таких множеств, могут создаваться общие имена, производные от собственных, ср.: *толстовцы*, *смолянки*. Сочетания, обозначающие подобные множества, способны функционировать не только в качестве субъектов в высказываниях о стабильных множествах, но и в качестве субъектов в интенциональных высказываниях о классах, о которых речь пойдет ниже.

В высказываниях о стабильных множествах используются предикаты с временной или пространственной локализацией, а также ситуативные

предикаты, совмещающие временную и пространственную локализацию, ср.: *Книги этого писателя сейчас являются библиографической редкостью; Картины Леонардо да Винчи хранятся в лучших музеях мира: Лувер, Эрмитаже, Вашингтонской галерее; Все стулья мадам Петуховой были распроданы с аукциона.*

5. **Экстенциональные высказывания** — это высказывания о множествах объектов, определяемых по отношению к экстенционалу понятия, выраженного субъектным именем или именным сочетанием. Экстенциональные множества — это дискретные множества, их члены могут быть охарактеризованы по целому ряду признаков, как объединяющих их, так и отличающих от других членов в рамках, заданных сигнификатом именного обозначения. Существительные, обозначающие экстенциональные множества, употребляются с кванторами. Семантические характеристики имени при этом безразличны. Для обозначения экстенционального множества не используются существительные с предельно недифференцированными значениями — *вещь, предмет*. Свободнее всего употребляются существительные с сигнификатами, отражающими пространственные признаки, которые определяют их место в таксономических группировках: *люди, животные, дети, взрослые люди, старики, русские люди* и т. п. Множества, обозначенные такими именами, могут характеризоваться по самым разным аспектам. На семантику предикатов накладывается одно существенное ограничение: они не локализируются ни во времени, ни в пространстве.

Гораздо реже в субъектной функции используются обозначения лиц по их роли в различных ситуациях. Выбор предикатов в этом случае не свободен, они обязательно должны отражать те или иные признаки типовых ситуаций: *Все зрители любили счастливые развязки* (но не \**Все зрители клобят хорошо поест*); *Некоторые зрители не уходят из зала, пока не погасят все огни* (но не \**Некоторые зрители не уходят из дому, пока не выключат все электроприборы*). С ограничением также используются существительные, значения которых содержат реляционный компонент, с ними употребляются только реляционные предикаты, определяющие характер отношения со вторым партнером: *Все произведения так или иначе отражают индивидуальность своих авторов; Некоторые ученики превосходят своих учителей*. Чисто реляционные имена, обозначающие объекты по связывающему их отношению (*братья, коллеги*), в роли субъекта экстенционального высказывания невозможны. Высказывания типа *Все братья чтут семейные традиции* могут соотноситься только с группой индивидуальных референтов. Нетипично для экстенциональных высказываний также употребление сочетаний, используемых для обозначения стабильных множеств, даже если соотнесенность с определенным объектом может рассматриваться как качественный признак, выделяющий объекты в самостоятельный предметный класс. Кванторы при таких сочетаниях (например, *все картины Леонардо или некоторые скульптуры Родена*) появляются в основном в высказываниях о стабильных множествах и естественнее согласуются с предикатами, предполагающими пространственную и временную локализацию, чем с обобщенными предикатами.

6. **Интенциональные высказывания**. Их референты лежат в области человеческого сознания и соответствуют содержательной стороне понятий человека о внешнем мире. Предикаты ориентированы на сигнификаты представляющих эти понятия общих имен, т. е. можно говорить, что денотат имени совпадает с сигнификатом.

Референтами интенциональных высказываний могут быть понятия об отвлеченных признаках: качествах, действиях, состояниях, — обознача-

емые безденотатными словами, такими, как абстрактные существительные или инфинитивы глаголов (*Красота не вечна; Курить вредно*). Высказывания с отвлеченными, чисто признаковыми референтами проявляют практически все особенности, присущие интенциональным высказываниям как особому референциальному типу. Однако внимание логиков и лингвистов привлекают в первую очередь интенциональные высказывания о предметных объектах, составляющие основную часть так называемых генерических, или родовых, высказываний (иногда, наряду с интенциональными к генерическим относят также высказывания об индивидуальных объектах с обобщающими предикатами). Это, по-видимому, объясняется тем, что интенциональные высказывания о предметных объектах ярче обнаруживают свою специфику при сравнении с другими референциальными типами высказываний, которые делаются о предметных объектах, — и прежде всего индивидуальными и экстенциональными, — тогда как об отвлеченных признаках высказывания других референциальных типов невозможны.

Основные отличия генерических высказываний от экстенциональных и индивидуальных прослеживаются по двум аспектам: с одной стороны, они имеют в качестве референта особые сущности — роды (kinds) (см. [8]), и, с другой стороны, они содержат предикаты, отражающие типичные, сущностные, закономерные свойства субъектов (см., например [8—10]). В отличие от понятий об отвлеченных признаках признаки, составляющие содержание понятий о предметных объектах, соответствующих генерическим субъектам, и прежде всего понятий о так называемых естественных родах, невысказуемы в отрыве от их носителей и, в принципе, не разложимы на сумму элементарных дескрипций, т. е. не поддаются исчерпывающему определению. В этом случае референт может ассоциироваться с образом объекта — именно так предмет генерических высказываний трактует А. Вежбицка [5, с. 193]. Определяя статус родовых именных групп, которым соответствуют субъекты генерических высказываний, Е. В. Падучева пишет об их соотносительности с типичным, эталонным представителем класса [11, с. 97], но подобные эталоны и типы могут, видимо, существовать только в сознании как обобщенный образ реального представителя рода. Генерические референты независимо от того, в какой форме они представляются, как и все интенциональные единицы, оказываются включенными в сеть отношений, организующих понятия в системах; ср.: *Кролик — животное; Красота — свойство; Квадрат — геометрическая фигура*.

Вторая существенная особенность интенциональных высказываний — характер предиката, или, скорее, характер связи между субъектом и предикатом — обусловлена спецификой референта, принадлежащего к системе понятий, организующих представления человека о мире. Эти связи, которые мы называем интенциональными, неоднородны. Интенциональные высказывания могут выражать отношения в самой системе понятий: отношения включения, сходства, различия, противоположности (*Кит — млекопитающее; Глухим согласным противостоят звонкие*, ср. также: *Интеллект делает различие между возможным и невозможным, а разум — между вещами разумными и неразумными*). В форме интенциональных высказываний также выражаются и связи имплицативного типа между объектами определенного рода и их признаками, или между самими объектами, или между признаками объектов, осознаваемые как необходимые, закономерные, типичные (эти категории — необходимость, закономерность, типичность — принадлежат системе знаний о мире), ср.: *Девочки любят играть в куклы; Кислота нейтрализует щелочь; Равноду-*

шие порождает жестокость. Отрицательные предикаты, напротив, констатируют несовместимость признаков предиката с субъектом: *Девочки на охоту не ходят*. Признаки, закономерно связываемые с понятием о том или ином классе, могут также предцироваться и отдельным представителем этого класса. Это значит, что в интенциональных высказываниях могут использоваться те же предикаты, что и в экстенциональных и в индивидуальных высказываниях (от соответствующих экстенциональных интенциональных высказывания в этом случае отличается отсутствие квантора при субъектном имени), ср.: *Дети любят сладкое; Все дети любят сладкое и Витя любит сладкое*. Отличие интенциональных высказываний в том, что связь между субъектом и предикатом в них лежит в другой плоскости: если в индивидуальных и экстенциональных высказываниях это связь между действительным, материальным миром и миром сознания («Субъект принадлежит миру, а предикат мышлению о мире» [6, с. 370]), то в интенциональных и субъект и предикат принадлежит миру сознания. Эта особенность интенциональных высказываний — принадлежность субъекта и предиката одному плану — отражена в семантическом представлении, предложенном А. Вежбицкой. Она вводит в семантическую интерпретацию генерических предложений компонент *imagine* «представлять», при этом и субъект, и предикат таких предложений попадают в сферу действия этого оператора.

Само по себе наличие интенциональной связи не является особенностью исключительно интенциональных высказываний — они могут задействоваться также в индивидуальных высказываниях (см. [12]). Так, например, они учитываются при выборе идентифицирующего обозначения: *Именинника тепло поздравили*. Наличие интенциональной связи между субъектом и предикатом безразлично для смысла индивидуального высказывания, в частности, оно способно подключать к нему в качестве пресуппозиции соответствующее интенциональное высказывание; так, для высказываний *Именинника тепло поздравили* или *Именинника никто не позддравил* пресуппозицией служит высказывание *Именинников поздравляют*. В таких случаях индивидуальные высказывания получают дополнительный содержательный параметр: выраженное в них сообщение оценивается на фоне интенционального высказывания, служащего пресуппозицией. В некоторых типах контекстов, так называемых интенциональных, или модальных, такая связь между сигнификатом субъектного имени с индивидуальной референцией и предикатом способна определить содержание высказывания без выхода на сам индивидуальный объект, имя индивидуального реобъекта становится референтно непрозрачным (см. [13], а также [1, с. 109]). В высказываниях, не выделяющих в мире индивидуальный объект в качестве референта, наличие интенциональной связи определяет принадлежность к особому референтальному типу — интенциональному.

Интенциональные связи обладают объяснительной силой, и это проявляется в функциях, которые высказывания этого типа выполняют в тексте. В наиболее типичных случаях интенциональные высказывания мотивируют вывод о свойствах объекта, которые не даны в непосредственном опыте, они опосредуют выводное знание: ... *Павел Петрович понял: давно уж он стал не кем иным, как исполнителем, а исполнитель может быть плох, может быть хорош, но он не способен подняться над тем, что порождено временем* (И. Герасимов). Интенциональные высказывания так же могут использоваться для опровержения некоторых эмпирически не верифицируемых высказываний об индивидуальных референтах на основании анализа их смысла (*Неправда, девочки на охоту не ходят*).

Спектр семантических типов субъектов и семантических типов предикатов, возможных в интенциональных высказываниях, значительно шире, чем в экстенциональных высказываниях, также имеющих в качестве референта одну из сторон понятия. И вместе с тем во многих случаях высказывания этих двух типов, когда они делаются о предметных объектах, по форме практически полностью совпадают, единственное формальное различие — это наличие или отсутствие квантора при субъектном имени. Содержательные различия между экстенциональными высказываниями с квантором всеобщности и интенциональными высказываниями (*Все люди смертны* и *Люди смертны* или *Человек смертен*) далеко не очевидны и иногда вообще не принимаются во внимание. З. Вендлер, например, считает бескванторные именные выражения в общих высказываниях одним из вариантов выражения значения всеобщности в естественном языке [14]. Но присутствие или отсутствие квантора многими воспринимается как сигнал семантических различий. Они, в частности, проявляются в той области, которую Ч. Филдмор [15] называет «внешней семантикой» — различаются условия истинности (см. [5, с. 94; 11, с. 98], а также [16]). Они затрагивают и область коммуникативной организации высказывания: в предложениях с кванторами и без кванторов по-разному распределяются элементы данного и нового (см. [17]). Хотелось бы обратить внимание и на некоторые другие аспекты различия между всеобщими экстенциональными и интенциональными высказываниями, которые, на наш взгляд, последовательно объясняются именно различиями в характере их референтов.

В экстенциональных высказываниях мы имеем дело с множеством индивидуализированных материальных объектов, которые являются носителями признаков, соответствующих сигнификату имени. В интенциональных высказываниях включенные в сигнификат признаки образуют единичный референт идеального плана, каким является интенциональная единица<sup>1</sup>. В том идеальном, понятийном мире, где он существует, такой интенциональный объект индивидуализирован и идентифицирован через свое имя. Различие между интенциональными высказываниями и экстенциональными высказываниями, относящимися к одному и тому же классу объектов, — это, кроме всего прочего, различие между единичным референтом и референтом-множеством. Оно, в частности, находит проявление в возможности использования в экстенциональных высказываниях предикатов, определяющих отношения внутри множества, ср.: *Все грудные дети одинаковы* или *Все люди братья*. В интенциональных высказываниях такие предикаты либо невозможны, либо предполагают другой способ представления отношения: *Человек человеку брат* (кстати, гораздо более гибкий способ, позволяющий выразить невозможное для экстенционального высказывания суждение *Человек человеку волк*).

Интенциональные высказывания, оперирующие единичными референтами, создают условия для более свободного употребления в референтной функции тех типов имен, использование которых в экстенциональных высказываниях затруднено. Так, интенциональный тип референции осуществляют имена с чисто реляционным значением: *братья, друзья, враги*

<sup>1</sup> Интенциональные единицы также способны образовывать референтные множества, и квантор при общем имени может быть ориентирован на множество интенциональных объектов, ср.: *Некоторые моллюски (т. е. виды моллюсков) употребляются в пищу*. Наличие кванторного слова само по себе не определяет референциальный тип высказывания. Все зависит от того, в каком плане, материальном или идеальном, лежит его референт.

и т. п. Семантика таких имен хорошо согласуется с обозначением закрытых множеств: множества индивидуальных референтов или — в сочетании с индивидуальным именем — стабильного множества, и это входит в противоречие с открытым характером множества, выступающего как референт экстенционального высказывания. В интенциональных высказываниях это противоречие снимается, в них возможно выражение закономерных признаков, проявляющихся в любых группах объектов, связанных определенным отношением, ср.: *Нелицеприятно судят наше творчество настоящие друзья и настоящие враги* (В. Конечский).

Нужно отметить, что преимущественно в интенциональных высказываниях употребляются и реляционные предикаты, представляющие как закономерные отношения, которые складываются между объектами, принадлежащими к различным классам, в отдельных конкретных ситуациях, например: *Птенцов гусей высиживают по очереди — то самка, то самец* (Куприн), но не *\*Всех птенцов высиживают по очереди — то самцы, то самки* и не *\*Птенцов высиживают по очереди — то все самки, то все самцы*. В интенциональных высказываниях с реляционными предикатами могут референтно употребляться имена с категориальными, предельно недифференцированными значениями (например, *вещи*), а также метаимена (например, *профессия*) (о метаименах см. [18]), не употребляющиеся для обозначения экстенциональных референтов ср.: *Вещи переделывают человека* (В. Шкловский) при невозможности *\*Все вещи переделывают человека* или *\*Некоторые вещи переделывают человека*, а также: *Профессии определяют людей* (В. Коротич).

В интенциональных высказываниях в субъектной функции возможны сочетания, используемые для обозначения стабильных множеств, например: *Картины Боттичелли отличает необыкновенная плавность линий*. Собственные имена, соотносящиеся с индивидуальными референтами, здесь приобретают признаковое значение; так, имя автора ассоциируется с особенностями его стиля, имя наставника — с принципами его учения.

В целом высказывания с интенциональной референцией характеризует гораздо большая по сравнению с экстенциональными высказываниями гибкость в передаче сочетаний разных признаков. Это можно объяснить большей простотой единичного референта-интенционала по сравнению с референтом-экстенционалом, представляющим собой множество.

### 3

Все описанные выше типы референтов, определяющие глобальные семантические характеристики высказываний, можно представить через сочетание нескольких ключевых для референции признаков.}

Прежде всего, это способ соотношения с действительностью. Высказывание может осуществлять референцию либо с помощью чисто семантических средств — через посредство значений, закрепленных за словами и грамматическими формами в языке, либо для этого используются внесемантические механизмы, и тогда мы имеем дело с референцией в более специализированном значении этого термина — с референцией-указанием. Первое наблюдается в интенциональных и экстенциональных высказываниях, которые мы объединяем под названием «общие», — они соответствуют общим суждениям в логике. Обращение к дополнительным внесемантическим средствам — это признак индивидуальных высказываний, высказываний о ситуативных и стабильных множествах. Здесь в осуществление референции вовлекаются факторы, связанные с информированностью

говорящего и адресата и другими характеристиками и коммуникативной ситуацией, позволяющими ее участникам однозначно соотносить языковые выражения с определенным объектом или ситуацией. Эти высказывания мы относим к конкретным. Референтная недостаточность индивидуализирующих высказываний — результат того, что для отнесения к индивидуальному референту, который не может быть опознан без дополнительной информации, используется только информация, основанная на знании языковых значений.

Второе противопоставление, определяющее тип референции, — это противопоставление между единичным индивидуальным объектом (возможна и референция к нескольким таким объектам) и множеством неиндивидуализированных объектов. В этом плане индивидуальным и интенциональным высказываниям, с одной стороны, противостоят высказывания о ситуативных и стабильных множествах и экстенциональные высказывания, с другой. Особенность высказываний о неиндивидуализированных множествах в том, что субъектное общее имя в них само по себе полностью референцию не определяет. Признаки, содержащиеся в его сигнификате, определяют качественный состав референтного множества, а его границы очерчиваются в каждом типе высказываний по-разному. В высказываниях о ситуативных множествах они задаются рамками ситуации, идентифицированной по временным и пространственным координатам. В тексте высказыванию о ситуативном множестве обычно предшествует описание ситуации. В высказываниях о стабильных множествах их границы определяются связью с известным говорящему и адресату индивидуальным объектом, обозначение которого входит в состав референтного именного выражения. В экстенциональных высказываниях объем референтного множества определяется по отношению к экстенсионалу понятия, и здесь в роли компонента, уточняющего референцию, выступают кванторные слова, отражающие количественное соотношение элементов внутри множества: *все, некоторые, многие, большинство, немногие, редкие, меньшинство*.

По второму признаку, определяющему тип референции, индивидуальные высказывания сближаются с интенциональными, и это сближение закономерно. Индивидуальные и интенциональные высказывания обнаруживают и другие сопоставимые свойства. В обоих типах высказываний возможно употребление широкого круга имен в субъектной позиции, очень широк также диапазон предикатов, возможных в каждом из этих двух типов высказываний. При частичном совпадении возможных семантических типов субъектов и предикатов между ними, в индивидуальных и интенциональных высказываниях в то же время обнаруживаются существенные расхождения. Некоторые из них объясняются спецификой общей референции, не допускающей употребления в высказывании предикатов с пространственной и временной локализацией. Вместе с тем существуют типы имен и предикатов, ориентированные исключительно на индивидуальную или интенциональную референцию. Это собственные имена, употребляющиеся только для обозначения индивидуальных референтов, и абстрактные имена, которые Дж. Ст. Милль назвал собственными именами качеств, способные обозначать только интенциональные референты [19]. Только в интенциональных высказываниях возможны предикаты понятийных отношений. Такой однозначной связи между семантическим типом имени или предиката и характером референции не обнаруживает ни один другой референтный тип. Кроме того, нужно отметить, что из всех референтальных типов высказываний индивидуальные и интенциональные наиболее распространены.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Allwood J., Anderson L. S., Dahl Ö.* Logic in linguistics, Cambridge, 1977.
2. *Скотт Д.* Советы по модальной логике // Семантика модальных и интенциональных логик. М., 1981. С. 288—289.
3. *Стросон П. Ф.* Идентифицирующая референция и истинностное значение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIII: Логика и лингвистика. М., 1982. С. 111—112.
4. *Буагзина Т. В.* К построению типологии предикатов в русском языке // Семантические типы предикатов. М., 1982.
5. *Wierzbicka A.* *Lingua mentalis. The semantics of natural languages.* Sydney, 1980.
6. *Арутюнова Н. Д.* Предложение и его смысл. М., 1976.
7. *Арутюнова Н. Д.* Номинация и текст // Языковая номинация. Виды наименований. М., 1977. С. 308—311.
8. *Carlson G. N.* Generics and atemporal *when* // *Linguistics and philosophy.* 1979. V. 3. № 1.
9. *Dahl Ö.* On generics // *Formal semantics of natural languages.* Cambridge, 1975.
10. *Galmiche M.* Phrases, syntagmes et articles génériques // *Langages,* 1985. № 85.
11. *Падучева Е. В.* Высказывание и его соотносительность с действительностью. М., 1985.
12. *Арутюнова Н. Д.* Лингвистические проблемы референции // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIII: Логика и лингвистика. М., 1982. С. 29.
13. *Квайн У. О.* Референция и модальность // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIII: Логика и лингвистика. М., 1982.
14. *Vendler Z.* All and every, any and each // *Vendler Z. Linguistics in philosophy.* N. Y., 1967. P. 70.
15. *Филлмор Ч.* Дело о надежде открывается вновь // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X: Лингвистическая семантика. М., 1981. С. 497.
16. *Carlson G. N.* Generic terms and generic sentences // *Journal of philosophical logic.* 1982. V. 11. № 2.
17. *Чейф В. Л.* Значение и структура языка. М., 1975. С. 260—262.
18. *Степанов Ю. С.* Имена. Предикаты. Предложения. М., 1981. С. 95—96.
19. *Mill C. St.* Of names // *Theory of meaning.* Prentice Hall, \*1970. P. 55.

© 1991 г.

СКЛЯРЕНКО В. Г.

## К ИСТОРИИ СЛАВЯНСКОЙ ПОДВИЖНОЙ АКЦЕНТНОЙ ПАРАДИГМЫ

Вопрос о происхождении славянской подвижной акцентной парадигмы (далее — а. п.) давно привлекает внимание исследователей. Одна из первых попыток решения этого вопроса принадлежит Г. Хирту, который связывал славянскую подвижную а. п. с и.-е. баритонированной а. п. (славянскую окситонированную а. п. он отождествлял с и.-е. окситонированной а. п.) [1, с. 44—48]. Идею Г. Хирта о соответствии славянской подвижной а. п. и.-е. баритонированной а. п. приняли многие исследователи, являющиеся в основном представителями классической акцентологии. Возникновение подвижности ударения в славянском языке часто обычно объясняют действием закона Фортунатова — де Соссюра, согласно которому ударение с циркумфлектированного, или краткостного, слога передвигалось на следующий слог, если он был акутированным, ср. им. п. ед. ч. \**zimā* (<\**zima*) при ви. п. ед. ч. \**zimr*. Однако не все представители классической акцентологии связывали возникновение подвижности ударения в славянском языке с действием закона Фортунатова — де Соссюра. В частности, А. Мейе, одним из первых указав на тождество славянского подвижного акцентного класса с балтийским, считает балтийское и славянское передвижение ударения (между началом и концом слова) отражением и.-е. подвижности тона между началом и концом слова [2, с. 72—75; 3]. При этом он полагает, что в и.-е. языке было не две акцентные парадигмы (баритонированная и окситонированная, или подвижно-окситонированная, как свидетельствуют древнеиндийский, древнегреческий и германский языки, а три акцентные парадигмы (баритонированная, окситонированная и подвижная), как свидетельствует славянский язык [2, с. 74]. По мнению А. Мейе в славянский подвижный класс входят не только имена с и.-е. подвижной а. п., но также и.-е. баритонированные имена с краткостным корнем (последние получили подвижную а. п. в связи с тем, что у них появились окситонированные формы в результате передвижения ударения по закону Фортунатова — де Соссюра [2, с. 73]).

Ф. Седлачек вместо закона Фортунатова — де Соссюра выдвинул перевернутый закон (если флексия имела циркумфлексовое ударение, то в балто-славянском языке оно перешло на начальный слог слова, который в результате этого получил тоже циркумфлексовую интонацию) и считает балто-славянскую подвижность ударения отражением и.-е. окситонезы [4]. Из и.-е. окситонезы выводит подвижность ударения в литовском языке и Ф. де Соссюр. По его мнению, указанная трансформация произошла сначала в окситонированных консонантных основах в результате перемещения ударения с внутреннего слога на начальный слог (конечное ударение при этом оставалось на своем месте), ср. ви. п. ед. ч. *dūkerī* (<\**dūktērīn*), но им. п. ед. ч. *dūktē*. Под влиянием консонантных основ подвиж-

ность ударения распространилась на другие (вокалические) окситонированные основы [5].

Е. Курилович тоже считает, что в балто-славянском языке ударение с внутреннего краткостного слога консонантных окситонированных основ оттягивалось на начальный слог [6, с. 169—173], но согласно его концепции, славянские имена с подвижной а. п. отражают и.-е. баритонированные и окситонированные образования с краткостным корнем (славянские имена с баритонированной а. п. отражают и.-е. баритонированные и окситонированные образования с долготным корнем, а славянский окситонированный класс возник из мотивированных в балто-славянском языке имен, изменивших в литовском языке окситонированную а. п. на подвижную) [6, с. 173—200, 300—301]. Проведенное В. М. Иллич-Свитычем сопоставление славянских данных с и.-е. (древнеиндийский, древнегреческий, германский и балтийский языки) не подтвердило концепцию Е. Куриловича, в том числе и его вывод о совпадении и.-е. баритонированной и окситонированной а. п. имен с краткостным корнем в славянской подвижной а. п. В. М. Иллич-Свитыч убедительно доказал, что славянским именам с подвижной а. п. соответствуют и.-е. имена с окситонированной, или подвижно-окситонированной а. п. (славянские баритонированные имена соответствуют и.-е. баритонированным именам с долготным корнем, а славянские окситонированные имена — и.-е. баритонированным именам с краткостным корнем) [7, с. 157]. Х. Станг также критически отнесся к концепции Е. Куриловича, которая явно находится в противоречии с фактами славянского языка [8, с. 306]. По мнению Х. Станга, балто-славянская маргинальная подвижность ударения развилась из и.-е. маргинальной подвижности ударения, следы которой прослеживаются в древнеиндийском и в древнегреческом языках [9, с. 174—175; 8, с. 134, 304—306]. После работ Х. Станга балто-славянскую подвижность ударения принято рассматривать как рефлекс и.-е. морфологической подвижности ударения (см. [10, с. 6—7])<sup>1</sup>.

Положение о том, что балто-славянская подвижная а. п. соответствует и.-е. подвижной а. п., является, на наш взгляд, надежным и убедительным. Но важно не столько указать на и.-е. акцентную парадигму, из которой развились славянская и балтийская подвижные а. п., сколько осмыслить сам процесс развития и.-е. подвижной а. п. на почве балто-славянского, славянского и балтийского языков. Это тем более сложно осуществить, что об и.-е. подвижной акцентной парадигме известны с очень мало, и более полная реконструкция этой парадигмы для имен и глаголов возможна лишь в результате осмысления соответствующего материала славянских и балтийских языков.

Балто-славянские акцентные парадигмы тесно связаны с интонациями, в связи с чем при решении вопроса о происхождении и развитии балто-славянских акцентных парадигм большое внимание мы уделяем природе (и изменениям в природе) интонаций. Балто-славянская акутовая интонация реконструируется нами как восходяще-нисходящая. На первой интонированной мере долгого гласного происходило повышение тона, на второй — понижение тона. В протославянских говорах при акутовой интонации тоническая и динамическая вершины находились в начале второй меры, в протолитовских говорах — в конце первой меры<sup>2</sup>. Именно из-за

<sup>1</sup> В. М. Иллич-Свитыч тоже допускает, что подвижность ударения в балтийском и славянском отражает архаизм, устаревший в древнеиндийском и древнегреческом [7, с. 162].

<sup>2</sup> Подробнее о природе балто-славянской акутовой интонации см. [11, с. 63].

своей двухкомпонентности (повышение тона — понижение тона) акутовая интонация, не выходя за пределы одного слога, могла находиться только на долгом гласном (на отдельном долгом гласном или на долгом гласном, являвшемся первым элементом долгого дифтонгического сочетания). Однако балто-славянская восходяще-нисходящая интонация могла охватывать и две моры соседних слогов. Это имело место в тех случаях, когда повышение тона приходилось на краткостный слог, т. е. на слог с кратким гласным или с кратким дифтонгическим сочетанием (мы считаем, что в балто-славянском языке количество дифтонгического сочетания состояло только из количества слогового элемента)<sup>3</sup>. В таких случаях понижение тона происходило уже на следующем слоге (при долготности следующего слога — на первой море долгого гласного). Восходяще-нисходящую интонацию, охватывающую две моры соседних слогов, будем называть двуслоговой восходяще-нисходящей интонацией, а восходяще-нисходящую интонацию, охватывающую две моры одного и того же слога, — однослововой восходяще-нисходящей (или акутовой) интонацией.

В протославянских говорах и баритонированная, и окситонированная а. п. были связаны с восходяще-нисходящей интонацией: баритонированная а. п. — с однослововой или двуслоговой восходяще-нисходящей интонацией (второй интонированный слог являлся корневым или суффиксальным), окситонированная а. п. — только с двуслоговой восходяще-нисходящей интонацией (второй интонированный слог содержал в себе тематический гласный).

В отличие от праславянских баритонированной и окситонированной а. п., первая из которых была свойственна в основном словам с долготным корнем (точнее, с долготным подударным слогом корня), а вторая — лишь словам с краткостным корнем (точнее, с краткостным предударным слогом корня), праславянскую подвижную а. п. имели слова как с долготным, так и с краткостным корнем (точнее, как с долготным, так и с краткостным начальным слогом) (см. [10, с. 3—6; 7, с. 157]). Подвижность ударения в праславянском (и в балто-славянском) языке заключалась в чередовании акцента между крайними слогами форм слова [9, с. 174; 12, с. 30; 13], а точнее, между крайними морями форм слова [14, с. 55, 56]. Формы с ударением на первом слоге будем называть баритонированными, а формы с ударением на конечном слоге — окситонированными. Имеются основания считать, что первоначально (в балто-славянском языке) в именах с подвижной а. п. баритонированными были формы дательного и винительного падежей (единственного, множественного и двойственного числа), а окситонированными — формы именительного, родительного, творительного и местного падежей (единственного, множественного и двойственного числа) [14, с. 50—55]. По мнению Е. Куриловича, первоначально «сильными» (ударяемыми на первой море) были формы винительного падежа (и, возможно, дательного) единственного числа, а также именительного и винительного падежей множественного и двойственного числа [15, с. 46—47]. Акцентные чередования (акцентные оппозиции) в балто-славянском языке выполняли грамматическую функцию. Используясь как средство грамматического противопоставления, они являлись дополнением к морфологической системе [16]. Со временем акцентные оппозиции форм слова утратили свое первоначальное (морфологическое) значение, что послужило причиной выравнивания акцентуации различных форм одного и того же слова.

<sup>3</sup> Подробнее об этом см. [11, с. 63—64].

Характерным признаком праславянской подвижной а. п. является циркумфлекс в баритонированных формах. А. Мейе считает, что в праславянском языке в баритонированных формах имен подвижной а. п. при исконной долготности начального слога изначально имела место акутовая интонация, которая была заменена циркумфлексовой под влиянием имен подвижной а. п. с первичной циркумфлексовой интонацией [17]. Указанное положение А. Мейе (так называемое правило А. Мейе, или закон Мейе), принимаемое многими исследователями (см., например [18, с. 192—197]), не может, однако, объяснить аналогичных фактов глагола. Как отмечает В. А. Дыбо, такое выравнивание интонаций, какое А. Мейе предполагает для имен, в глаголе было совершенно исключено [12, с. 5]. В связи с этим происхождение циркумфлексовой интонации на исконно долготном начальном слоге в баритонированных формах слов с подвижной а. п. мы склонны объяснить по-другому. На наш взгляд, циркумфлексовая интонация в указанных формах является по своему происхождению акутовой (восходяще-нисходящей) интонацией, видоизмененной в протославянских говорах в связи с тем, что в баритонированных формах слов с подвижной а. п. ударяемой должна быть начальная мора (в соответствии с балтославянским принципом акцентного чередования между крайними морями форм слова): на начальную мору словоформы приходился второй компонент акутовой интонации — понижение тона с тонической и динамической вершинами, а повышение тона (первый компонент акутовой интонации) обеспечивалось соответствующим напряжением голосовых связок в паузе перед началом словоформы [19, с. 25]. Характерной особенностью славянского циркумфлекса (включая краткостное ударение) было понижение тона на первой море долгого гласного (долгого дифтонгического сочетания) начального слога или на кратком гласном (на кратком дифтонгическом сочетании) начального слога. Протославянскую (и праславянскую) интонацию долгого гласного (долгого дифтонгического сочетания) начального слога в баритонированных формах слов с подвижной а. п. будем называть долгой нисходящей, а интонацию краткого гласного (краткого дифтонгического сочетания) начального слога — краткой нисходящей.

В связи с тем, что в праславянском языке долгие дифтонгические сочетания претерпели сокращение долготы слогового элемента, а неслоговой элемент дифтонгических сочетаний (и первоначально долгих, и первоначально кратких) в позиции перед согласным (а также в конце слова) получил слоговость, долгая нисходящая интонация первоначально долгих дифтонгических сочетаний продолжала оставаться долгой нисходящей (с той разницей, что раньше она приходилась на долгий гласный дифтонгического сочетания, а теперь — на все дифтонгическое сочетание или на весь дифтонг), а краткая нисходящая интонация первоначально кратких дифтонгических сочетаний стала долгой нисходящей. Следовательно, в баритонированных формах слов с подвижной а. п. интонация первоначально долгих и первоначально кратких дифтонгических сочетаний слилась в долгой нисходящей, которая, естественно, не может свидетельствовать ни о первоначальной долготности, ни о первоначальной краткостности дифтонгического сочетания, ср. форму вин. п. ед. ч. существительных: с одной стороны, исл. \**við* (литов. *viðq*, 3-я а. п.), \**gðlvq* (литов. *gálvq*, 3-я а. п.), а с другой, исл. \**drúg* (литов. *draūgq*, 4-я а. п.), \**ziṁp* (литов. *ziṁmq*, 4-я а. п.).

В окситонированных формах слов с подвижной а. п. долгий гласный (в том числе и долгий гласный дифтонгических сочетаний) конечного слога получил в протославянских говорах (в соответствии с балтославян-

ским принципом акцентного чередования между крайними морями форм слова) однослоговую восходяще-нисходящую интонацию, а на краткий гласный (в том числе и на краткий гласный дифтонгических сочетаний) конечного слога при краткости предшествующего слога пришелся второй компонент двуслоговой восходяще-нисходящей интонации — понижение тона с тонической и динамической вершинами (повышение тона имело место на предшествующем кратком слоге). В тех же случаях, когда краткому конечному слогу предшествовал долготный слог, двуслоговая восходяще-нисходящая интонация на двух последних слогах не возникала, поскольку повышение тона при восходяще-нисходящей интонации в балто-славянском языке не могло происходить ни на второй мере долгого гласного, ни на всем долгом гласном. Оно могло происходить только на первой мере долгого гласного или на кратком гласном, в связи с чем долгий гласный предпоследнего слога получил однослоговую восходяще-нисходящую интонацию, а конечный краткий слог остался безударным [19, с. 26]. Следовательно, в протославянских говорах в окситонированных формах слов с подвижной а. п. при долготности предпоследнего слога и краткости конечного имело место фонетически обусловленное нарушение балто-славянского принципа акцентного чередования между крайними морями форм слова: ударение в соответствии с указанным принципом должно было бы находиться на конечном кратком слоге, но его перехватил предпоследний долготный слог. Подытоживая сказанное, можно сформулировать правило, что в протославянских говорах в окситонированных формах слов с подвижной а. п. при долготности конечного слога ударение всегда приходилось на конечный слог, а при краткости конечного слога оно приходилось или на конечный слог, если предпоследний тоже был кратким, или на предпоследний, если он был долготным (при этом на конечном долготном слоге, а также на предпоследнем долготном слоге при краткости конечного имела место однослоговая восходяще-нисходящая интонация, на двух последних кратких слогах — двуслоговая восходяще-нисходящая интонация). Примером действия этого правила может быть праславянское ударение формы инфинитива глаголов с подвижной а. п. (конечное *-i* инфинитива развилось из краткого дифтонгического сочетания *ei* [15, с. 18]: *ei* >  $\bar{i}$  > *i*), ср., с одной стороны, псл. \**nesti*, \**vezti*, \**bergti* (< \**bergtej*), \**kleṭi* (< \**klentej*) и др. (при праславянском двуслоговой восходяще-нисходящей интонации обозначаем лишь понижение тона на втором интонированном слоге, причем знаком  $\bar{\quad}$  обозначаем повышение тона на кратком гласном), а с другой, \**klāsti*, \**grȳzti*, \**pręsti* (< \**pręndtej*), \**liti* (< \**lēitej*) и др. (праславянскую однослоговую восходяще-нисходящую интонацию обозначаем знаком  $\acute{\quad}$ ). Древнее распределение ударения в форме инфинитива глаголов с подвижной а. п. (форме, несомненно, окситонированной) сохранилось в праславянском языке потому, что форма инфинитива была изолированной формой (не входила в какую-нибудь парадигму), в связи с чем она почти не испытывала влияния других форм. Этого нельзя сказать, например, о форме именительного падежа единственного числа существительных  $\bar{v}$ -/ $\bar{j}\bar{v}$ -,  $\bar{u}$ -,  $\bar{i}$ -основ с подвижной а. п. (форме тоже, несомненно, окситонированной), в которой ударение первоначально находилось, на наш взгляд, на конечном слоге (кратком) при краткости предпоследнего (\**rogòs*, \**drougòs*, \**žombòs*, \**medùs*, \**noktìs* и др.) и на предпоследнем слоге при его долготности (\**vēidos*, \**sānus*, \**zvēris* и др.), но со временем в праславянском языке древнее распределение ударения в указанной форме было утрачено под влиянием баритонированной формы винительного

падежа единственного числа (ср. позднеславянские формы им. п. ед. ч.: \*rǫgъ, \*drǫgъ, \*zǫpъ, \*mǣdъ, \*nǫl'ъ, \*vǫdъ, \*sǫnъ, \*zvǣrbъ)<sup>4</sup>. Вместе с тем в форме именительного падежа единственного числа существительных ā-, ū-основ с подвижной а. п. первоначальное ударение на конечном слоге (долготном) в праславянском языке сохранялось (\*golvā > \*goļvā, \*zejmā > \*zīmā, \*nogā > \*nogā, \*svekrū > \*svekrŭj и др.).

Таким образом, отрицая существование в протославянских говорах в словах с подвижной а. п., имеющих долготный начальный слог, баритонированных форм с акутовой интонацией, мы тем не менее считаем, что в таких словах (двусложных) существовали окситонированные формы с акутовой интонацией начального слога. Сочетание в одной парадигме форм с долгой нисходящей и акутовой интонациями начального слога сохранялось до тех пор, пока ощущалась акцентная оппозиция форм (например, именительного и винительного падежей единственного числа). Как только указанная оппозиция в праславянском языке перестала существовать, формы с акутовой интонацией на начальном слоге подверглись влиянию форм с долгой нисходящей интонацией, что привело к замене акутовой интонации начального слога долгой нисходящей. В тех окситонированных формах, в которых слова с начальным долготным слогом получили долгую нисходящую интонацию на начальном слоге (вместо акутовой), слова с начальным краткостным слогом приобрели краткую нисходящую интонацию на начальном слоге, утратив конечное ударение, что произошло, с одной стороны, под влиянием слов с начальным долготным слогом, а с другой, под влиянием собственных баритонированных форм (с краткой нисходящей интонацией на начальном слоге).

В праславянском языке после получения слоговости вторым элементом кратких дифтонгических сочетаний (в результате чего слог с кратким дифтонгическим сочетанием стал долготным) повышение тона (первый компонент двуслоговой восходяще-нисходящей интонации) на слоге с дифтонгом или дифтонгическим сочетанием происходило уже на обоих элементах дифтонга или дифтонгического сочетания, а понижение тона (с тонической и динамической вершинами) оставалось на следующем слоге, ср. местн. п. мн. ч. δ-основ: \*drougojsŭ > \*drougoixъ > \*drug'ěrxъ.

Если слово с подвижной а. п. тесно сочеталось с предыдущим предложением (союзом, частицей) или последующим местоимением (частицей), то балто-славянский принцип акцентного чередования между начальной и конечной морфемами слова действовал уже по отношению всей тактовой группы: в тактовой группе с баритонированной формой слова первый слог сочетания (предлог, союз или частица) получал нисходящую интонацию (долгую или краткую), а в тактовой группе с окситонированной формой слова последний слог сочетания (местоимение или частица) получал однословную восходяще-нисходящую интонацию (при долготности послед-

<sup>4</sup> Е. Курилович для балто-славянского языка реконструирует флексивное ударение в именительном падеже единственного числа основ на -ō, -ū, -ī (а также на -ā, -r) с подвижной а. п. [6, с. 201—203]. По мнению Х. Станга, балто-славянская акцентуация формы именительного падежа единственного числа существительных δ-основ мужского рода с подвижной а. п. была скорее всего флексивной, а корневое ударение этой формы в славянском и литовском языках является, очевидно, вторичным, в частности, в славянском оно может быть результатом влияния формы винительного падежа единственного числа [9, с. 76]. В. М. Иллч-Свитч тоже считает, что для δ-основ мужского рода с подвижной а. п. следует принимать раннее устранение окситонезы в именительном падеже единственного числа. «Введение баритонезы в Nom. Sing., возможно, связано с ранней заменой этой формы формой Acc. Sing.» [7, с. 119].

него слога) или второй компонент двуслоговой восходяще-нисходящей интонации (при краткости двух последних слогов).

Балто-славянский принцип акцентного чередования между крайними морями форм слова действовал и в протолитовских говорах. Однако, поскольку в протолитовских говорах при восходяще-нисходящей интонации тоническая и динамическая вершины находились в конце первой интонированной моры (а не в начале второй, как в протославянских говорах), то в баритонированных формах слов с подвижной а. п. долгий гласный (в том числе и долгий гласный дифтонгических сочетаний) начального слога получил однослоговую восходяще-нисходящую интонацию, а на краткий гласный (в том числе и на краткий гласный дифтонгических сочетаний) начального слога пришелся первый компонент двуслоговой восходяще-нисходящей интонации — повышение тона с тонической и динамической вершинами (понижение тона происходило на следующем слоге), при долготности следующего слога — на первой море долгого гласного). В связи с тем, что в пралитовском языке долгие дифтонгические сочетания претерпели сокращение долготы слогового элемента, а неслогового элемент дифтонгических сочетаний (и первоначально долгих, и первоначально кратких) в позиции перед согласным (а также в конце слова) получил слоговость, однослоговая восходяще-нисходящая интонация на долгом слоговом элементе дифтонгических сочетаний преобразовалась в однослоговую восходяще-нисходящую интонацию с повышением тона на сократившемся слоговом элементе и понижением тона на получившем слоговость втором элементе (однослоговая восходяще-нисходящая интонация осталась в пределах дифтонга или дифтонгического сочетания). Если повышение тона при двуслоговой восходяще-нисходящей интонации приходилось на слог с кратким дифтонгическим сочетанием, то после получения слоговости вторым элементом кратких дифтонгических сочетаний (в результате чего слог с кратким дифтонгическим сочетанием стал долготным) повышение тона в протоаукштайтских говорах распространилось и на второй элемент дифтонга или дифтонгического сочетания (повышение тона осталось в пределах дифтонга или дифтонгического сочетания, а понижение тона — на следующем слоге), причем тоническая и динамическая вершины, которые при двуслоговой восходяще-нисходящей интонации всегда находились в конце восходящей части тона (в конце первого интонированного слога), пришлось на второй элемент дифтонга или дифтонгического сочетания. В результате утраты в аукштайтских говорах литовского языка старых интонационных различий пралитовская однослоговая восходяще-нисходящая интонация долгих гласных, а также дифтонгов и дифтонгических сочетаний в баритонированных формах слов с подвижной а. п. (как и во всех остальных случаях) трансформировалась в литовскую нисходящую интонацию — акут (через стадию — долгота с иктусом на первой море долгого гласного или на первом элементе дифтонга / дифтонгического сочетания), а пралитовское (протоаукштайтское) повышение тона на обоих элементах дифтонга или дифтонгического сочетания при двуслоговой восходяще-нисходящей интонации трансформировалось в литовскую восходящую интонацию — циркумфлекс (через стадию — долгота с иктусом на втором элементе дифтонга или дифтонгического сочетания), ср. литов. вин. п. ед. ч. *gálvą, lāngą, sūnų; bažną, draįgą*.

Протолитовское повышение тона на кратком гласном *i* и *u* (при двуслоговой восходяще-нисходящей интонации) изменилось в баритонированных формах слов с подвижной а. п. (как и во всех остальных случаях)

в литовское краткое ударение (динамическое ударение на месте динамической вершины былой двуслоговой восходяще-нисходящей интонации), ср. литов. вин. п. ед. ч. *liną, dūktęri*. Краткий гласный *a* или *e*, на который в пралитовском языке приходилось повышение тона (при двуслоговой восходяще-нисходящей интонации), в баритонированных формах слов с подвижной а.п. (как и во всех остальных случаях) удлинился и имеет в литовском литературном языке циркумфлекс (ср. литов. вин. п. ед. ч. *rāsą, rāgą, mēdų*), что позволяет рассматривать и этот циркумфлекс как рефлекс повышения тона (первого компонента двуслоговой восходяще-нисходящей интонации) на удлинившемся гласном (повышение тона охватило весь удлинившийся гласный, причем тоническая и динамическая вершины пришлось на конец удлинившегося гласного).

В окситонированных формах слов с подвижной а.п. краткий гласный (в том числе и краткий гласный дифтонгических сочетаний) конечного слога получил в протолитовских говорах (в соответствии с балто-славянским принципом акцентного чередования между крайними морями форм слова) первый компонент восходяще-нисходящей интонации — повышение тона с тонической и динамической вершинами, при этом понижение тона происходило в паузе после слова в результате ослабления напряжения голосовых связок. Протолитовскую интонацию краткого гласного (в том числе и краткого гласного дифтонгического сочетания) конечного слога в окситонированных формах слов с подвижной а.п. будем называть краткой восходящей. В пралитовском языке после получения слоговости вторым элементом кратких дифтонгических сочетаний (в результате чего слог с кратким дифтонгическим сочетанием стал долготным) краткая восходящая интонация на кратком дифтонгическом сочетании в протоаукштайтских говорах изменилась в долгую восходящую интонацию, которая характеризовалась повышением тона на обоих элементах дифтонга или дифтонгического сочетания, причем тоническая и динамическая вершины находились на втором элементе дифтонга или дифтонгического сочетания. В связи с утратой в аукштайтских говорах литовского языка старых интонационных различий краткая восходящая интонация на конечном слоге изменилась в литовское краткое ударение (динамическое ударение на месте динамической вершины былой краткой восходящей интонации), а долгая восходящая интонация на конечном слоге (содержащем дифтонг или дифтонгическое сочетание) трансформировалась в литовскую восходящую интонацию (циркумфлекс), ср. литов. им. п. ед. ч. *sūnūs, medūs, žėvėris, avis*, род. п. ед. ч. *sunauš, medauš, žėvėriūs, aviūs*, им. п. мн. ч. *langai, draugai ragai*. Если в окситонированных формах слов с подвижной а. п. конечный слог содержал в себе долгий гласный (в том числе и долгий гласный дифтонгических сочетаний), то повышение тона в протолитовских говорах (и вообще в балто-славянском языке) не могло происходить на второй море долгого гласного. Оно могло происходить лишь на первой море долгого гласного или на кратком гласном, в связи с чем долгий гласный конечного слога получил однослововую восходяще-нисходящую интонацию, например, протолитовские им. п. ед. ч. *\*gālvā*, твор. п. мн. ч. *\*gālvāmīs*. Следовательно, в протолитовских говорах в окситонированных формах слов с подвижной а. п. при долготности конечного слога имело место фонетически обусловленное нарушение балто-славянского принципа акцентного чередования между крайними морями форм слова. В пралитовском языке акцентированные долгие гласные конечного слога в формах слов с подвижной а. п. сократились (закон Лескина) [20], в результате чего однослововая восходяще-нисходящая интонация на долгих гласных, под-

вергшихся сокращению, трансформировалась в краткую восходящую, ср. литов. *galvà, galvomis*. На наш взгляд, указанное сокращение — результат действия протолитовского (и пралитовского) принципа акцентного чередования (чередования между крайними морями форм слов), одержавшего верх и там, где он был нарушен. Сокращение конечных акутированных долгих гласных в формах слов с подвижной а. п. было обобщено также неподвижными акцентными парадигмами соответствующего класса слов.

Следует подчеркнуть, что в балто-славянском языке, а также в праславянском и пралитовском языках в период до получения слоговости вторым элементом кратких дифтонгических сочетаний повышение тона при дву-слоговой восходяще-нисходящей интонации происходило только на кратком слоге; после получения слоговости вторым элементом кратких дифтонгических сочетаний (и превращения в связи с этим краткого слога, содержащего краткое дифтонгическое сочетание, в долготный слог) повышение тона при дву-слоговой восходяще-нисходящей интонации в праславянском языке и в протоаукштайтских говорах пралитовского языка происходило уже как на кратком, так и на долготном слоге.

Таким образом, один и тот же балто-славянский принцип чередования ударения (между крайними морями форм слов) в протославянских и в протолитовских говорах привел к неодинаковым результатам из-за имевшейся в этих говорах различия в природе восходяще-нисходящей интонации. Балто-славянская восходяще-нисходящая интонация была свойственна не только протославянским и протолитовским говорам, но также протолатышским и протопрусским. То обстоятельство, что при латышской длительной интонации, которая по происхождению соответствует литовскому акуту в баритонированной а. п., голос под конец долгого гласного или дифтонга становится сильнее и выше [21], позволяет предположить, что в протолатышских говорах и в пралатышском языке тоническая и динамическая вершины при восходяще-нисходящей интонации находились в начале второй интонированной моры. Учитывая факты древнепрусского языка типа *boūt* (литов. *būti*), *pogaūt* (литов. *pagauti*), аналогичный вывод можно сделать также относительно протопрусских говоров и прапрусского языка. Но если в протославянских, протолатышских и протопрусских говорах тоническая и динамическая вершины при восходяще-нисходящей интонации находились в начале второй интонированной моры и лишь в протолитовских говорах — в конце первой интонированной моры, то возникает предположение, что в протолитовских говорах тоническая и динамическая вершины при восходяще-нисходящей интонации тоже первоначально находились в начале второй интонированной моры. Такое предположение хорошо согласуется с мнением ученых о сохранении славянским акцентом балто-славянской природы, в отличие от литовского акцента [8, с. 125]. В связи с этим мы считаем, что в раннем балто-славянском языке (т. е. до диалектного членения) тоническая и динамическая вершины при восходяще-нисходящей интонации находились в начале второй интонированной моры.

Следует также учесть то обстоятельство, что чередование ударения (иктуса) между началом и концом форм слова с подвижной а. п., характерное для позднего балто-славянского языка, свидетельствует о доминировании динамической стороны восходяще-нисходящей интонации над тонической. Однако в языках с тоническим ударением такое положение не может быть первоначальным. В раннем балто-славянском языке тоническая сторона восходяще-нисходящей интонации должна была домини-

ровать над динамической. Исходя из этого, мы полагаем, что в раннем балто-славянском языке между началом и концом форм слова с подвижной а. п. происходило чередование не ударения, как в позднем балто-славянском языке, а интонации (восходяще-нисходящей). В баритонированных формах слова с подвижной а. п. начальный долготный слог характеризовался однослоговой восходяще-нисходящей интонацией, а при краткости начального слога первые два слога были охвачены двуслоговой восходяще-нисходящей интонацией (при долготе второго слога понижение тона происходило на первой мере долгого гласного). В окситонированных формах слова с подвижной а. п. конечный долготный слог характеризовался однослоговой восходяще-нисходящей интонацией, а при краткости двух последних слогов на них размещалась двуслоговая восходяще-нисходящая интонация; при краткости конечного слога и долготе предпоследнего на предпоследнем слоге имела место однослоговая восходяще-нисходящая интонация, поскольку повышение тона при восходяще-нисходящей интонации в балто-славянском языке не могло происходить ни на второй мере долгого гласного, ни на всем долгом гласном, а лишь на первой мере долгого гласного (и на кратком гласном).

В протославянских говорах балто-славянского языка природа восходяще-нисходящей интонации не изменилась, однако в связи с тем, что между началом и концом форм слова с подвижной а. п. чередование интонации сменилось чередованием ударения (иктуса), в баритонированных формах слов с подвижной а. п. возникла нисходящая интонация — долгая или краткая (в окситонированных формах никаких интонационно-акцентуационных изменений не произошло). В протолитовских говорах балто-славянского языка не только чередование интонации сменилось чередованием ударения (между началом и концом форм слова с подвижной а. п.), но изменилась также природа восходяще-нисходящей интонации (тоническая и динамическая вершины переместились с начала второй интонированной меры на конец первой интонированной меры). Указанные изменения привели к тому, что в баритонированных формах слов с подвижной а. п. сохранилась однослоговая восходяще-нисходящая интонация на начальном долготном слоге и двуслоговая восходяще-нисходящая интонация на двух первых слогах при краткости начального слога, а в окситонированных формах возникла восходящая интонация на конечном кратком слоге; при долготе конечного слога на нем сохранилась однослоговая восходяще-нисходящая интонация.

Следует отметить, что в протославянских говорах трансформация восходяще-нисходящей интонации в нисходящую в баритонированных формах слов с подвижной а. п. была проведена очень последовательно. В протолитовских же говорах восходящая интонация на конечном кратком слоге в окситонированных формах слов с подвижной а. п. возникала (вместо двуслоговой восходяще-нисходящей интонации на двух последних кратких слогах и однослоговой восходяще-нисходящей интонации на предпоследнем долготном слоге) лишь при наличии оппозиции форм (при наличии парадигмы); в изолированных же формах (не входящих в какую-либо парадигму) указанная перестройка не происходила. Изолированной формой выступала, в частности, форма инфинитива, являющаяся по происхождению скорее всего формой местного падежа единственного числа существительных *i*-основ (см. [22]). В акцентном отношении она была, несомненно, окситонированной. Поскольку конечный слог (содержащий краткое дифтонгическое сочетание *ei*) в форме инфинитива был краткост-

ным, то формы инфинитива при своем возникновении (в раннем балто-славянском языке) получили двусложную восходяще-нисходящую интонацию на двух последних слогах при краткости предпоследнего слога и односложную восходяще-нисходящую интонацию на предпоследнем слоге при его долготности. В позднем балто-славянском языке связь инфинитива с формой местного падежа единственного числа существительных *i*-основ уже не ощущалась, а восходяще-нисходящая интонация в инфинитиве (односложная в суффиксальных инфинитивах и односложная или двусложная в бессуффиксных инфинитивах) воспринималась как акцентуация независимого баритонированного слова. В связи с этим форма инфинитива в протолитовских говорах не получила восходящей интонации на конечном кратком слоге, как другие окситонированные формы, а сохранила старую акцентуацию, что послужило причиной совпадения акцентуации форм инфинитива в протославянских и в протолитовских говорах, ср. псл. \*bǫti, \*bǫti, \*liti, \*dǫti, \*jeŕi, \*nesti, \*vezti; литов. bǫti, lieti, ieti, dūmti, imti, nēsti, vėžti.

В раннем балто-славянском языке часть двусложных имен с подвижной а. п. и с долготным корнем получила баритонированную а. п. (\*dūmos, \*pūros, jātom; \*māter, \*dāijer<sup>5</sup>, \*grivā и др.). На наш взгляд, это произошло потому, что в двусложных именах с подвижной а. п. и с долготным корнем односложная восходяще-нисходящая интонация на корневом слоге была свойственна не только баритонированным падежным формам, но также окситонированным формам с кратким конечным слогом. Такое совпадение акцентуации баритонированных и части окситонированных форм способствовало обобщению односложной восходяще-нисходящей интонации во всей парадигме. Перевод двусложных имен с подвижной а. п. и с долготным корнем в баритонированные имена на всей территории распространения балто-славянского языка осуществлялся до тех пор, пока в протославянских говорах в баритонированных формах имен с подвижной а. п. не возникла нисходящая интонация. В протолитовских говорах в баритонированных формах имен с подвижной а. п. и с долготным корнем односложная восходяще-нисходящая интонация сохранилась, и поэтому процесс замены в указанных именах подвижной а. п. баритонированной продолжался, но он не был таким активным, как в раннем балто-славянском языке, поскольку с акцентуацией баритонированных форм уже не совпадала акцентуация окситонированных форм с кратким конечным слогом (последние вместо односложной восходяще-нисходящей интонации на корневом слоге получили краткую восходящую интонацию на конечном слоге).

Изменение акцентной парадигмы в именах типа \*dūmos, происшедшее в балтийском и славянском языках, привлекало внимание многих ученых. При этом исследователи, основываясь на показаниях древнеиндийского, древнегреческого и германского языков, считали, что в именах типа \*dūmos первоначальным (индоевропейским) было конечное ударение (ср. др.-инд. dhūmās, греч. Φυμάς). Исходя из этого, Г. Хирт предположил, что в балтийском и славянском языках ударение с конечного слога передвинулось на предпоследний, если он имел акутовый характер (т. е. был долготным) [23; 4, с. 54]. Указанное предположение Г. Хирта известно в на-

<sup>5</sup> Исследователи обычно реконструируют и.-е. \*māter, \*dāijer с долгим *-e* (\*mātēy, \*dāijēr). На наш взгляд, долготы *-e*, о которой свидетельствует ряд и.-е. языков (например, др.-инд. māta, литов. mōtė; др.-инд. devā, греч. δῆψ), возникла на почве этих же языков в результате приобретения и дальнейшей утраты конечным *-r* слогаобразующего характера (\*māter > \*māter > \*mātēr).

ке как закон Хирта. Следует отметить, что не все исследователи приняли этот закон. Его отрицает, в частности, А. Мейе [2, с. 67—68]. Некоторые ученые принимают закон Хирта с теми или иными поправками. Особенно существенны поправки, внесенные в закон Хирта Т. Лер-Славинским. По мнению Т. Лер-Славинского, в древнейший период славянского языка ударение не со всякого конечного слога передвигалось на предпоследний акутированный слог, а лишь с конечного краткого или циркумфлектированного слога; если же конечный слог был акутированным, то ударение оставалось на нем независимо от интонации предпоследнего слога [24]. Нетрудно заметить, что закон Хирта с поправкой Т. Лер-Славинского полностью соответствует сформулированному нами выше правилу об акцентуации окситонированных форм слов с подвижной а. п. в раннем балто-славянском языке: при долготности конечного слога на нем имела место однослоговая восходяще-нисходящая интонация, а при краткостности конечного и предпоследнего слогов на них размещалась двуслоговая восходяще-нисходящая интонация; при краткостности конечного слога и долготности предпоследнего предпоследний слог характеризовался однослоговой восходяще-нисходящей интонацией. Л. А. Булаховский считает, что поправка Т. Лер-Славинского делает закон Хирта более вероятным [18, с. 224, 285]. Однако указанная поправка, по мнению Л. А. Булаховского, не объясняет разнородной акцентуации инфинитивных форм глаголов (ср. в русском языке, с одной стороны, *нести, везти, плести, расти*, а с другой, *есть, класть, дать* и др.), потому что акутовый характер гласного в инфинитивном суффиксе в то время не вызывал сомнений из-за предполагаемого действия закона Фортунатова — де Соссюра в случаях типа \**moč'i* [18, с. 224]. Поскольку теперь действие закона Фортунатова — де Соссюра на славянской почве отрицается почти всеми акцентологами, нет оснований настаивать на акутированности инфинитивного суффикса, и, следовательно, разнородную акцентуацию инфинитивных форм глаголов можно в принципе объяснить действием закона Хирта, уточненного Т. Лер-Славинским.

Новая славянская акцентология, основывающаяся на морфологической концепции, отклонив основные фонетические законы классической акцентологии (закон Фортунатова — де Соссюра, закон Шахматова), закон Хирта тем не менее приняла. В формулирование этого закона В. М. Илич-Свитыч внес лишь некоторые изменения. Он считает, что в балто-славянском языке оттягивание ударения с конечного слога на корень имело место лишь при наличии в корне неапофонической долготы [7, с. 81, 156, 157, 162]. На наш взгляд, для такого уточнения закона Хирта нет достаточных оснований. Во-первых, все случаи наличия долготы в корне (во время действия закона Хирта) и отсутствия переноса ударения с конечного слога на корень невозможно объяснить апофоничностью долготы в корне. В. М. Илич-Свитыч приводит всего три слова с апофонической долготой в корне и отсутствием переноса ударения с конечного слога на корень: балт. \**pēda* (подвижная а. п.), слав. \**jāje, \*nāgъ* [7, с. 81, 156]. Однако даже в отношении этих трех примеров нельзя сказать, что все они являются надежными. Очевидное родство слав. \**jaje* с лат. *ovum* «яйцо», греч. *ὄβυ* тж. «не позволяет принимать особое удлинение гласного в слав.» [25]. Краткость корневого гласного этого слова в германском вторичного происхождения [26]. Во-вторых, непонятно, чем же существенным неапофоническая долгота отличалась от апофонической, если происхождение долготы играло такую важную роль во время действия закона Хирта.

Закон Хирта (с поправкой Т. Лер-Славинского) мы считаем проявле-

нием правила акцентирования окситонированных форм слов с подвижной а. п. в раннем балто-славянском языке: формы с долготным конечным слогом характеризовались однослоговой восходяще-нисходящей интонацией на конечном слоге, а формы с краткотным конечным слогом характеризовались или двуслоговой восходяще-нисходящей интонацией на двух последних слогах (при краткостности предпоследнего слога), или однослоговой восходяще-нисходящей интонацией на предпоследнем слоге (при долготности предпоследнего слога). В некоторых двусложных словах с подвижной а. п. и долготностью начального слога однослоговая восходяще-нисходящая интонация на начальном слоге, свойственная не только двусложным окситонированным формам с краткотным конечным слогом, но также всем баритонированным формам, была обобщена во всей парадигме.

В. А. Дыбо установил, что в тех случаях, когда в балто-славянском языке накоренное ударение возникло в результате оттягивания акцента по закону Хирта, кельто-италийские языки тоже указывают на накоренное ударение [27]. Это наблюдение позволило В. М. Иллич-Свитычу сделать вывод, что «оттягивание ударения на слог с неапофонической долготой было, по-видимому, не специфически балто-славянским, а индоевропейским диалектным процессом» [7, с. 163]. Мы тоже считаем, что правило акцентирования окситонированных форм слов с подвижной а. п. относится не только к раннему балто-славянскому языку, но и к позднему индоевропейскому. Выравнивание акцентуации падежных форм слов с подвижной а. п. и долготностью предпоследнего слога (однослоговая восходяще-нисходящая интонация на конечном слоге при долготности конечного слога и однослоговая восходяще-нисходящая интонация на предпоследнем слоге при краткостности конечного слога) имело место во многих и.-е. языках, однако в одних языках обобщалась акцентуация форм с ударением на предпоследнем слоге (балто-славянский язык, кельто-италийские языки), а в других — с ударением на конечном слоге (древнеиндийский и древнегреческий языки) <sup>6</sup>.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Hirt H.* Akzentstudien // IF. 1899. Bd 10.
2. *Meillet A.* Sur l'accentuation des noms en indo-européen // MSLP. 1916. V. 19.
3. *Meiße A.* Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.; Л., 1938. С. 323—324.
4. *Sedláček Fr.* Půzvuk podstatných jmen v jazycích slovanských. Praha, 1914. S. 176—177.
5. *Сосюр Ф. де.* Литовская акцентуация // Сосюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977. С. 626—631.
6. *Kurylowicz J.* L'accentuation des langues indo-européennes. 2-ème éd. Wrocław; Kraków, 1958. P. 169—173.
7. *Иллич-Свитыч В. М.* Именная акцентуация в балтийском и славянском: Судьба акцентуационных парадигм. М., 1963.
8. *Stang Ch. S.* Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen. Oslo; Bergen; Tromsø, 1966.
9. *Stang Ch. S.* Slavonic accentuation. Oslo, 1957.
10. *Дыбо В. А.* О реконструкции ударения в праславянском глаголе // Вопросы славянского языкознания. 1962. Вып. 6.
11. *Склярченко В. Г.* К вопросу о происхождении славянской окситонированной акцентной парадигмы // Советское славяноведение. 1988. № 1.
12. *Дыбо В. А.* Славянская акцентология: Опыт реконструкции системы акцентных парадигм в праславянском. М., 1981.

<sup>6</sup> Предположение о более позднем возникновении окситонезы в древнеиндийских и древнегреческих словах рассматриваемого типа высказал Х. Шельд [28]. Явную тенденцию к распространению окситонезы в древнеиндийских прилагательных этого типа отмечает В. А. Дыбо [12, с. 18].

13. Колесов В. В. История русского ударения: Именная акцентуация в древнерусском языке. Л., 1972. С. 62.
14. Скаренко В. Г. Ранньопраслов'янська рухома акцентна парадигма // Мовознавство. 1986. № 5.
15. Курцлович Е. О балто-славянском языковом единстве // Вопросы славянского языкознания. 1958. Вып. 3.
16. Hamt J. Akcenatske opozicije u slavenskim jezicima. Zagreb, 1958. S. 64 (posebni otisak) // Radovi Slavenskog instituta posvećeni IV Međunarodnom sastanku slavista u Moskvi (1958).
17. Мелье А. О некоторых аномалиях ударения в славянских именах // Русский филологический вестник. 1902. Т. 48. № 3—4. С. 195, 200.
18. Булаховский Л. А. Древнейшая славянская метатония акутовых долгот (закон А. Мейе) // Булаховский Л. А. Избр. труды: В 5-ти т. Т. 4. Киев, 1980.
19. Скаренко В. Г. Происхождение славянского и литовского циркумфлекса // Слов'янське мовознавство: X Міжнародний з'їзд славістів. Київ, 1988.
20. Leskien A. Die Quantitätsverhältnisse im Auslaut des Litauischen // Archiv für slavische Philologie. 1881. Bd 5. S. 189.
21. Endzelin J. Über den lettischen Silbenakzent // Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen. 1899. Bd 25. S. 259.
22. Скаренко В. Г. З історії акцентуації неозначеної форми дієслів української мови // Мовознавство. 1988. № 2. С. 43.
23. Hirt H. Der indogermanische Akzent. Strassburg, 1895. S. 94.
24. Lehr-Splawinski T. Najstarsze prasłowiańskie prawo cofania akcentu // Symbolae grammaticae in honorem Ioannis Rozwadowski. V. 2. Cracoviae, 1928. S. 97.
25. Этимологический словарь славянских языков. Вып. 1. М., 1974. С. 61.
26. Słownik prasłowiański. T. 1. Wrocław etc., 1974. S. 153.
27. Дыбо В. А. Сокращение долгот в кельто-италийских языках и его значение для балто-славянской и индоевропейской акцентологии // Вопросы славянского языкознания. 1961. Вып. 5. С. 18—19.
28. Sköld H. Zur Akzentzurückziehung auf Akutsilben // SLPh. 1927. Bd 4. S. 143.

© 1991 г.

КАЛАШНИКОВА Г. Ф., АЛЬНИКОВА В. Ю.

О СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РУССКОГО  
ПОЛИПРЕДИКАТИВНОГО СЛОЖНОСОЧИНЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В центре ряда синтаксических работ последних десятилетий оказалось изучение полипредикативного сложного предложения, под которым понимается особая разновидность сложного предложения, содержащая в своем составе три предикативные единицы и более. В зависимости от способа соединения составных частей на доминирующем уровне членения можно выделить три типа полипредикативных сложных предложений: 1) полипредикативные сложноподчиненные предложения (ПСПП): *Так и думалось, что под водой тоже продолжается трава и что затопило ее недавно и ненадолго* (В. Солоухин. Капля росы); 2) полипредикативные сложносочиненные предложения (ПССП); *Еще душа не долюбила, Еще до радостей горазд, Но радостей того, что было, Мне, знаю, жизнь уже не даст* (В. Федоров. В горячке...); 3) полипредикативные бессоюзные предложения: *Вот этого японцы не ожидали: из последних усилий последние минеры «Рюрика» выпустили последнюю торпеду, и она, бурля перед собой воду, прочертила гибельный след* (В. Пикуль. Крейсера).

В настоящее время довольно основательно изучена лишь первая группа — ПСПП [1—3]. Что касается полипредикативных сложносочиненных предложений, то не только их структурно-семантические особенности исследованы далеко не достаточно, но существуют и разные точки зрения на их природу: одни ученые считают их построениями, относящимися, как и ПСПП, к особой подсистеме в системе сложного предложения, а другие не видят их специфики по сравнению с элементарным сложным предложением, полагая, что такие построения интересны лишь с точки зрения представленных в них комбинаций предикативных единиц [4].

Для подтверждения первой точки зрения требуют выяснения некоторые вопросы, касающиеся структурной и отчасти семантической организации данных построений: 1) какие компоненты являются строительным материалом ПССП и каковы критерии его членения на части (компоненты); 2) каковы семантико-синтаксические отношения между компонентами; 3) какая протяженность (объем) характерна для ПССП; 4) какова глубина синтаксической перспективы ПССП.

Цель данной работы — рассмотреть вопрос об объеме и глубине как существенных характеристиках ПССП, показать, что полипредикативное сложносочиненное предложение — явление особого качества, более высокого ранга по сравнению с элементарным сложносочиненным предложением (ЭССП), состоящим из двух предикативных единиц. Материалом исследования послужили 4, 5 тысячи ПССП, выбранных из текстов современной советской литературы: художественной (прозы и поэзии), произведений публицистического стиля и научного стиля (в двух его разновидностях — собственно научного и научно-популярного).

Прежде чем решать поставленную задачу, дадим общую характеристи-

ку структуры ПССП. Между предикативными единицами (ПЕ) в составе полипредикативного целого устанавливаются различные по силе сцепления связи. Это обуславливает объединение ПЕ в блоки (форманты) по собственным структурным схемам — сочинения, подчинения, бессоюзия. Включаясь друг в друга, структурные схемы образуют уровни членения, которые составляют в совокупности глубину предложения. Высший уровень — основной, определяющий. Он принадлежит всей конструкции. В ПССП он представлен всегда структурной схемой сочинения. Внутренние уровни принадлежат формантам основного членения, они создают варианты ПССП. Появление в составе полипредикативного сложного предложения формантов — результат блокирования, или группировки ПЕ, или, иначе говоря, формантного членения предложения. Под объемом ПССП понимается сумма составляющих его предикативных единиц. Рассмотрим предложение: *Эти времена в армии прошли*<sup>1</sup>, *и нет признаков*<sup>2</sup>, *что они могут вернуться*<sup>3</sup> (К. Симонов. Живые и мертвые). — /1/ и /2/ ← ← /3/. Объем этого ПССП — три ПЕ. На первом, основном уровне они организуются по структурной схеме сочинения в два форманта — левый (ПЕ<sup>1</sup>) и правый (ПЕ<sup>2</sup> ← ПЕ<sup>3</sup>). В сочинительную структурную схему включается структурная схема подчинения: ПЕ<sup>2</sup> ← ПЕ<sup>3</sup>, образуя второй уровень. Следовательно, глубина этого предложения равна двум уровням.

Объем является одним из важных показателей структуры ПССП, далеко не безразличным для построения и функционирования конструкций. Он может меняться в широком диапазоне: от трех ПЕ (минимального) до тридцати ПЕ и более. Однако слишком большая семантико-синтаксическая нагруженность сложносочиненной конструкции — явление весьма редкое, так как в коммуникативном использовании подобных построений появляются ограничения. Средний же объем ПССП в современном русском языке, по нашим данным, почти на единицу меньше, чем средняя протяженность ПССП [1], и составляет 3,8 ПЕ.

Проведенный анализ подтверждает распространенный в литературе вывод о том, что самой типичной в речи является конструкция с тремя ПЕ. Эти предложения составляют половину выборки, представленной 4,5 тыс. ПССП. Вторая половина приходится на ПССП с объемом более трех ПЕ, причем с увеличением объема предложения вероятность его появления в тексте уменьшается. Эти данные соответствуют мандельбровской схеме оптимального кодирования, согласно которой кодирование выполняется наилучшим образом, если наиболее сложные конструкции являются более редкими [5]. С увеличением количества ПЕ в составе предложения уменьшается степень его употребительности. Причем замечено, что эта зависимость близка по характеру к геометрической прогрессии, а именно: каждое увеличение объема ПССП на единицу вызывает уменьшение частотности его проявления в текстах приблизительно в два раза.

Представляется важным указать причины, влияющие на объем ПССП. Увеличение протяженности (объема) конструкции регулируется как закономерностями языка, так и нормами организации речи. В первую очередь, объем ПССП варьируется в зависимости от стиля: самая большая протяженность данных конструкций свойственна языку художественной

<sup>1</sup> Условные обозначения. Предикативные единицы: 1, 2, 3... Подчинение: —. Сочинение: сочинительный союз. Бессоюзие: :: или запятая. Границы формантов первого (основного) уровня: //, второго уровня { }, третьего уровня: < >, четвертого уровня: { }, пятого: { }, при том условии, если эти уровни не являются последними в ПСП. Границы формантов любого по счету последнего уровня не обозначаются.

литературы (4,36 ПЕ), а самые малообъемные предложения используются в научном стиле (3,4 ПЕ). Этот вывод касается, по всей вероятности, лишь ПССП, тогда как для полипредикативного сложного предложения вообще характерно обратное соотношение, а именно установлено, что средний размер предложения в научной прозе больше, чем в художественной литературе [6].

Наш материал показывает также зависимость объема предложения от объема самого произведения. Здесь проявляется закономерность, свойственная тексту как законченному целому: в объемных произведениях и ПССП объемнее, и их больше, чем в произведениях малого жанра. Автор, сообразуясь с задуманным целым, должен выдерживать определенное соотношение конструкций, в том числе и ПССП с большим и малым количеством ПЕ. Отсюда — разный подход авторов к конструированию отдельного произведения и такой же по длине части более крупного произведения. Сравним, например, рассказы В. Солоухина и фрагменты такого же объема из его же «лирических повестей»: на две страницы повестей приходится в среднем по три ПССП, а на две страницы рассказов — всего одно. Такое построение текста осуществляется авторами, конечно, неосознанно. Осознаем мы лишь конечный результат этой работы: от хорошего произведения остается впечатление полноты, законченности, гармоничности целого.

Нельзя не заметить, что на степени увеличения объема предложения сказываются и индивидуальные предпочтения автора речи, принцип его подхода к изложению содержания, то, насколько дискретно или суммарно стремится автор излагать свои мысли. Так, дискретность описания, которая состоит в оперировании главным образом малообъемными предложениями, проявляется более ярко в произведениях В. Каверина, чем, например, Ю. Бондарева или В. Чивилихина (см. табл. 1).

Таблица 1

Автор	Кол-во печатных знаков на 1 ПССП
Ю. Бондарев (Выбор)	990
В. Чивилихин (Над уровнем моря)	1160
В. Липатов (Игорь Саввович)	1459
В. Солоухин (Владимирские проселки)	1600
В. Пиккуль (Крейсера)	1784
Е. Носов (Усвятские шлемовосцы)	1850
А. Чаковский (Блокада)	2337
В. Каверин (Перед зеркалом)	5000

В данной таблице представлена сравнительная частота встречаемости анализируемых предложений в художественных произведениях разных писателей. Числа обозначают среднее количество печатных знаков, на которое приходится в указанных текстах одно ПССП.

Однако полнота реализации объема ПССП, несмотря на индивидуальные колебания, представляет собой устойчивую норму для каждого стиля. Поэтому данный параметр ПССП может быть использован как одна из характеристик функциональных стилей речи.

Увеличение объема предложения может быть следствием стремления автора речи расширить объем передаваемой информации. Причем последний должен находиться в соответствии с объемом оперативной памяти че-

ловека, в которой и происходят процессы кодирования и декодирования информации. Объем оперативной памяти человека, как это установлено Дж. Миллером [7], равен  $7 \pm 2$  несвязанным элементам материала: словам, цифрам, слогам, звукам и т. п., Иначе говоря, максимум единиц низшего уровня в составе одной единицы высшего уровня располагается в рамках от пяти до девяти единиц. Эта закономерность имеет место также в рамках полипредикативного сложного предложения — единицы высшего уровня, состоящей из ПЕ — единиц низшего уровня [8]. Выяснилось, что максимуму сложности полипредикативного сложного предложения в целом соответствует такая же величина —  $7 \pm 2$  ПЕ. Те же закономерности наблюдаются и в конкретной единице — ПССП. Исследования показывают, что полипредикативные сложносочиненные предложения с объемом не более пяти ПЕ составляют 77,5%, не более шести ПЕ — 88,5%, не более семи ПЕ — 94,5%, не более девяти — 98,5%. Таким образом, объем ПССП действительно ограничен объемом оперативной памяти и составляет  $7 \pm 2$  ПЕ. Он достигает этой величины в 22,5% случаев, а превышает его всего в 1,5% ПССП.

Возможность внутреннего развития конструкции определяют также и структурные черты различных синтаксических моделей. Например, конструкции с различными типами связей в составе (сочинением, подчинением, бессоюзием), как правило, более объемны, чем только с сочинительными связями. Ср.: *Вот к такому заключению пришли Пер и Мария Кюри<sup>1</sup>, и сразу же перед ними встала заманчивая задача<sup>2</sup> — нужно извлечь из иоазимстальской руды это таинственное вещество<sup>3</sup>, которого там так мало<sup>4</sup>, что обыкновенным химическим способом никому не удалось его так обнаружить<sup>5</sup>: ведь только электромер, указавший на повышенную радиоактивность иоазимстальской руды, заставил это неизвестное радиоактивное вещество выдать свое присутствие<sup>6</sup>* (М. Беринштейн. О физике и физиках); *Углевоз был арестован<sup>1</sup>, и призовая команда повела его во Владивосток<sup>2</sup>, а крейсера снова растворились в безбрежии — неумолимы для Камжигуры<sup>3</sup>* (В. Пиккуль. Крейсера). Участие в формировании структуры первого ПССП трех типов связи обеспечивает и его довольно большой объем — шесть ПЕ — по сравнению со второй конструкцией, где использование одного типа связи — сочинения — ограничивает объем ПССП чаще всего до трех-четырёх ПЕ, и практически никогда объем такого ПССП не выходит за пределы пяти-шести ПЕ.

Следовательно, увеличение объема ПССП зарезервировано как внелингвистическими факторами (объемом оперативной памяти), так и внутренними возможностями структуры к прогрессированию. Оно колеблется в рамках  $7 \pm 2$  ПЕ.

Отклонение от этой среднеграмматической величины в сторону увеличения в ряде случаев бывает весьма целесообразным, так как либо дает яркий стилистический эффект (в художественной речи и публицистике), либо служит передаче сложной и разветвленной информации (в научном и публицистическом стилях).

Значительный объем должен быть сделан ПССП трудными для восприятия, воспрепятствовать их употреблению, однако ПССП широко употребительны в современном русском языке, хорошо выполняя свои основные функции: передачи структурой большого количества информации, многообразия в единстве, нагнетания экспрессии. Это позволило предположить в их строении стремление к конструктивной упорядоченности, к гармоническому выстраиванию своих частей — иначе говоря — механизм компактности. Некоторые черты этого замечательного механизма

уже описаны (блокирование, или группировка компонентов в полипредикативном сложном предложении, организация ПЕ в многомерную структуру, усложнение части, стоящей ближе к концу предложения, и др.) [11]. В данной работе рассматривается один из способов гармонического упорядочения сложного предложения применительно к ПССП — способ построения, известный в науке под названием «золотого S-сечения», устанавливающего между частями целого пропорциональные отношения.

Давно установлено наличие золотого сечения в композиции лучших произведений скульптуры, архитектуры, живописи, музыки (Парфенон, Венера Милосская; картины Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана и др.; сочинения Баха, Бетховена, Шопена и др.). Академик Г. В. Церетели обнаружил «золотую» гармонию стиха в поэме Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Подсчитав слоги в каждом слове поэмы, он пришел к выводу, что более 50% строф поэмы построены на пропорции золотого сечения [9]. Рассмотрев гармоническую организацию на уровне абзаца и предложения (когда в точке золотого сечения — мелодической вершине — оказывается синтагма, содержащая важную в эмоциональном и подтекстовом смысле информацию) находим в работе Н. В. Черемисиной [10].

Закономерность золотого S-сечения описывается в общем случае уравнением [11, 12]:  $X^{S+1} - X^S - 1 = 0$ , где S — показатель рассматриваемого сечения. Положительный корень этого уравнения выражает золотую S-пропорцию. Для удобства восприятия этой пропорции представленное уравнение целесообразно привести к следующему виду:  $\frac{a}{A} = \left(\frac{A}{a+A}\right)^S$ , где a — меньшая часть целого; A — его большая часть. Применительно к структуре ПССП последнее соотношение можно трактовать следующим образом: объем меньшего форманта так относится к объему большего форманта, как объем большего форманта относится к объему всего предложения.

Приведенные уравнения определяют числовые величины S-пропорций, характеризующие структуру ПССП. Например, для S-сечений, соответствующих значениям S = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и т. д., они равны 0,5, 0,618, 0,683, 0,725, 0,755, 0,778, 0,797, 0,812 и т. д. Иначе говоря, при S = 0 золотое сечение (как разновидность формантного членения) делит все предложение на равные по количеству ПЕ части (форманты): *Вы не рассказали<sup>1</sup>, у вас служебные секреты<sup>2</sup>, но я догадываюсь<sup>3</sup>, что Барabanчиков<sup>4</sup> то перешел грань закона<sup>5</sup>* (С. Высоцкий. Среда обитания) — /1 ← 2/ по /3 ← 4/.

При S = 1 наблюдается классическое золотое сечение с величиной золотой S-пропорции, равной 0,618. Она имеет место при членении бинарного (двухформантного) ПССП с объемом в пять ПЕ на форманты в две и три ПЕ, с объемом в восемь ПЕ — на форманты в три и пять ПЕ, с объемом в десять ПЕ — на форманты в четыре и шесть ПЕ. Отклонение от расчетной величины (0,618) при этом не превышает 7%. Например: *Ом не только знал всех по имени, не только знал<sup>1</sup>, что без имени нет ни одного существа, даже самой паршивой собаки<sup>2</sup>, но он точно исполнял<sup>3</sup>, когда дети приказывали<sup>4</sup>, чьи принести тапки<sup>5</sup>* (Г. Троепольский. Белый Бим Черное Ухо). — /1 ← 2/ по /3 ← 4 ← 5/.

Варианты формантного членения ПССП на две части, наиболее близкие к расчетным величинам золотых S-пропорций для величин показателя золотого S-сечения от 0 до 7 и допускаемые при этом ошибки аппроксимации представлены в табл. 2.

В результате проведенного анализа установлено, что более чем 88%

Таблица 2

Показатель золотого сечения	В числителе — вариант «золотого» формантного членения (ПЕ). В знаменателе — допускаемая ошибка (%)			
0	$\frac{2:2}{0}$	$\frac{3:3}{0}$	$\frac{4:4}{0}$	$\frac{5:5}{0}$
1	$\frac{2:3}{7}$	$\frac{3:5}{2,5}$	$\frac{4:6}{7}$	
2	$\frac{1:2}{7}$	$\frac{2:4}{7}$	$\frac{3:6}{7}$	
3	$\frac{2:5}{5}$			
4	$\frac{1:3}{2}$	$\frac{2:6}{2}$		
5	$\frac{2:7}{0}$			
6	$\frac{1:4}{2}$	$\frac{2:8}{2}$		
7	$\frac{2:9}{4,5}$			

рассмотренных ПССП в той или иной мере свойственна золотая пропорция одного из золотых S-сечений. При этом с увеличением объема предложений возрастают возможности более широкого использования различных золотых S-пропорций (см. табл. 2): при объеме от трех до семи ПЕ для каждого ПССП возможны один-два варианта золотых S-сечений, а при объеме от восьми до десяти и более — два-три варианта. Так, в ПССП с объемом в четыре ПЕ имеют место два варианта золотых S-сечений (2 : 2; 1 : 3), а при объеме в десять ПЕ — три варианта (5 : 5; 4 : 6; 2 : 8). Кроме того, как показывает анализ табл. 2, все возможные варианты членения на форманты ПССП с небольшим объемом (в три, четыре и пять ПЕ) соответствуют золотой S-пропорции с тем или иным показателем золотого сечения, а начиная с объема в шесть ПЕ, у ПССП появляются также варианты членения, не совпадающие с золотым сечением. Так, в ПССП с девятью ПЕ «золотыми» являются варианты расчленения предложения на два форманта с такими соотношениями объемов: (3 : 6) и (2 : 7), а другим возможным соотношениям: (1 : 8) и (4 : 5) — золотая пропорция не свойственна.

«Золотое» членение, выступающее как один из способов создания компактности структуры, обеспечивает гармоничность полипредикативного целого, четкую его членимость. Кроме того, конструкциям, в которых наблюдается золотое S-сечение, свойственно яркое выражение функциональных свойств: высокая частотность и повышенные экспрессивные потенции. Последнее ярко характеризует тот факт, что на величественных монументах, например, Мамаева кургана — памятника героическому подвигу советского народа на Волге — высечены предложения, в которых место формантного членения совпадает с точкой золотого сечения: *Железный ветер бил им в лицо<sup>1</sup>, а они все шли вперед<sup>2</sup>, и снова чувство суеверного страха охватывало противника<sup>3</sup>: люди ли шли в атаку<sup>4</sup>, смертным*

ли они <sup>5</sup>?! — /1 а 2/ и / |3| ←- [4, 5]/. Да, мы были простыми смертными <sup>1</sup>, и мало кто уцелел из нас <sup>2</sup>, но все мы выполнили свой патристический долг перед священной матерью-Родиной <sup>3</sup>! — /1 и 2/ но /3/.

Таким образом, обнаруживаются способы построения, не замечаемые как автором, так и получателем речи. Они оказываются достаточно общими, так как не зависят от конкретных особенностей произведения, его стиля и жанра. Анализ показывает, что ПССП со стороны своего объема (количества ПЕ как в целом, так и в его частях), подчиняясь определенным количественным закономерностям, характеризуются высокой степенью организованности, упорядоченности и, благодаря этому, большой способностью к функционированию в речи.

Объем, однако, оказывает существенное воздействие не только на функционирование ПССП в речи. Он тесно связан также со структурными особенностями этих конструкций. Он прогнозирует потенциальную глубину структуры. Так, ПССП с объемом в три ПЕ может иметь глубину, равную двум уровням; в четыре ПЕ — двум и трем уровням и т. д. Объем, кроме того, определяет варианты участия в организации ПССП синтаксических связей (например, можно с уверенностью сказать, что ПССП с объемом в пять и более ПЕ организуются как минимум двумя типами связи) и варианты использования структурных схем (например, для построения ПССП с заданным объемом требуется определенное количество структурных схем, не менее двух).

Предопределяя некоторые характеристики структуры ПССП, объем, однако, сам по себе недостаточен информативен для исчерпывающего ее описания. В этом убеждает тот факт, что ПССП с одинаковым объемом могут различаться своим строением. Ср.: *Была мне гостеприимством дадена На восемь суток город Аден <sup>1</sup>, А я тогда был очень жаден И все забрал <sup>2</sup>, что вида там <sup>3</sup>, И вот теперь уже не сброшу Его забот живую ношу И никому не передам <sup>4</sup>* (М. Дудин) — /1| а [2 ← 3]/ и /4/; *Иван Егорыч не был убежден <sup>1</sup>, что будут сказаны именно те слова <sup>2</sup>, но в том <sup>3</sup>, что подобные слова будут сказаны <sup>4</sup>, он ни на минуту не сомневался <sup>5</sup>* (Г. Марков. Земля Ивана Егорыча) — /1 ← 2/ но /3 ← 4 — 3/. Приведенные предложения, как видно из схем, различаются внутренней организацией, хотя объем их одинаков (четыре ПЕ).

Более того, не любое построение объемом в три и более ПЕ есть полипредикативное. Мы не рассматриваем, например, как ПССП конструкции, состоящие из однофункциональных ПЕ, соединенных сочинительными союзами: *И тренеры нашлись способные, и экипажи удалось хорошие подобрать, и инженеров смогли привлечь на помощь*. Подобные многокомпонентные объединения — это варианты элементарных сложносочиненных предложений, строительным материалом для которых служат ПЕ. Для ПССП предикативная единица — лишь простейший исходный материал, а конструктивной единицей, непосредственно участвующей в построении полипредикативного целого, является формант, который представляет собой комплекс (блок) ПЕ или отдельную ПЕ. Каждая ПЕ, входящая в состав ПССП, рано или поздно оказывается формантом, но одни из них функционируют на первом, доминирующем уровне, а другие на низших. Например: *Вот пишу <sup>1</sup>, И грустно мне <sup>2</sup>, Потому как выzano <sup>3</sup>; Про любовь в мой стране Многие написано <sup>4</sup>* (В. Федоров. Вот пишу...) — /1/ и /|2| ← [3 ←- 4]/. Это предложение имеет три уровня членения. Первый уровень представлен структурной схемой сочинения /1/ и /2, 3, 4/, в которую включается структурная схема подчинения [2] ← [3, 4], создающая тем самым второй уровень членения. Структурная бессоюзная схема 3 ← 4

выступает на третьем уровне, так как включается в структурную схему второго уровня. Здесь на основном уровне (первом) представлено два форманта — левый (ПЕ<sub>1</sub>) и правый, состоящий из трех ПЕ (ПЕ<sub>2</sub>, ПЕ<sub>3</sub>, ПЕ<sub>4</sub>); на втором — тоже два: (ПЕ<sub>2</sub>), (ПЕ<sub>3</sub>, ПЕ<sub>4</sub>); на третьем уровне ПЕ<sub>3</sub> и ПЕ<sub>4</sub> выступают уже не как составляющие единого форманта, а как самостоятельные форманты.

Таким образом, наличие уровней членения (в совокупности образующих глубину) составляет неотъемлемое свойство ПССП, его конструктивный признак. Среди открытых сочинительных построений тоже могут быть полипредикативные, если хотя бы один формант его построен по собственной структурной схеме, например: *И замолкает за окном пурга*<sup>1</sup>, *И сказочно плавает над лесом месяц*<sup>2</sup>, *И сладко сердцу*<sup>3</sup>: *есть покой и песня, и мама у родного очага*<sup>4</sup> (Э. Дубровина. Дремлют плакучие ивы). Это многочастное (многоформантное) сложносочиненное предложение открытой структуры, состоящее из трех формантов, последний из которых включает две ПЕ, объединенные бессоюзной связью: *и / 1 / и / 2 / и / 3* ←← 4/.

На основании сказанного можно утверждать, что главные свойства ПССП связаны не только и не столько с его линейной организацией, сколько с иерархической, или уровневой. Итак, любое ПССП, в отличие от элементарного сложносочиненного предложения, имеет несколько уровней организации, не менее двух. Количество уровней ПССП, так же как и в ПСП [3, с. 31—34], зависит от объема конструкции, от количества и строения реализуемых схем, распределения их по формантам, от конструктивных свойств связей, от стилиевой принадлежности текста. Рассмотрим некоторые из этих зависимостей.

Зависимость между объемом и глубиной графически отображена на рис. 1, где на горизонтальной оси отложена глубина ПССП (в уровнях), на вертикальной оси — частотность данной конструкции (в процентах от общей выборки).

Анализ рисунка позволяет выявить следующие закономерности:

1) чем больше объем ПССП, тем больше у него уровней членения (так, при объеме от пяти до девяти ПЕ наиболее употребительны ПССП в четыре уровня, при объеме от четырех до семи — в три уровня, от трех до пяти — в два уровня);

2) для ПССП разного объема характерен один закон — закон снижения частотности в зависимости от увеличения глубины (так, четырехуровневые конструкции составляют 2% от общего числа ПССП, трехуровневые — 9%, двухуровневые конструкции составляют большинство).

Минимальная глубина ПССП равна двум уровням. Максимальную глубину бинарных предложений (Н) можно рассчитать по формуле  $H = n - 1$ , где  $n$  — количество ПЕ в ПССП [3, с. 37]. Так, при объеме в три ПЕ максимальная и единственно возможная глубина равна двум уровням: *Мне и вправду скоро нелегко придется*<sup>1</sup>, *а если еще и ты не будешь верить*<sup>2</sup>, *что мне тогда остается*<sup>3</sup>? (В. Распутин. Живи и помни) —

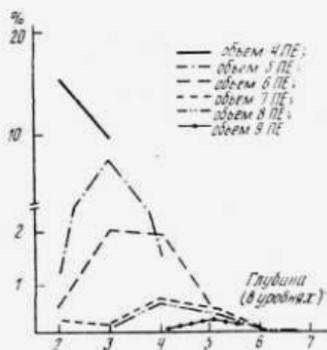


Рис. 1. Зависимость между объемом ПССП и его глубиной

/1/ а /2→3/. При объеме в четыре ПЕ максимальная глубина равна трем уровням (другая возможная глубина является минимальной — два уровня), при объеме в пять ПЕ — четырем уровням и т. п. Например: *Верховой, подворачивая, словно факелом подпаливал подворья<sup>1</sup>, и те эмиз занимались повстренным плачем и сумятицей<sup>2</sup>, как бывает только в российских бесштростных деревнях<sup>3</sup>, где не прячут ни радости, ни безутешного горя<sup>4</sup>* (Е. Носов. Усыятские шлемоносцы) — /1/ и /12|←|3←4|/.

Учитывая сказанное, все ПССП, содержащие более четырех ПЕ (такие ПССП способны иметь максимальное, минимальное и среднее количество уровней), можно разделить на три группы: 1) предложения с максимальной глубиной для данного объема (13%); 2) предложения со средней глубиной (76%); 3) предложения с минимальной глубиной (11%).

Очевидно, что в форманте ПССП зависимость каждой последующей ПЕ от предыдущей может приводить к существенному увеличению количества уровней. В реальных текстах развертывание ПССП уже в шесть-семь уровней — явление крайне редкое, эпизодическое. Частотность предложений определенного объема и глубины (в % от общего количества ПССП) отображена в табл. 3.

Таблица 3

Объем (ПЕ)	Глубина предложения (уровни)					
	2	3	4	5	6	7
3	56,3					
4	16,2	9,1				
5	1,1	6,8	1,6			
6	0,5	2,1	2,0	0,5		
7	0,3	0,2	0,7	0,5	0,1	
8		0,1	0,6	0,4	0,1	0,1
9			0,1	0,3	0,1	0,1

Анализ таблицы показывает, что ПССП не стремятся иметь ни максимальную, ни минимальную глубину структуры. Так, при объеме в пять ПЕ наиболее типичны (72%) конструкции с тремя уровнями членения, а построения с максимальной (четыре уровня) и минимальной (два уровня) глубиной при данном объеме почти одинаково редки (соответственно 12% и 16%).

Если же выбор вариантов глубины очень ограничен (т. е. если возможна только максимальная и минимальная глубина — при объеме в четыре ПЕ), вопрос в семидесяти случаях из ста решается в пользу меньшей глубины. А при очень широком выборе вариантов (объем ПССП девять и более ПЕ) преобладают конструкции с большей глубиной (пять-семь уровней) и совсем не встречаются образования глубиной в два-три уровня.

Данные таблицы 3 и графика (рис. 1) свидетельствуют также, что наиболее вероятными среди ПССП являются двух- и трехуровневые структуры. Исследователями уже отмечалась трехуровневая ограниченность в развертывании структуры простого предложения [13]. Таким образом, трехуровневое представление структурной стратификации конструкции можно рассматривать как универсальный принцип развертывания структуры, который достаточен для выражения основного содержания предложения.

Глубина ПССП зависит также от количества структурных схем, реализованных в предложении и составляющих его общую структурную схему: чем больше таких схем реализуется в предложении, тем больше его глубина. Так, использование в конструкции двух схем дает глубину два уровня: *Едиственный из вопросов<sup>1</sup>, от рассмотрения которого мы вынуждены отказаться<sup>2</sup>... — это чрезвычайно сложный вопрос о выборе между бессюзием и союзной связью<sup>1</sup>, а в случае союзной связи — между отдельными типами союзов<sup>3</sup>* (Моделирование языковой деятельности в интеллектуальных системах) — /1 ← 2—1/а /3/. В данном ПССП реализуются две структурные схемы: доминирующая сочинительная — /1, 2/а /3/ и подчинительная — 1 ← 2—1. Вторая подчиняется первой, что создает уровни членения.

Использование в конструкции трех структурных схем обеспечивает наличие двух или трех уровней членения конструкции. Последнее зависит от того, распределяются схемы равномерно по формантам, или располагаются в одном из них: *В главном управлении кадров считают<sup>1</sup>, что необходимо было соблюсти все формальности<sup>2</sup>, а в Главтранснефти полагают<sup>3</sup>, что и так сойдет<sup>4</sup>* (Соц. индустрия. 1984. 10 марта) — /1 ← 2/а /3 ← 4/. Голосование по законопроекту еще не состоялось<sup>1</sup>, но ... в его исходе нет сомнения<sup>2</sup>: обстановка такова<sup>3</sup>, что все требования военно-промышленного комплекса будут удовлетворены полностью<sup>4</sup> (Красная звезда, 1984. 4 дек.) — /1/ но /|2| ← [3 ← 4]/. В первом из приведенных ПССП обе схемы второго уровня 1 ← 2; 3 ← 4 непосредственно включаются в доминирующую сочинительную схему /1, 2/а /3, 4/. Во второй конструкции подчинительная структурная схема 3 ← 4 включается в структурную схему с бессоюзной связью [2] ← [3, 4], а последняя — в доминирующую структурную схему /1/ но /2, 3, 4/. За счет этого, т. е. за счет последовательного включения низших структурных схем в высшие, создается в данном ПССП три уровня членения.

Использование в конструкции четырех структурных схем дает глубину в три уровня, пяти — в три и четыре, шести — устойчиво четыре.

Глубина структуры ПССП, прежде всего бинарных, зависит также от конструктивных свойств синтаксических связей первого уровня, а именно от типа сочинительной связи, которая тесно соотносится с ее показателем — одиночным сочинительным союзом. Анализ показывает, что сочинение, как и подчинение, способно создавать «углубленную перспективу» предложения. И более показательны в этом отношении ПССП с союзом *и*, глубина которых доходит до шести-семи уровней. Так, следующее предложение с союзом *и* на основном уровне членения содержит шесть уровней: *Но они еще хорошо помнили недавнюю Лужниковскую, веселую, солнечную, зеленую<sup>1</sup>, и оба на углу дома не выдержали и рванулись к воротам своего двора<sup>2</sup>, а когда, запыхавшись, остановились около калитки<sup>3</sup>, откуда был виден и двустажный дом, загоренный липами<sup>4</sup>, в эту минуту у пожарного гаража на другой стороне улицы<sup>5</sup>, где обычно стояла будка дежурного<sup>6</sup>, громко всполошился сильный оклик<sup>7</sup>: «Кто там?..»<sup>7</sup> — и враждебно заскрежетал затвор вышки<sup>8</sup>* (Ю. Бондарев. Выбор) — /1/ и /|2| а [3 ← 4] → <[(15 ← 6—5) ← 17] и {8}>|. Менее приспособлены к созданию большой глубины предложения с союзом *но*, для которых типична глубина в два-четыре уровня. Союз *а* отмечен главным образом в предложениях с двумя и тремя уровнями. Остальные союзы (*да*, *да и*, *однако*, *только* и др.) организуют ПССП преимущественно с двумя уровнями членения.

Немаловажно для создания уровневой структуры ПССП и то, какие

типы связей используются в его организации. Наибольшей глубиной (от четырех до семи уровней) характеризуются, как правило, многомерные двух-, трехмерные) ПССП, т. е. такие конструкции, внутренние уровни которых организуются подчинительной связью или сочетанием разных связей. Это объясняется тем, что сочинение, в силу своих конструктивных свойств, не может самостоятельно выражать синтаксические отношения между большим количеством структурных схем [14].

Глубина ПССП во всех стилях, за исключением научного, выходит за пределы четырех уровней. Кроме того, в художественном стиле встречаются в несколько раз чаще, чем в других, предложения с тремя и четырьмя уровнями. Наибольшее количество двухуровневых конструкций (89,9%) используется в научно-популярном подстиле — как правило, за счет резкого сокращения употребительности конструкций с тремя и четырьмя уровнями (2%). Для научного стиля построения с тремя уровнями членения нередки (20,2%), зато с четырьмя — единичны (2%). Иначе говоря, ПССП научного стиля мало приспособлены к «росту» вглубь по сравнению с ПССП, принадлежащими к художественной прозе и поэзии и характеризующимися самыми большими объемами. Среднее положение в этом отношении занимает публицистический стиль. Развитие конструкции вглубь скрепляет объемные предложения художественного стиля, способствует передаче многообразия действительности, ее противоречий и сложностей в единстве, передаче процесса формирования мысли, развертывания и усложнения ее.

Рассмотренный материал позволяет сделать вывод, что ПССП не тождественно ЭССП, в нем возникают новые характеристики, неизвестные элементарному сложному предложению: глубина структуры; участие в его формировании не одной, а как минимум двух структурных схем; объединение ПЕ в сложные форманты (в ПССП по меньшей мере один из формантов основного членения состоит из двух или более ПЕ).

Наличие на основном уровне членения сочинительной связи относит данные конструкции к разряду сочинительных. Но это построения иного свойства, более высокого ранга, чем ЭССП. Это не хаотическое нагромождение ПЕ, а строго организованное структурно-семантическое целое, о чем свидетельствует тот факт, что строение и функционирование ПССП подчиняется вполне определенным закономерностям, как-то: 1) реализация свойств глубины и регулирование протяженности (объема) ПССП тесно связано с действием ряда лингвистических и внелингвистических факторов; 2) наблюдается тенденция к членению структуры ПССП на основе золотого сечения как реализация требования компактности конструкции; 3) очевидны различия между основными функциональными стилями в использовании ПССП определенных объемов и глубин, что делает возможным рассматривать данные конструкции как стиледифференцирующий фактор.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Калашикова Г. Ф.* Многокомпонентные сложные предложения в современном русском языке. Харьков, 1979.
2. *Гаврилова Г. Ф.* Усложненное сложное предложение в русском языке. Ростов-на-Дону, 1979.
3. *Ушаков Г. П.* Сложные полипредикативные (многокомпонентные) предложения. Калинин, 1981.
4. Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970. С. 654.
5. *Нирс Дж.* Символы, сигналы, шумы. М., 1967.
6. *Ярцева В. Н.* Пределы развертывания синтаксических структур в связи с объе-

- мом информации // Инвариантные синтаксические значения и структура предложения. М., 1969. С. 175.
7. Миллер Дж. А. Магическое число семь плюс или минус два. О некоторых пределах нашей способности перерабатывать информацию // Инженерная психология. М., 1964.
  8. Калашикова Г. Ф. Факторы, определяющие протяженность сложного предложения // ФН. 1981. № 5. С. 37.
  9. Бендукидзе А. Д. Золотое сечение // Квант. 1973. № 8.
  10. Черемисина Н. В. Вопросы эстетики русской художественной речи. Киев, 1981
  11. БСЭ. Т. 9. М., 1972. С. 566.
  12. Соколов А. Тайны золотого сечения // Техника молодежи. 1978. № 5.
  13. Акимова Г. И. Уровни синтаксической иерархии как принцип развертывания предложения // Slavica slovac. 1974. № 1. С. 84.
  14. Уганов Г. П. Строение сложных полипредикативных предложений (основные понятия) // Сложные элементарные и полипредикативные предложения. Калинин, 1983. С. 102—103.

© 1991 г.

ХАЛИЛОВ М. Ш.

К ВОПРОСУ О ГРУЗИНСКО-ДАГЕСТАНСКИХ ЯЗЫКОВЫХ  
КОНТАКТАХ

(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)

Не приходится сомневаться в том, что Кавказ с его богатейшей этнической, культурной и языковой историей составляет в высшей степени интересный объект для изучения взаимодействия его языков. Несмотря на широкое признание этого обстоятельства (ср. [1]) и даже наличие отдельных публикаций соответствующего плана (ср. [2]), лингвоареальные исследования все еще не стали предметом целенаправленной работы кавказоведов. Между тем они существенно не только с собственно лингвистической точки зрения, но и с точки зрения культурно-исторической (достаточно напомнить, что Кавказ составлял в свое время периферию крупнейшего центра мировой цивилизации).

В условиях сильно пересеченного языкового ландшафта современного Кавказа естественно различать взаимодействие не только его автохтонных и неавтохтонных языков, но и внутригрупповое и межгрупповое взаимодействие автохтонных языков, имеющее особенно глубокие основания. Сейчас достаточно очевидно, что одну из важнейших задач кавказоведения в этом плане составляет выявление внутригрупповых и межгрупповых доминант [3, с. 178—179]. Среди последних наиболее значительное место принадлежит грузинскому языку, длительные ареальные контакты которого с другими языками Закавказья и Северного Кавказа оставили свои многочисленные следы.

Важно с самого начала подчеркнуть далеко не односторонний, а, как правило, обоюдный характер подобного языкового взаимодействия. И если, скажем, литературная форма того или иного доминантного языка может не содержать каких-либо включений из соседних, то его диалектные формы сплошь и рядом их имеют. Очень показательны, в частности, что грузинский язык уже с древнейшей поры знает подобные включения из соседних нахских и дагестанских языков (ср. др.-груз. *xe* «дерево» < нахск. *xe*, др.-груз. *q (r)dal* «кобыла» < нахск. *qadal*, др.-груз. *obol* «сирота» < авар., цез. *hobol* «гость, чужестранец» и др.).

Исходя из реальной картины межгруппового соприкосновения картвельских — и прежде всего грузинского — языков с их соседями, можно выделить четыре основных региона — абхазский, чечено-ингушский, цезский и южнолезгинский ареалы, хотя языковые контакты здесь происходили разновременно и имели неодинаковые экстралингвистические предпосылки. В целом для более отдаленного прошлого можно, по-видимому, наметить, по крайней мере в полосе горских грузинских диалектов, и действие фактора субстрата [4].

Политико-экономические и культурные связи картвелов и дагестанцев уходят далеко в их историческое прошлое. Начало грузинско-дагестанских контактов, видимо, можно отнести к первым векам нашей эры.

Наиболее ранние отрывочные сведения о них встречаем в античной и древнегрузинской традициях. Более тесные контакты с Грузией, особенно с восточной ее частью — Кахетией, поддерживали аварцы (анцухцы, закатальды), рутульцы, удины, цахурцы, цезы (дийдойцы). Однако эти взаимоотношения не были одинаковыми на всех этапах, они зависели от внутривосточного и внешнеполитического положения Дагестана и Грузии.

Наряду с экономическими и политическими связями эти народы поддерживали тесные культурные связи. Одним из элементов культурных связей между ними являются языковые контакты на разных уровнях.

Исследование иноязычной лексики важно не только для выявления словарного фонда, но и для решения проблемы социально-экономических связей их носителей, поскольку «заимствованная лексика является самым наглядным критерием исторических контактов язы в, отражающих эпохи культурного влияния того или иного народа» [5, с. 177]. Изучение заимствованной грузинской лексики в дагестанских языках и дагестанской в грузинском даст возможность сделать обстоятельные выводы в лингвистическом плане, в частности, выявить фонетические, морфологические адаптации и семантические переосмысления в заимствованиях, установить их примерные хронологические рамки и т. д. Постановке этой проблемы посвящена настоящая статья.

Проблема грузинско-дагестанских языковых контактов в кавказоведении освещена фрагментарно, в монографическом плане она еще не исследована. В работах И. В. Мегрелидзе [6], В. Г. Топурия [7], В. Н. Пачвидзе [8], Е. А. Бокарева [9], Ш. И. Микаилова [10], Т. Е. Гудава [11], С. М. Хайдакова [12], Е. Ф. Джейранишвили [13], Г. А. Климова [3, 14], Г. Х. Ибрагимова [15], О. А. Кахадзе [16] и др. в большей части затрагиваются вопросы лексических, иногда морфологических встреч и заимствований. На материале встреч между грузинским и дагестанскими языками вообще, а также грузинским и аварским, грузинским и лакским, грузинским и лезгинским, грузинским и цахурским, грузинским и цезскими и др., в частности, они уже ставились в науке. Отдельные аспекты фонетико-морфологического освоения заимствований и влияния грузинского языка на фонетику и морфологию некоторых дагестанских языков освещаются у Т. Е. Гудава [17], К. Ш. Микаилова и А. А. Ахмедова [18], Г. А. Климова и М. Ш. Халилова [19] и др. Этимологический анализ некоторых грузинизмов и дагестанизов, а также топонимы и микро-топонимы грузинского происхождения на географической карте Дагестана отражены в статьях Г. А. Климова [14], К. Ш. Микаилова [20, 21], М. Р. Гасанова [22], М. Ш. Халилова [23] и др. Однако подробного освещения грузинизмов в фонетико-морфологическом, семантическом плане не предпринималось, не выявлен также грузинский пласт в лексике дагестанских языков.

В истории грузинско-дагестанских контактов можно выделить два основных этапа взаимодействия — до и после XVII в. Если оставить в стороне заслуживающую специального рассмотрения гипотезу о нахско-дагестанской субстратной подоснове грузинских горских диалектов Восточной Грузии, существующую со времен Н. Я. Марра (ср. [24, с. 128—129]), то можно думать, что на первом этапе, особенно на начальной его стадии, контакты были слабыми. Влияние грузинской культуры усиливается в XI—XIII в., когда Грузия достигает высокого культурного, политического и экономического уровня развития. Второй этап (XVIII—XX вв.) отличается тем, что связи между обоими регионами становятся

более тесными и соответственно языковые контакты усиливаются. Этот период отличается интенсивностью взаимопроникновения лексических и других языковых единиц и большей степенью проникновения грузинских лексических элементов в дагестанские языки. Следует отметить, что, если в течение почти всей истории взаимоотношений языковые контакты в основном носили маргинальный характер, то в последнее столетие контакты были и интрарегиональными. На втором этапе нередко происходит повторное заимствование, теперь лексемы заимствуются из новогрузинского языка. А отдельные древние слова подвергаются и некоторым фонетическим и морфологическим изменениям, т. е. в дагестанских языках они стали произноситься близко к нормам новогрузинского языка.

Грузинский язык в отличие от дагестанских имеет богатую литературную традицию и широко использовался в XI—XV вв. на Кавказе. Дагестанцы, как и многие другие народы Северного Кавказа, не имевшие своей письменности, пользовались алфавитом соседних народов. Надписи, обнаруженные в Дагестане, служат доказательством использования грузинской письменности в Дагестане [25—27].

В течение всего этого периода истории языковых контактов в силу повседневных жизненных потребностей двуязычными были носители некоторых дагестанских языков. Факторами возникновения двуязычия в условиях Дагестана являлись: торгово-экономические связи, отходничество, чрезвычайное многоязычие, потребность межнационального общения и проникновение христианства в Западный Дагестан (XI—XIII вв.). Можно допустить, что грузинский язык в какой-то степени когда-то выполнял функцию языка межэтнического общения, например, между цезами (дидойцами); многие представители старшего поколения и в настоящее время знают грузинский язык. И поэтому вполне естественно, что именно в цезских языках налицо обилие грузинизмов.

Основной слой грузинизмов в дагестанских языках составляет лексика, заимствованная в более поздний период — новогрузинский (XVIII—XX вв.) — время самых интенсивных контактов. Однако некоторые из них восходят к эпохе древнегрузинского (V—XI вв.) или среднегрузинского (XII—XVII вв.) периодов. Ввиду отсутствия исторических письменных памятников по дагестанским литературным языкам, и тем более по многочисленным бесписьменным языкам, весьма трудно хотя бы приблизительно датировать их проникновение или дать глубокий всесторонний анализ этого сложного процесса. Однако можно установить некоторые хронологические рамки этих заимствований.

Отнесение некоторых грузинизмов к древнему или новому периоду возможно по фонетическим признакам. Фонема *q* была характерна для древнегрузинского языка. В ряде дагестанских грузинизмов она сохранилась: *wenaqi* «виноградник», *toqi* «мотыга», *gatoqna* «прополка» (бект., гуыз.) и т. д. Источником этих заимствований не является современный кахетинский диалект, с которым граничат цезские языки, так как в кахетинском, как и в современном литературном грузинском языке, отсутствует фонема *q*, хотя их источником мог быть и старокахетинский (она сохранилась преимущественно в горских диалектах грузинского языка, не соприкасающихся с дагестанскими).

Некоторые удинские грузинизмы хронологически можно отнести к более древнему периоду на основании того, что наиболее ранние заимствования из грузинского в удинском претерпели сильные фонетические изменения, так же, как, в частности, в нахских языках [5, с. 266]. Установить их примерную хронологию можно, связывая лингвистические факты

с экстралингвистическими (проникновение христианства, период расцвета Грузии, период жизни дагестанский диаспоры в Грузии и т. д.). Например, некоторые термины сельского хозяйства и животноводства, на наш взгляд, являются наиболее древними заимствованиями, поскольку картвеллы, как известно, издревле занимались земледелием и животноводством. Термины христианской религии вошли в некоторые цесские языки в период проникновения христианства в Западный Дагестан (XI—XIII вв.). В дагестанских языках несомненно существует немало древних заимствований из грузинского. Всесторонние исследования словарного фонда всех дагестанских языков дадут в этом плане богатый материал.

Вместе с тем налицо следы обратного влияния некоторых соседних дагестанских языков на грузинский, особенно на восточногрузинские диалекты. В грузинском их число значительно меньше. Добавим к ранее приведенным несколько новонайденных сопоставлений: *bitla* (хеверс.) «пятилетний тур» < *biPo* (цез.) «олень вообще» или же *tirkumeli* (груз.) «почка» (анатом.) < *turkun* // *durkun* (лезг.), *navveli* // *nayveli* (груз.) «жель» < *newu* (таб.), *na<sub>0</sub>* (лезг., рут.), *ne<sub>0</sub>* (агул.) и т. д. [16, с. 349].

Большинство заимствований в дагестанских языках являются контактными, вместе с тем встречаются и неконтактные. Из числа картвельских языков с дагестанскими контактировал грузинский, точнее, его кахетинский и, далее, инგიлойский диалекты (сведения Вахушти о том, что Сванетия распространялась некогда до Дидоэти, т. е. до страны цезов, нуждаются в проверке). Контактными являются заимствования в цесские, в анцухский и закатальский диалекты аварского языка, а также в рутульский, цахурский и удинский языки лезгинской группы. А к неконтактным относятся лексические элементы, проникшие в дагестанские и другие соседние языки и диалекты, не имевшие непосредственного соприкосновения, через посредство контактировавших языков. К неконтактным, видимо, можно отнести отдельные проникновения в чамалинском, багвалинском и тиндинском языках, вошедшие через чеченский или цесские языки, или грузинизмы закатальско-кахских говоров азербайджанского языка, проникшие, как правило, через посредство цахурского. Ср.: *zo<sub>ka</sub>* (багв.), *seku* (чам.), *ṣeku* (тинд.) «гриб»; *tiki* «бурдюк» (зак.-ках.) < *tikij* (цах.), *zapel* // *sepel* «бук» (зак.-ках.) < *çipel* (цах.), *siqij* (зак.-ках.) «суслик» < *ciqij* (цах.) «белка» и т. д.

Как известно, в дагестанских языках многочисленны заимствования из восточных языков: из арабского, иранских и тюркских. Время их проникновения разное. Одни из них заимствованы непосредственно из языка-источника, а другие опосредованно. Например, в цесские языки некоторые восточные лексические элементы вошли через посредство аварского или грузинского языков. Выделяются случаи, когда можно достоверно констатировать, что часть слов проникла через посредство грузинского. Ср.: *albal* «вишня», *birinži* «рис», *ṣaba<sub>ko</sub>* «поднос», *peranki* «комбинация (женская)», *bur<sub>yo</sub>* «сверло» и т. д. Подтверждением этому служит тот факт, что в аварском языке многие восточные заимствования представлены фонетически в более измененном облике, чем в грузинском. Грузинский язык оказался посредником при заимствовании из греческого (*nawi* «лодка», *hajri* «воздух»), латинского (*palo* «клин») и других языков.

В связи с установлением тесных взаимоотношений в XVIII в. между Россией и Грузией в грузинский язык проникают русизмы, которые в дальнейшем вошли и в отдельные дагестанские, нахские [5, с. 203; 28] и другие языки.

Не всегда легко определить, какие арабские, иранские, русские и тюрк-

ские элементы были заимствованы через грузинский язык. Еще более сложно отграничить цахурские грузинизмы от среднеперсидского и армянского материала. Как нам кажется, наиболее надежным критерием в этом плане может служить фонетический облик этих слов, который в грузинском подвергается специфической адаптации.

Грузинизмы входили в некоторые дагестанские языки не только с новыми понятиями и реалиями (ср. *pilpil* «перец», *simindi* «кукуруза», *boloki* «редис», *toqi* «мотыга» и др.). В ряде случаев они вытеснили некоторые лексемы исконно дагестанского происхождения, сохранившиеся в других языках Дагестана. Так, груз. *baba* (детск.) «хлеб» вытеснило в бежтинском и гунизбском языках исконное слово (ср. цез., гин. *magalu* «хлеб») или же груз. *loko* // *l'oko* вытеснило общеаварское *h<sub>oe</sub>* «собака» в кусурском диалекте аварского языка и т. д. В некоторых языках они наряду с исконными лексемами употребляются параллельно: *seku* // *duduq* // *sajtul taqi* (чам.) «гриб»; *bozi* // *hem* (бежт., гуыз., цез.) «столб»; *yud* // *kowzi* (анц.) «ложка металлическая» и т. д. Их можно квалифицировать как лексические проникновения.

Существенно отметить, что нередко одни и те же грузинские заимствования повторяются во множестве различных языков Кавказа — дагестанских [9, 10, 12, 15], нахских [5, 28, 28], осетинском [30, 31], абхазско-адыгских [32], карачаево-балкарском [33] и других.

Известно, что среди иноязычных слов особое место в количественном и качественном отношениях занимают лексические заимствования. Различаются три типа последних: слова, кальки и семантические заимствования. Все они характерны и для дагестанских грузинизмов. Чтобы показать, насколько глубокими и древними были контакты грузинского и некоторых дагестанских языков, проиллюстрируем их хотя бы коротко на конкретных фактах и материалах.

**Лексика.** В количественном отношении заимствованная грузинская лексика в дагестанских языках представлена неодинаково. В аваро-андо-цезской языковой группе она наиболее значительна в цезских, а именно в бежтинском, гунизбском языках и в анцузском диалекте аварского, а в лезгинской группе — в цахурском и удинском. Сравнительно малочисленна она в закатыльском диалекте аварского языка, гинухском, цезском и хваршинском языках, а также рутульском, лакском и некоторых других. В остальных языках и диалектах Дагестана случаи их фиксации единичны. В некоторых из них грузинизмы в настоящее время представляют собой замкнутый, почти не пополняющийся пласт лексики. Что же касается бежтинского, гунизбского, удинского, аварского языков, представленных на территории Грузии, то их лексика продолжает постоянно и интенсивно обогащаться за счет грузинизмов. Общее число последних и иноязычных слов, проникших в эти языки через грузинское посредство, составляет примерно 600 лексем.

Здесь почти нет такой отрасли лексики, которая не была бы пронизана соответствующими заимствованиями. Они охватывают самые разнообразные сферы человеческой деятельности, окружающего мира. Их условно можно группировать по ряду больших лексико-тематических разрядов: лексемы, связанные с человеком, животным и растительным миром, с животноводством и сельским хозяйством, а также с различными природными явлениями, религиозными и абстрактными понятиями, с домашним бытом, с общественно-политической жизнью, с названиями собственных имен, топонимов, микропонимов и этнонимов и т. д. Нами выявлено всего около пятидесяти лексико-тематических групп, в которых

число таких лексем составляет примерно от одного до трех десятков.

Не останавливаясь на тематической классификации, охарактеризуем бегло способы фонетико-морфологической адаптации, а также семантические сдвиги в дагестанских грузинизмах.

**Фонетическое освоение.** Одним из основных аспектов межъязыковых контактов является вопрос о фонетико-морфологическом освоении заимствованной лексики. Попав в дагестанские языки, она подвергается фонетической адаптации. В области вокализма здесь встречаются субституция гласных: *aklemi* «верблюду» > *aklamo* (гуниз.), *veli* «поле, равнина» > *wuli* (гин.), *wila* // *wulā* (цез.) «Грузия»; выпадение гласных: *mazati* «большая игла» > *mazat* (цах.) «мешочная игла», *γadari* «горящие угли» > *γadri* (бежт., сарус.); умлаутизация: *mačari* «молодое бродящее вино» > *māčāri* (удин.), *bači* «загон» > *bāči* (бежт.) «гурт овец»; уподобление гласных: *xerxi* «пила» > *zirix* (гин., цез.), *xerez* (хварш.); вставки гласных в консонантных комплексах: *mtieli* «горец» > *mutur(ar)* «грузины» (цах.), *qma* «раб» > *gema* (бежт.); назализация: *badrižani* «баклажаны» > *badrižā*; фарингализация: *tamaci* «храбрый» > *māmác* (цах.) «трус», *toqi* «мотыга» > *toqi* (цез.); редукция: *balīša* «подушка» > *b'liši* (тив.) 'соко «гриб» > *zko* (тив.) и т. д.

В области консонантизма представлены субституция сонорных и спирантов, наращение *h* и <sup>4</sup> на гласный анлаут слова, сохранение в некоторых дагестанских грузинизмах анлаутного *h* (*hangariši*, *hornu* и т. д.), отсутствующего в современном грузинском языке в указанных словах, что, видимо, можно объяснить еще и тем, что в памятниках XVI—XVIII вв. наблюдалось искусственное явление — употребление *h* перед гласными *e*, *a*, *o* [34]. Исхода из этого, можно предположить, что такие лексемы проникли в дагестанские языки именно в указанную эпоху: абруптивизация и деабруптивизация, аффрикатизация спирантов и смычных, деаффрикатизация (аффрикат, отсутствующих в фонологической системе), спирантизация, палатализация (при наличии палатализованных в системе), ассимиляция, метатеза, аферизис, выпадение инлаутного согласного в консонантном комплексе, вставка согласного, геминация.

Для некоторых диалектов цахурского и цезского языков в конце слова характерен закрытый тип слога, и поэтому почти во всех грузинизмах или усекается ауслаутный вокал [*birdabiri* «поперечная пила» > *girdabil*, *degerani* «коридор» > *darapan* (цах.)], или к конечному гласному добавляются со гласные *j* (чаще) и *g*, *w*, *h* (реже): *bofi* «козел» > *bofi j* (цах.), *čika* «зеркало» > *čikaj* (цез.), *tarazo* «балансир» > *tarazug* (цах.), *samare* «могила» > *samarew* (цах.). Появление ауслаутного *j* во многих случаях, видимо, можно объяснить как аналогию остаточному элементу окаменелого классного показателя, сохраняющемуся в исконных словах, характерному для многих дагестанских языков (в этих и других цахурских грузинизмах Г. Х. Ибрагимов ауслаутные элементы *-aj* // *-ij* // *-raj* выделяет как словообразовательные суффиксы [35]). Однако думается, что пока нет достаточных оснований отказываться и от другой версии: *j* в них представляет собой элемент облика древнегрузинского слова.

В дагестанских грузинизмах налицо многочисленные фонетические изменения комбинаторного характера: а) выпадение слогов или группы слогов в анлауте, инлауте и ауслауте: *akvani* «люлька» > *ačo* (бежт.), *lečaki* «вуаль» > *čaki* (тив.), *čiapəri* «пушистый цвет» > *čija* (гуниз.) «краситель»; б) требующее своего объяснения наращение слогов или группы слогов в инлауте и ауслауте: *ixvi* «утка» > *ixuraq* (цез.), *neči* «мизинец» > *načila* // *lačila* (гин., цох.) и т. д.

**Морфологическое освоение.** Основную массу грузинизмов составляют простые слова. Встречаются и сложные слова, где оба компонента грузинские: *pezburti* «футбол» (бежт.), *ᵛeyi-čiri* «сухофрукты» (гуиз.), *baḡistaw* «овцевод» (цах.) и др. На дагестанской почве образуются композиты, где один из компонентов является грузинизмом: *gadaḡa-muḡo* «большой гвоздь», *daḡura jowal* «испортить». Грузинские лексические элементы выступают в качестве опорных основ при образовании прилагательных (бежт. *gemojab* «вкусный» < *gemo* «вкус», авар. *ḡabullērab* «каштановый» < < *ḡabli* «каштан»), глаголов (анц. *gelexzi* «становиться грязным» < *gelexab* «грязный» < *glexi* «крестьянин»), существительных (*mizezi* «причина» > бежт. *mezlagi*, цез. *mezlamo* «капризник»).

Все грузинизмы — субстантивы, прилагательные, числительные — в дагестанских языках склоняются по падежам и подчиняются грамматической категории числа.

В распределении заимствованных имен существительных по грамматическим классам не видно какого-либо критерия за исключением лексем первых двух классов. Дагестанские грузинизмы представлены по всем именным классам, многие из них наличествуют в III и IV классах, а некоторая часть, например, в гуизибском — в V кл. Основным принципом их распределения является семантическая аналогия. Весьма интересна маркировка классными показателями отдельных заимствованных имен в некоторых диалектах аварского языка: *-aw* (I кл.), *-aj* (II кл.), *-ab* (III кл.). В некоторых дагестанских языках новейшие грузинизмы пока еще не закрепились ни в одном классе, они занимают нейтральную позицию и могут включаться то в III, то в IV класс.

В диалектах аварского языка встречаются грузинизмы, оформленные элементами *-(i)b*, *j-ab*: *wazib* (кусур.), *wazijab* (чад.) «виноградная лоза», *baḡib* (кусур.) «сад», *indorijab* (чад.) «индюк», *ḡisrijab* (кусур.) «большой деревянный сосуд для молока и сыпучих тел» и др. Как отмечает И. А. Исаков, лексемы *wazib* «виноградная лоза» и *baḡib* «сад» в кусурском диалекте аварского языка [36] оформлены классным показателем *-ib* (видимо, в этих и некоторых других лексемах в качестве классного показателя следует выделить *-b*, а не *-ib*). К. Ш. Михайлов пишет, что «аварцы стали оформлять каждое назывное слово специальным аффиксом. Им послужило, как и в грузинском, местоимение *-aw* (I гр. кл.), *-aj* (II гр. кл.), *-ab*, *-ib* (III гр. кл.) „этот, эта, это“» [37]. Возможно, к грузинизмам в староаварском языке присоединили классные показатели *-ab*, *-ib* (III гр. кл.), например: *vazi* > *wazij* + *ab* → *wazijab* (чад.) «виноградная лоза», *indauri* > *indorij* + *ab* → *indorijab* (чад.) «индюк», *ḡasri* > > *ḡisrij* + *ab* → *ḡisrijab* (кусур.) «большой деревянный сосуд для молока и сыпучих тел». В кусурский диалект и чадаколовский говор анцухского диалекта аварского языка эти лексемы, видимо, проникли через иное языковое посредство, например, в кусурский через цахурский язык, а затем стали оформляться классными показателями по законам аварской морфологической системы. Чем же объяснить, что в кусурском диалекте в одном случае появляется классный показатель *-b*, а в другом *-ab* // *-ib* (*vazi* > *wazib*, *baḡi* > *baḡib*, но *ḡasri* > *ḡisrijab*)? Как нам кажется, KII *-ab* присоединен к грузинизму, заимствованному через цахурское языковое посредство, где он представлен формой *ḡasrij* «мерка для сыпучих тел (32 кг)». А чадаколовские *wazijab*, *indorijab*, возможно, проникли в указанный говор через посредство закатола-кахских говоров азербайджанского языка, в которые в свою очередь вошли из цахурского языка [38] или из ингилойского диалекта грузинского [39]. Кусурские формы

*wazib* (<*vazi*) «виноградная лоза», *bayib* (<*bayi*) «сад» заимствованы из грузинского, и поэтому они оформлены КП -b.

Среди знаменательных частей речи основную массу составляют имена существительные, далее следуют глаголы, прилагательные, наречия и числительные, а среди служебных слов — союзы, частицы и междометия. (И. В. Мегрелидзе отмечает особый грузинский счет по шестеркам, который применяется цезами преимущественно при игре в чикика [40].)

На основе детального анализа заимствованной грузинской лексики в дагестанских языках и дагестанской в грузинском возможно сделать широкие выводы фонетико-морфологического характера. Однако, как отмечает И. Ю. Алироев, — «при фонетико-морфологическом анализе заимствованной лексики необходимо учитывать уровень исследования рассматриваемых языков, особенно в его исторической части. Сегодня мы можем говорить о фонетико-морфологическом облике рассматриваемых лексем, исходя в основном из их современной формы, не имея возможности делать глубокие исторические экскурсы из-за отсутствия письменных памятников...» [5, с. 199].

**Семантические сдвиги.** В семантическом плане для дагестанских грузинизмов характерны процессы сдвига, расширения и сужения исторического значения лексем. Семантические переосмысления (изменения) разграничены в следующем плане — полное изменение значения: *arxeinad* «спокойно» > *arxijanat* (бект.) «надолго»; частичное изменение значения: *bozi* «столб» > *bozi* (гин.) «жердь»; полное изменение с расширением значения: *bolo* «хвост» > *bolo* (бект.) а) «ряд, линия», б) «лед»; полное изменение с частичным сужением значения слова: *burdo* «обмолот, остатки зерна (проса) после обмолота» > *burdo* (гуыз., тляд.) «скирда»; расширение значения лексем — их можно разбить на синонимические: *arxi* «канал» > *arxi* (цез.) «канал, яма» и омофонические: *γala* «оброк» > *γala* (бект., гуыз.) а) добро, богатство, б) нектар, в) жировой слой в области живота. Налицо также случаи, в которых произошло сужение значения слов: *çaça* а) виноградные выжимки, б) водка из этих выжимок > *çaça* (авар.-анд.-цез.) «водка, самогон», *cize* «крепость, тюрьма» > *cizej* // *cixij* // *cexej* (цах.) «крепость».

Представляется весьма интересным выявление грузинско-дагестанских семантических схождений (параллелей), не ставшее пока объектом исследования. Разработка этой проблемы затруднена, так как отсутствуют полные толковые словари, даже по дагестанским литературным языкам, не говоря уже об отсутствии переводно-толковых словарей по многочисленным бесписьменным.

Наряду с простыми лексемами из грузинского языка заимствованы отдельные поговорки и пословицы, а также сложные и составные образования: *topis camali* «порох» > *topilos camali* (гуыз.), *topilas camali* (бект.); *abrešumis kaba* «шелковое платье» > *arbašulis kaba* (тляд.). Большинство из них калькировано, а некоторая часть употребляется в полукалькированном (гибридном) виде. Ср.: *aguris peri* «кирничный цвет» — *agurijas bej* (бект., гуыз.), *zelismočera* «подпись» — *kō(koro) čaxijol'i* (*čaxerl'i*) (бект., гуыз.); *dčevandeli kvereci žobia xvalimdel katams* «чем завтрашняя курица, лучше сегодняшнее яйцо» — *xisala güdγü žejšas cemuc bižes* (бект.), *xizorzo onočal'a, adersi keneč jigü* (цез.). В некоторых случаях пословицы и поговорки не калькированы и употребляются в речи как в языке-источнике, например: *marti morča dardi morča* (гуыз. > бект.) «март прошел, зимние заботы прошли». Много общего в грузинском и дагестанских языках в образовании моделей фразеологических и других оборотов речи.

Ср. груз. и бежт.: *walis gamoqeba* — *hāj jaqal* «выколоть глаза» (букв. «вынуть глаз»), *salamis aqeba* — *salam bozal* «отвечать на приветствие» (букв. «взять привет»), *korçilis kna* — *bejten jowal* «сыграть свадьбу» (букв. «делать свадьбу») и т. д.

Грузинизмы выступают в качестве синонимов и омонимов к исконным лексемам. Так, в бежтинском синонимичный ряд нередко составляют слова из разных языков: *keqe* — *qobzi* (груз. — груз.) «ложка», *bozi* — *hem* (груз. — бежт.) «столб», *raço* — *razas* (груз. — авар.) «цепь», *sabani* — *joyan* — *adijal* (груз. — тюрк. — русск.) «одеяло», *aguri* — *kirpiç* (груз. — русск.). Ср. омонимы: *çala* «солома» — *çala* «камыш» — *çala* «елсточка», *topi* «ружье» — *top(i)* «кипа чего-л.», *qaba* «платье» — *qaba* «лысая голова» и др.

Вопрос о фонетико-морфологическом воздействии грузинского языка на некоторые дагестанские языки представляется весьма важным и интересным, хотя и остается малонисследованным. В отличие от лексики в области фонетики и морфологии это воздействие незначительно. А в синтаксисе оно еще менее ощутимо или вообще отсутствует. Синтаксис в этом плане является более устойчивым, менее проницаемым.

В области фонетики можно отметить следующие явления: 1) утрата усиленных звуков в цезских языках, видимо, под влиянием грузинского языка [17, с. 25]; 2) появление нехарактерного в целом для аваро-андийских языков вторичного абруптивного *p* в анцухском диалекте аварского языка и цезских языках и соответственно образование, как в грузинском, трюичной системы взрывных — *b*, *p*, *p*; 3) в некоторых дагестанских языках под влиянием грузинского языка появляются смычно-гортанные *p*, *t*, *k*; 4) «положение о том, что в результате длительного контакта фонетические системы соседних языков независимо от того, являются ли они родственными или нет, имеют тенденцию сближения друг с другом, является твердо установленным фактом» [41]. И, соответственно, отсутствие *h* в бежтинском говоре, видимо, можно объяснить на основании длительных и особо тесных контактов собственно бежтинцев с грузинами. В настоящее время в бежтинском говоре ларингальный *h* является фонемой повышенной частотности, соответствующей ларингальным *h* и *h* родственных языков, а *h* исчезла из фонетической системы; 5) аварцы (бежтинцы, гунаибцы и анцухцы), живущие вот уже более ста лет в Грузии, особенно молодое поколение, знающие хорошо грузинский язык, часто произносят грузинские звуки, отсутствующие в фонетической системе бежтинского, гунаибского и анцухского диалектов аварского языка (например, аффрикаты *z*, *z*), лабиализованные согласные *k<sub>0</sub>*, *x<sub>0</sub>*, *š<sub>0</sub>* и т. д., а также сохраняют в словах комплексы согласных.

В области морфологии также можно отметить некоторые следы былого воздействия грузинского языка на цезские. 1) Можно предположить, что под влиянием грузинского в глядальском говоре бежтинского языка произошло стяжение инфлута в глаголах и существительных: *ōqona gej // geli* → *ōqonaj* «пришел», *učitel gej // geli* → *učiteli* «учитель есть». Ср. груз. *kalaki aris* → *kalakia* «город есть». 2) При склонении личных местоимений обоих чисел совпадают формы им. и эрг. падежей в бежтинском, гунаибском, анцухском и цезском языках. Такое явление характерно для грузинского. В хваршинском, не имевшем непосредственного контакта с грузинским, формы им. и эрг. падежей дифференцированы [18, с. 268—269]. 3) Отсутствие категории эксклюзива-инклюзива в цезских языках может быть в какой-то мере объяснено воздействием грузинского языка, где эта категория также отсутствует. 4) Едва ли можно объяснить случайностью

совпадение формантов условного наклонения (с условным значением) *-da* (бежт.), *-do* (гуыз.) и груз., например: *ēl'e-da*, *ēl'e-do*, *midis-da* «если идет». Или совпадение формы настоящего времени и действительной формы в грузинском и в некоторых цезских языках (формант *-s*): *co'o-s* (бежт.), *čov-s* (груз.), *ç-un-s* (мегр.) «сосет». 5) Образование некоторых сложных слов и повторов по аналогии с грузинской нормой. 6) Заимствование словообразовательных аффиксов (*-iki*, *-ni*). Все эти вопросы, изложенные здесь в тезисном плане, требуют своего конкретного освещения и большей аргументации.

Думается, таким образом, что перед исследователями очерченной здесь проблематики открывается обширное поле деятельности. По существу перед нами одно из важнейших направлений лингвоареального исследования на Кавказе, которое должно пролить свет на вопрос о существовании языкового союза в пределах этого региона. Имеются основания предполагать, что некоторые из результатов контактного взаимодействия языков представят определенный интерес для теории ареальной лингвистики. Вполне очевидна ценность этого материала и в плане возможности целого ряда выводов экстралингвистического порядка.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Церетели Г. В.* О теории сонантов и аблаута в картвельских языках // Гамкредидзе Т. В., Мачавариани Г. И. Система сонантов и аблаут в картвельских языках: Типология общекартвельской структуры. Тбилиси, 1965. С. 049.
2. *Iob D. M.* Probleme eines typologischen Vergleichs überkaukasischer und indogermanischer Phonemsysteme im Kaukasus. Frankfurt/M.; Bern, 1977.
3. *Климов Г. А.* Введение в кавказское языкознание. М., 1986.
4. *Утургадзе Ф. Г.* Некоторые особенности горских говоров грузинского языка. Тбилиси, 1966 (на груз. яз.).
5. *Алироев И. Ю.* Нахские языки и культура. Грозный, 1978.
6. *Мегрелидзе И. В.* Из дидойско-грузинских языковых взаимоотношений // За марксистское языкознание. Тбилиси, 1934. С. 165—184 (на груз. яз.).
7. *Топурия В. Г.* Лексические и грамматические параллели между картвельскими и ласкскими языками // Тез. науч. сессии. Отдел общественных наук АН ГрузССР. Тбилиси, 1941. С. 15—16 (на груз. яз.).
8. *Пачкеидзе В. И.* Морфологические встречи удинского языка с грузинско-картвельскими языками // ИКЯ. Т. I. 1946 (на груз. яз.).
9. *Бокарев Е. А.* Цезские (дидойские) языки Дагестана. М., 1959.
10. *Михаилов Ш. И.* Очерки аварской диалектологии. М., 1959.
11. *Гудава Т. Е.* О лексических встречах между грузинским и аварским языками // Сообщ. АН ГрузССР. 1954. Т. XV. № 10 (на груз. яз.).
12. *Хайдаков С. М.* Сравнительно-сопоставительный словарь дагестанских языков. М., 1973.
13. *Джейраншивили Е. Ф.* Удийский язык (Грамматика. Хрестоматия. Словарь). Тбилиси, 1971 (на груз. яз.).
14. *Климов Г. А.* О некоторых словарных общностях картвельских и нахско-дагестанских языков // Этимология. 1970. М., 1970.
15. *Ибрагимов Г. Х.* Цахурско-грузинские лексические параллели // Материалы пятой региональной научной сессии по историко-сравнительному изучению иберийско-кавказских языков. Орджоникидзе, 1977.
16. *Какадзе О. А.* Грузинско-лезгинские лексические встречи // ЕИКЯ. 1988. Т. XV.
17. *Гудава Т. Е.* Историко-сравнительный анализ консонантизма дидойских языков. Тбилиси, 1979.
18. *Михаилов К. Ш., Агмедов А. А.* О некоторых разрядах местоимений в гинухском языке // ЕИКЯ. 1983. Т. X.
19. *Klitow G., Chalilow M.* Über georgische Lehnwörter in der Beshitnischen Sprache // Georgica. Hf. X. Jena; Tbilissi, 1987.
20. *Михаилов К. Ш.* Несколько грузинских этимологий (заимствованный фонд) // Материалы пятой региональной научной сессии по историко-сравнительному изучению иберийско-кавказских языков. Орджоникидзе, 1977.
21. *Михаилов К. Ш.* Грузинские названия на географической карте Дагестана //

- Тез. докл. конф., посвященной 20-летию со дня организации Дагестанского филиала ГО СССР. Махачкала, 1979.
22. *Гасанов М. Р.* Топонимические названия как результат связей Дагестана и Грузии // Тез. докл. конф., посвященной итогам географических исследований в Дагестане. Махачкала, 1986.
  23. *Халилов М. Ш.* Бежтинские топонимы для обозначения Грузии // Тез. докл. конф., посвященной итогам географических исследований в Дагестане. Вып. XIII. Махачкала, 1981.
  24. *Меликишвили Г. А.* К истории древней Грузии. Тбилиси, 1959.
  25. *Чикобава А. С., Гудава Т. Е.* Грузинско-аварская надпись XIV в. из Дагестана // Сообщ. Груз. филиала АН СССР. 1940. Т. I. № 4.
  26. *Гудава Т. Е.* Две надписи (грузинская, грузинско-аварская) из Дагестана // Материалы по истории Грузии и Кавказа. Вып. 30. Тбилиси, 1954.
  27. *Мурадян Г. М.* Грузинская эпиграфика Армении: историко-лингвистическое исследование. Ч. I—II. Ереван, 1977.
  28. *Дешериев Ю. Д.* Вацбийский язык. М., 1953. С. 338.
  29. *Алироев И. А.* Сравнительно-сопоставительный словарь отраслевой лексики чеченского и ингушского языков и диалектов. Махачкала, 1975.
  30. *Тезов Ф. Г.* Кавказский слой в терминах растений в осетинском языке // Материалы пятой региональной научной сессии по историко-сравнительному изучению иберийско-кавказских языков. Орджоникидзе, 1977.
  31. *Тедеева О. Г.* Очерки по грузино-осетинским языковым взаимоотношениям. Тбилиси, 1983. С. 199—226.
  32. *Шагиров А. К.* Заимствованная лексика абхазо-адыгских языков. М., 1989. С. 139—153.
  33. *Хабичев М. А.* Взаимовлияние языков народов Западного Кавказа. Черкесск, 1980.
  34. *Кастарадзе И. И.* История грузинского языка. Т. I (XII—XVIII вв.). Тбилиси, 1964. С. 387 (на груз. яз.).
  35. *Ибрагимов Г. Х.* Диалекты цахурского языка (рукопись) // Рукон. фонд ИИЯЛ Даг. филиала АН СССР. Оп. 4. С. 194, 195, 198.
  36. *Исаков И. А.* Иноязычный элемент в куурском говоре аварского языка // Материалы пятой региональной научной сессии по историко-сравнительному изучению иберийско-кавказских языков. Орджоникидзе, 1977. С. 167.
  37. *Микаилов К. Ш.* О маркированном Nominativ'e в староаварском языке // Падежный состав и система склонения в кавказских языках. Махачкала, 1987. С. 162.
  38. *Асланов А. М.* Взаимодействие азербайджанского языка с другими языками на территории Азербайджанской ССР: Автореф. дис... докт. филол. наук. Баку, 1982. С. 40.
  39. *Джамгидзе В. Г.* Грузинские лексические элементы в дманисском говоре азербайджанского языка // Тр. Ин-та языкознания АН ГрузССР. Сер. восточных языков. 1957. Т. 2. С. 241—242.
  40. *Мегрелидзе И. В.* Числительные дидойского языка // Тр. Цхинвальского гос. пед. ин-та. 1955. Т. II. С. 222.
  41. *Гринберг Дж.* Изучение языковых контактов в Африке // Новое в лингвистике. Вып. V. М., 1972. С. 133.

© 1991 г.

ШУТОВА Е. И.

СИСТЕМА ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО  
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА

«Члены предложения» — одно из центральных понятий грамматической теории. Оно было введено в языкознание для обозначения грамматических категорий, несущих в своем содержании обобщающие черты структурной организации предложения, и широко используется в таком качестве в исследовательской практике описания языка, а также в практике обучения языку. Однако в представлениях многих ученых современности понятие членов предложения теряет значимость плодотворного инструмента синтаксического анализа или же члены предложения трактуются чисто схоластически, как некие неопределяемые, содержательно опустошенные «примитивы», наблюдаемые на уровне «поверхностной» структуры предложения.

Тем не менее термин «члены предложения» продолжает свою жизнь в науке, не найдя адекватной альтернативы в надлежащем лингвистическом понятии и служа источником неослабевающего интереса ученых к проблеме <sup>1</sup>.

Главной особенностью традиционного учения о членах предложения и причиной его неувыдаемой жизнестойкости является представление о членах предложения как о с е м а н т и ч е с к и х з н а ч и м ы х грамматических (синтаксических) категориях языка.

Сложившись на базе индоевропейских языков с их широко развитой морфологией, это учение имеет морфолого-семантический характер. В его основе лежит идея фундаментального соответствия между членами предложения и частями речи <sup>2</sup>, идея зависимости грамма-

<sup>1</sup> В наши дни на передний план оказалась выдвинутой проблема подлежащего, что несомненно связано с понятием «актуальное членение», властно вошедшим в литературу последних десятилетий и вызвавшим к жизни проблемы типа «синтаксическое членение — актуальное членение», «подлежащее — толик», «подлежащее — данное» и т. п., см. [1—8].

<sup>2</sup> Сошлемся в этой связи на следующее утверждение В. Г. Гака, весьма точно эксплицирующее сущность традиционной трактовки членов предложения: «Между частями речи и членами предложения существует фундаментальное соответствие: каждая часть речи в качестве первичной функции играет роль определенного члена предложения и, наоборот, каждый член предложения выражается прежде всего определенной частью речи. Существительное, таким образом, играет, в первую очередь, роль подлежащего, субстантивного обстоятельства, личная форма глагола — сказуемого, прилагательное — определения, наречие — обстоятельства образа действия» [9, с. 79].

Заметим, что идея фундаментального соответствия между членами предложения и частями речи как одно из центральных представлений традиционного европейского языкознания была четко осознана и положена в основу грамматического описания китайского языка автором первой в Китае грамматики современного языка Ли Цзиньси [10], выдержавшей с 1924 г. до 25 изданий и оказавшей большое влияние на развитие грамматической мысли китайских ученых. В 1956 г. в дискуссии по поводу частой речи в китайском языке Ли Цзиньси формулирует эту идею буквально следующим

тического содержания членов предложения от семантико-реляционных значений соответствующих категорий слов. Установленные на этом основании четыре типа семантико-реляционных отношений — субъектный (подлежащее), объектный (дополнение), атрибутивный (определение), обстоятельственный (обстоятельство) [12, 13] — традицией принимаются в качестве универсальных концептов, составляющих основу грамматического содержания членов предложения в различных языках и по соотношению с которыми элементы языковой формы определенного языка рассматриваются как знаки внешнего выражения.

Отождествление универсальных, базирующихся на реляционных значениях определенных частей речи, категорий реляционной семантики и членов предложения — определяющая черта, смысловое ядро традиционного учения о членах предложения.

В таком качестве это учение не несет в себе удовлетворительного объяснения сущности языковой специфики синтаксической и частеречной семантики и формы, характера соотношения универсального и национально-специфического начал в структуре грамматического содержания категорий членов предложения, что является источником нескончаемых сомнений, поисков, зигзагов в этой области научного знания.

Нетрадиционные грамматические концепции (главным образом, порождающе-трансформационного толка, но — не только), прокламируя многоуровневый характер строения предложения, выделили семантику в отдельный, самостоятельный уровень, что имело два важных следствия.

С одной стороны, обособление семантики привело к развитию научных представлений, разводящих универсальные категории реляционной семантики и категории членов предложения (например, научные представления, восходящие к идее синтаксических и семантических актантов Теньера [14], или — к надежной грамматике Ч. Филлмора [15, 16], разграничивающей семантические роли существительного и члены предложения, или же — к трехуровневой (семантика, грамматика, актуальное членение) трактовке предложения Фр. Данешем [17]). В этом позитивный научный смысл нетрадиционных концепций, способствующий преодолению традиционного семантизма (универсализма) и морфологизма в трактовке сущности категорий членов предложения.

Однако, с другой стороны, выделение семантики в самостоятельный уровень привело к противопоставлению синтаксиса и семантики и тем самым к опустошению, выхолащиванию содержания категорий членов предложения, превращению их в эксплицитно не определяемые «примитивы» [18—20]. Отрицательный научный смысл этих результатов слишком велик, чтобы не считать их очередным зигзагом, который сделала наука на своем трудном пути к истине.

Китаеведение дает примеры применения к китайскому синтаксису различных подходов и методов, получивших распространение в языкознании. Это и традиционный метод синтаксического анализа по членам предложения, и анализ по непосредственно составляющим, и, наконец, анализ с позиций трансформационно-порождающей грамматики. Каждый из подходов акцентирует внимание на тех или иных сторонах изучаемого объекта, однако необходимыми категориями синтаксического анализа остаются категории членов предложения, какой бы вес они ни имели в тех или иных подходах, в тех или иных концепциях синтаксиса.

образом: «...структурные части предложения (т. е. члены предложения) находятся в фундаментальном соответствии с частями речи (...*shí gen ge lei-de cír jiben-de faying de*) [11, с. 28].

Определяющей чертой современных научных представлений китайских ученых, прошедших сложный путь развития в направлении коррекции традиционной системы членов предложения применительно к фактам китайского языка, является разведение универсальных категорий реляционной семантики и категорий членов предложения<sup>3</sup>, что лежит в русле позитивных научных достижений мировой лингвистики в области синтаксиса (см. выше). Так, с точки зрения Люй Шусяня, одного из ведущих китайских ученых, субъектно-объектные отношения не могут являться основанием для разграничения синтаксических категорий подлежащего и дополнения; по его мнению, «...теория, согласно которой подлежащее — это субъект, а дополнение — объект, полностью утратила почву под ногами» [21, с. 72]. Китайские ученые допускают совместимость синтаксической категории подлежащего с семантико-реляционными категориями типа объект, место, время, а категории дополнения — с семантико-реляционными категориями типа субъект действия, цель, направление. Допускается совместимость синтаксической категории обстоятельство с семантико-реляционной категорией объекта [22—26]. Вместе с тем было бы преждевременным говорить о решении китайскими учеными проблемы членов предложения с позиции каких-либо отличных от традиционных, эксплицитно сформулированных принципиальных оснований.

В нашей работе был избран путь к синтаксической системе китайского языка через теоретическое обоснование модели функционирования языка и порождения речи-мысли, отвечающей характеру речевого употребления языка говорящим<sup>4</sup>. Итогом явились две монографии [30, 31], в которых представлено последовательное рассмотрение и истолкование комплекса принципиальных вопросов синтаксической теории и на этой основе — полное описание синтаксической системы современного китайского языка. В данной статье вниманию научной общественности предлагается концентрированное изложение обосновываемой синтаксической концепции.

Согласно принятой модели речевого употребления, исходной точкой и глубиной основой использования языка является система значений определенного языка, характеризующихся такими свойствами, как: 1) понятность, 2) знаковость (способность служить основой обозначения, названия), 3) формальность (связь с определенным означающим — производное от знаковости), 4) дифференциальность (зависимость от системы означающих или формальных способов определенного языка).

Языковая форма входит в речь через значение. Система языковых значений определенного языка есть тот императив, который заставляет говорящего отливать свою мысль в определенную форму. Употребление элементов языковой формы в конкретном предложении не имеет (как можно думать из распространенных в литературе представлений) своей целью выражение тех или иных языковых значений. Цель — в выражении конкретного смысла предложения, формируемого за счет использования определенных языковых значений, избираемых в конкретном речевом акте на основе языкового мышления говорящего, интерпретирующего

<sup>3</sup> Советские и европейские китаеведы в основном, хотя и здесь имеется немало отступлений, придерживаются традиционных представлений о членах предложения.

<sup>4</sup> Как представляется, истоки неудач (ограниченности объяснительных возможностей) генеративного синтаксиса лежат в несоответствии между моделью порождения речи, принимаемой в этом лингвистическом направлении в качестве инструмента исследования (трактовка механизма порождения как преобразования одних структур в другие), и моделью реального речевого употребления языка говорящим. Об этом несоответствии недвусмысленно в свое время было сказано Н. Хомским [27, с. 129—130]. Это является очевидным и для других ученых [28, с. 365; 29, с. 37].

соответствующий предмет языковой коммуникации<sup>5</sup> под углом зрения системы языковых значений конкретного языка.

Для целей данной статьи важно подчеркнуть следующее.

1. Назначение синтаксиса как определенного уровня языковой системы состоит в формальной организации предложения (основного синтаксического объекта) и передаваемой им мысли. Последняя (формальная организация) складывается из двух формальных приемов — 1) *с т р у к т у р н о г о* (деление целого на части и объединение частей в целое) и 2) *н е с т р у к т у р н о г о* (оформление предложения как синтаксического целого: указание на а) цель высказывания — разграничение коммуникативных типов предложения, б) информативный центр или центры предложения посредством фразового или логического ударения)<sup>6</sup>.

2. Первичной, изначальной, категорией структурного синтаксиса является категория синтаксической связи. Синтаксическая связь образуется двумя взаимообусловленными типами содержательных признаков — 1) семантико-реляционными (типа субъект, объект, место и т. п.), 2) функционально-коммуникативными, указывающими на определенную цель в ую направленность тех или иных семантико-реляционных отношений. Целенаправленный характер синтаксической связи дает начало понятию синтаксической функции.

3. Синтаксическая связь получает воплощение в синтагме — структурно-смысловом целом, отражающем в своем строении характер упорядоченности исходных элементов построения предложения (слов и их лексических эквивалентов) на линии речевой цепи. Синтагма, взятая в оптимальном — необходимом и достаточном — наборе исходных элементов — это базисная структурная ячейка, молекула синтаксиса, элементарная и всеобщая единица структурно-синтаксической организации.

4. Основополагающей дифференциацией структурного синтаксиса является оппозиция предикативности (отношение «субъект — предикат», детерминируемое категорией объективной модальности, или категорией утверждения) — подчинительность (отношение «центральный компонент — зависимый компонент», детерминируемое потребностью уточнения, пояснения одного элемента посредством другого), имеющая своим основанием определенные, общие для различных языков различия в ф у н к ц и о н а л ь н о - к о м м у н и к а т и в н о м аспекте содержания категории синтаксической связи, что имплицитно определяет общность строения предикативных и подчинительных синтагм в различных языках. Предикативная связь, реализуемая в составе предикативной синтагмы, дает начало двум структурно-функциональным позициям предложения, двум — главным — членам предложения; подчинительная — одной структурно-функциональной позиции, одному — второстепенному — члену предложения.

5. Внутреннее деление на виды (парадигматическая стратификация) категорий предикативной и подчинительной связей имеет национально-специфический характер, определяясь различиями в характере формального устройства предикативных и подчинительных синтагм в различных

<sup>5</sup> Под предметом языковой коммуникации имеется в виду конкретная речевая ситуация, отвечающая данному познавательному, или информативному, смыслу.

<sup>6</sup> Различение структурного и неструктурного приемов формальной организации предложения не адекватно тому, что в литературе принято называть грамматическим (синтаксическим) и актуальным членением предложения: оба приема представляют собой синтаксический факт. Что касается так называемого «актуального членения», то оно включает в свое содержание как структурные, так и неструктурные факторы синтаксической организации предложения.

языках и соответствующих им различий в семантико-реляционных основаниях деления.

6. Категории членов предложения обобщают и синтезируют по функции те разнообразные синтаксические отношения, которые складываются между компонентами синтагм; вместе с тем категории членов предложения включают в свое содержание и такой аспект, который связан с комбинацией синтагм в структуре целого.

Итак, члены предложения не есть первичные, изначальные категории структурного синтаксиса. Это обобщенные структурно-функциональные категории, являющие собой производное от системы синтагм данного языка (гесп. от характера парадигматической стратификации категории синтаксической связи в данном языке) и закономерностей их комбинации в составе предложения как синтаксического целого. Отсюда путь к системе членов предложения определенного языка лежит через анализ присущей ему системы синтагм.

Подчеркнем следующее. Постулируемые теория и метод синтаксического анализа предполагают отказ от ряда стереотипов традиционного грамматического мышления, таких, как 1) номинативизм в трактовке подлежащего<sup>7</sup> и другие проявления морфологизма в трактовке синтаксических явлений (например, представление о дополнении как о члене предложения, который может быть выражен только существительным, или, скажем, о наречии, которое может быть только обстоятельством, и т. п.), 2) универсализм в трактовке грамматически значимых семантических оснований деления категории синтаксической связи на виды и соответственно универсализм в трактовке известных науке семантико-реляционных понятий, 3) искусственное, с точки зрения представления о предложении как е д и н о м синтаксическом объекте, противопоставление синтаксического и актуального членений (речь может идти лишь о различных, но взаимообусловленных аспектах синтаксического содержания предложения — семантико-реляционном и функционально-коммуникативном).

Анализ китайского синтаксиса с указанных выше теоретических позиций дал следующие основные результаты.

Системная организация континуума (суперкласса) китайских синтагм, присущие ей закономерности обобщения и разграничения синтаксических значений имеют в качестве своей первоосновы использование в сфере подчинения и предикации двух функциональных типов синтаксических средств:

1) прямой функциональной ориентации, непосредственно направленных на оформление функциональных компонентов тех или иных синтаксических структур и обнаруживающих ту или иную степень независимости от частеречной принадлежности соответствующих слов. К числу этих средств относятся порядок слов, частица *de*, служебное слово *shi*;

2) не прямой функциональной ориентации, обнаруживающих функционирование определенных частей речи и обнаруживающих ту или иную степень независимости от функции, выполняемой соответствующими словами. К числу этих синтаксических средств относятся: а) предлоги, послелоги, глагольные модификаторы (вводят

<sup>7</sup> В качестве альтернативы номинативной концепции подлежащего автором разрабатывается модель предикативных отношений, включающая универсально-логические (общие для различных языков содержательные признаки функционально-коммуникативного порядка) и национально-специфические признаки предикации [30, с. 87—89].

существительное и его позиционные эквиваленты)<sup>8</sup>, б) глагольный суф. *de* (вводит слова признаковых значений).

Такого рода характер распределения функциональных сфер употребления синтаксических средств является отражением специфического для китайского языка грамматического механизма взаимосвязи синтаксического и лексико-грамматического уровней, собственно синтаксических категорий и категорий классов слов (частей речи). Суть этого механизма состоит в следующем.

Синтаксические категории, формируемые на базе средств прямой синтаксической ориентации, являются категориями чисто синтаксического порядка, обобщающими синтаксическое функционирование различных классов слов и противопоставляющими на единой синтаксической основе функционирование одного и того же класса. Так, в сфере подчинения на базе разграничения двух словоупорядков — постпозиция или препозиция зависимого компонента (ЗК) относительно центрального (ЦК) — противопоставляются друг другу категории «дополнительность — атрибутивность», обобщающие синтаксическое функционирование самых различных категорий слов не только по линии ЗК, но и по линии ЦК.

С употреблением частицы *de* как синтаксического средства прямой синтаксической ориентации (принципиальная возможность употребления при любом, кроме некоторых исключений, определении) связано противопоставление в китайском языке чисто синтаксических, обобщающих функционирование различных частей речи категорий постоянного (необязательное оформление ЗК посредством *de*) и непостоянного (обязательное оформление ЗК посредством *de*) атрибутивных признаков.

С употреблением служебного слова *shi*, принципиальная возможность которого существует при любом сказуемом, связано противопоставление двух типов предикативных признаков — описательного (сказуемое без *shi*) и классификационного или изъяснительного (сказуемое с *shi*), также обнаруживающих определенную независимость от частеречной отнесенности соответствующих категорий слов.

В сфере подчинения чисто синтаксический принцип обобщения реляционных значений и отвечающая ему относительная независимость структуры синтагм от частеречной отнесенности функциональных компонентов имеет в качестве другой стороны зависимость структуры подчинительных синтагм от характера категориальной отнесенности их центральных компонентов (о механизме этого явления см. [30, с. 137, 144]). Китайский язык четко противопоставляет друг другу структуры именных и глагольных (адъективных) подчинительных синтагм, наиболее существенным проявлением чего являются различия в характере реализации в них синтаксических категорий «дополнительность — атрибутивность» — наиболее общих и наиболее широких синтаксических категорий в сфере подчинения, отвечающих двум словоупорядкам (постпозиция ЗК — препозиция ЗК). В глагольных синтагмах противопоставление синтаксических категорий «дополнительность — атрибутивность» реализуется как противопоставление категорий «способ действия (зависимая реализация) — обстоятельственная характеристика (независимая реализация)», в именных синтагмах — как противопоставление категорий «апозитивность — атрибутивность в узком смысле (признак предмета)».

<sup>8</sup> В качестве позиционных, или функциональных, эквивалентов существительное в китайском языке может иметь не только местоимение, но и различного рода глагольные сочетания слов. В данной статье этот материал не приводится.

Оформление функциональных компонентов синтаксических структур, имеющее в качестве своей первоосновы использование синтаксических средств прямой синтаксической ориентации, далеко не всегда ограничивается лишь использованием последних; в определенных случаях требуется дополнительное введение синтаксических средств не прямой синтаксической ориентации, обслуживающих функционирование определенных классов слов.

Существенно важной грамматической особенностью последних является следующее. Обладая потенциальной способностью соединимости с определенными частями речи, в реальном речевом употреблении эти средства используются при соответствующих категориях слов далеко не всегда; во многих случаях их употребление не только не обязательно, но и невозможно. Объясняется это тем, что использование синтаксических средств, обслуживающих функционирование определенных классов слов, осуществляется в китайском языке на фоне той системы синтаксических оппозиций, которая связана с употреблением синтаксических средств прямой синтаксической значимости, непосредственно направленных на оформление функциональных компонентов. Тем самым в различных синтаксических структурах характер использования (возможность и необходимость) одного и того же средства непрямой, синтаксической ориентации оказывается различным. Так, например, в постпозиции к глаголу широчайшая сфера процессно-объектных отношений не требует для своего выражения употребления предлога, в то время как в препозиции к глаголу выражение любых процессно-именных отношений предполагает необходимость употребления при имени того или иного предлога, что вытекает из характера формально-синтаксической оппозиции «постпозиция ЗК — препозиция ЗК» в сфере глагольных синтагм. В сфере приименных (атрибутивных) структур потребность в использовании предлога, обязательно комбинирующегося здесь с атрибутивной частицей *de*, относительно невелика, что зависит от грамматического потенциала *de* как чисто синтаксического средства.

Таким образом, системная организация китайского синтаксиса определяется взаимодействием формально-синтаксических средств прямой (имеющих определенную функциональную ориентацию) и не прямой (имеющих определенную частеречную ориентацию) синтаксической значимости. В основе этого взаимодействия лежит грамматический механизм, сопрягающий употребление функционально ориентированных синтаксических средств с чисто синтаксическим принципом обобщения значений и ставящий употребление синтаксических средств частеречной ориентации в зависимость от соответствующих чисто синтаксических категорий.

Система членов предложения китайского языка, имеющая в качестве своей первоосновы указанные выше различия функциональных типов синтаксических средств и стоящий за ними специфический механизм соотношения собственно синтаксических и частеречных значений, включает:

1. Главные члены предложения (центральные структурно-функциональные составляющие): подлежащее и сказуемое.
2. Второстепенные члены предложения:
  - 1) приглагольные (приаждетивные): дополнение и обстоятельство;
  - 2) приименные: определение и приложение.
3. Детерминантные члены предложения:
  - 1) обособленное обстоятельство;
  - 2) обособленное дополнение.

Главные члены (центральные структурно-функциональные составляющие) предложения: подлежащее и сказуемое. Специфика формирования в китайском языке подлежащно-сказуемых отношений определяется соотносительностью препозитивного имени (в прямой форме или с постдегом) и его позиционных эквивалентов с двумя формальными типами сказуемых — бессвязочным и связочным (связка *shì* — носитель модального значения утверждения — «*randuanci*» в терминологии китайских ученых), чему в содержательном плане соответствует противопоставление двух типов предикативных признаков — описательного и классификационного или изъяснительного. Описательное (бессвязочное) и классификационное или изъяснительное (связочное) сказуемое демонстрируют два различных грамматических типа предикации.

Описательное (бессвязочное) сказуемое представляет глагольно-адъективный тип предикации, базирующийся на реализации в акте предикации общих для глагола и прилагательного предикативных свойств, таких, как: 1) способность обозначать признак, соотношенный с предметом как его носителем, 2) способность иметь различные виды окружений, главным образом — правых (постпозитивных), актуализирующих представление о глагольном или адъективном признаке на базе категории актуальности в широком смысле слова (включающей вид и способ действия [32]).

Классификационное или изъяснительное (связочное) сказуемое представляет именной или глагольно-(местоименно)-изъяснительный тип предикации, в основе которого лежит отсутствие (имя, просубстантивные комплексы на *de*) или нереализация в акте предикации (глагольные сочетания слов и их местоименные субституты) у соответствующих категорий слов предикативных свойств, что компенсируется введением в состав сказуемого служебного слова *shì* — носителя идеи предикации (идеи утверждения) в чистом виде.

Различия в характере синтаксических значений бессвязочного и связочного сказуемых детерминируют определенную специфику в характере внутренней субкатегоризации этих категорий.

Определяющим фактором субкатегоризации бессвязочного сказуемого является композиция, или состав [характер глагольного (адъективного) окружения, степень его необходимости] сказуемого, сопряженная с характером семантики подлежащего. На этом основании выделяется ряд композиционных вариантов бессвязочного сказуемого и соответственно — ряд семантических подтипов предикативных отношений в бессвязочном предложении.

Субкатегоризация связочного сказуемого имеет лексико-грамматические основания. Выделяется ряд лексико-грамматических вариантов связочного сказуемого и соответственно — ряд семантических подтипов предикативных отношений в составе связочного предложения.

Подлежащее в китайском языке означает предмет, относительно которого утверждается описательный или классификационный (изъяснительный) предикативный признак; выступает формально-синтаксически нерасчлененной величиной широчайшего семантического диапазона.

Подлежащее, соотношенное с бессвязочным сказуемым, обозначает предмет как носитель описательного предикативного признака, независимо от роли предмета в порождении признака. Имеет широкую семантическую вариативность, пределы которой ограничены характером композиции (состава) соответствующих сказуемых (подлежащее-агента как носитель процессного, качественного, количественного признаков, подлежащее-

объект как носитель пассивного состояния, подлежащее-посessor, подлежащее-объект как предмет опосредованно-личной характеристики).

Подлежащее, соотносительное со связочным сказуемым, выступает носителем классификационного или изъяснительного предикативного признака; варьирует в семантическом диапазоне, обусловленном характером лексико-грамматического выражения сказуемого (собственно имя, просубстантивный комплекс на *de*, глагольные сочетания слов и его субституты).

**Приглагольные второстепенные члены предложения: дополнение и обстоятельство.**

Соотношение дополнения и обстоятельства в китайском языке определяется противопоставлением синтаксических категорий «способ действия (зависимая реализация) — обстоятельственная характеристика (независимая реализация)».

Синтаксическая категория «способ действия (зависимая реализация)» означает, что связь процесса с соответствующим предметом или признаком имеет необходимый или причинно-следственный характер, реализуясь на основе внутренние заложенных в процессе возможностей и представляя собой продукт или конечную точку его развития.

Синтаксическая категория «обстоятельственная характеристика (независимая реализация)» означает, что связь процесса с соответствующим предметом или признаком имеет свободный характер (не необходимый, не причинно-следственный), реализуясь как исходная точка процесса или параллельно процессу.

**Д о п о л н е н и е** — структурно-функциональный сегмент предложения, занимающий позицию после глагола и выступающий носителем синтаксического значения «способ действия (зависимая реализация)».

Определяющим фактором парадигматического строения категории дополнения является существование двух способов присоединения дополнения к глаголу — 1) непосредственно или 2) посредством служебных слов (а) глагольные модификаторы направительных — типа *jin, chu, shang xia* и некоторых других значений и функционально близкие к ним предлоги — *zai, gei, dao, xiang*, б) глагольный суф. *de*. В содержательном плане это сопряжено с делением категории способа действия на два типа — на основании степени зависимости (первая и вторая степени) предметного или признакового отношения от значения глагола.

Первая степень зависимости означает существование своего рода семантической корреляции (заданности реляционной семантики) между значением глагола и содержанием а) предметного (*fen di* «делить землю»; *xuan ta* «выбрать его»; *jin cheng* «войти в город») или б) признакового (*xi ganjing*; «стирать чисто»; *shuo qingchu* «говорить ясно»; *paoqu hen yuan* «убеждать далеко») отношения.

Вторая степень зависимости означает опосредованный (через значение соответствующих служебных элементов) характер связи между значением глагола и содержанием а) предметного (*fengei zamen* «выделить нам»; *zuanjin* «выбрать в комитет») или б) признакового (*shuode zui gan* «от говорения пересохло во рту»; *ziede jianan* «написать просто»).

**Д о п о л н е н и е 1-й степени зависимости** и, или **прямое дополнение** (непосредственное присоединение) представлено следующими лексико-грамматическими вариантами.

1. Прямое дополнение объектного способа действия; выражается существительными или его позиционными эквивалентами.

Объект в трактовке китайского синтаксиса — это предмет, на который

непосредственно направлен процессный признак, независимо от того, исходит ли последний из определенного источника или осуществляется произвольно (ср. *Zhe yichang chaonao zai zhigong-zhong liuxiale shen-de yinxiang* «Этот скандал произвел на служащих сильное впечатление» и *Ta liuxiale ge tuiteng* «У нее осталась какая-то боль в ногах»), мыслится ли процесс в связи со своим источником или же последний не мыслится и не называется (*Ta tie xie biaoyu* «Он наклеил несколько лозунгов» и *Xinjeng-shang mei tie youpiao* «На конверте не наклеены марки»; *Wo you yiben shu* «Я имею книгу» и *Dage you xin ma?* «От брата есть письмо?»).

В таком содержании грамматическое понятие «объект» коррелятивно грамматическому понятию «субъект», составляющему семантическую основу категории подлежащего и означающего предмет, относительно которого утверждается некоторый признак, независимо от роли предмета в порождении признака (см. выше).

Дополнение объектного способа действия имеет широчайший семантический диапазон, реализуясь в пределах, детерминируемых механизмом управления (наличием корреляции между значением глагола и содержанием объекта). В этом качестве оно может означать и предмет воздействия (*Jiejie xi yifu* «Сестра стирает белье»), и предмет-место (*Wode pengyou zhu lüguan* «Мой друг живет в гостинице»), и предмет, относительно которого ориентировано движение (*Dijun jin cheng laile* «Вражеские войска вошли в город»), и предмет качания, колебания (*Ta lungile futou* «Он взмахнул топором»), и предмет мысли, чувственного восприятия или отношения чувств (*Ni hai xiang ta ne?* «Ты все еще думаешь о нем?»; *Wo bu yuan jian ta* «Я не хочу видеть его»; *Youxie pengyou baoyuan ta* «Некоторые товарищи обижались на него» и многие другие виды объектных отношений, однако всегда при условии, если последние заданы значением управляющего глагола, что, в свою очередь, является производным от характера синтаксического значения прямого дополнения (способ действия первой степени зависимости).

2. Прямое дополнение количественного способа действия; выражается счетными словами, количественно-предметными сочетаниями, наречиями степени (*Ta kanle yi yan* «Он взглянул раз»; *Ni bianle xuduo* «Ты очень изменился» *You ren neng huo yi bai duo nian* «Есть люди, которые могут жить более ста лет»).

3. Прямое дополнение результативно-оценочной характеристики; выражается прилагательным, глаголом (*Zuoshi renzhen, dazhang yonggan* «Работает добросовестно, сражается храбро»; *Ba xie shuaitie hen yuan* «Зашвырнул ботинок очень далеко»).

4. Прямое дополнение цели; выражается глаголом, замещаемым вопросительно-местоименным сочетанием слов *gan shenme (zuo shenme)* «зачем, с какой целью» (*Ta qu da dianhua* «Он пошел позвонить»; *Ta qu gan shenme!* «Он пошел зачем, с какой целью?»).

Дополнение 2-й степени зависимости, или косвенное дополнение (опосредованное присоединение) представлено двумя синтаксическими подтипами.

1. Дополнение объектно-результативного способа действия; выражается существительным, вводимым посредством глагольных модификаторов направительных и некоторых иных значений, а также — функционально близкими к ним предлогами (*Tamen tiaoxia giche* «Они спрыгнули с машины»; *Wo kaojin gangtiechang* «Я поступил (букв. сдал экзамен входить) на сталелитейный завод»; *Keren zuozai yizi-shang* «Гость сел на стул»).

2. Косвенное дополнение результативно-оценочной характеристики; выражается широким кругом слов и сочетаний слов со значением признака, вводимых посредством суф. *de* в структуре поясняемого глагола (*Xin xiede jiandan* «Письмо написано просто», *Fuqin side zao* «Отец умер рано»; *Taliang zoude shizai pilaole* «Они оба очень устали от ходьбы»).

Обстоятельство — структурно-функциональный сегмент предложения, занимающий позицию перед глаголом и выступающий носителем синтаксического значения «обстоятельная характеристика (независимая реализация)».

Парадигматическое строение категории обстоятельства определяется существованием трех синтаксических подтипов:

1. Обстоятельство некачественного адвербиального признака, вводимое прямо, без помощи каких-либо служебных элементов (*Tamen shidian zhong kaishi gongzuo* «Они начинают работать в десять часов»; *Wo dao chu zhao ni* «Я везде искал тебя»; *Ni wei shenme yuan qu ta* «Ты почему хочешь жениться на ней»; *Ta zhi laiguo yici* «Он приходил только один раз»).

2. Обстоятельство качественного адвербиального признака; оформлено или допускает возможность оформления посредством атрибутивной частицы *de* (*Wo gaoxing-de dui ziji shuo* «Я радостно сказал самому себе»; *Zheju hua shenshen-(de) dadongle tade xin* «Эти слова глубоко тронули ее сердце»).

3. Обстоятельство предметного отношения; выражается предложением-именным комплексом и дифференцирует такие виды процессно-предметных отношений, как объектные (предлоги *ba, gei, dui* и др.: *Ta ba yifu chepole* «Он порвал одежду»; *Zhuren gei keren kai men* «Хозяин открыл гостю дверь»; *Zhigongmen dui ta you qi you pa* «Сотрудники ненавидели его и боялись»), субъектные (предлоги *bei, you*: *Tade hua bei xiaosheng daduaule* «Его слова были прерваны смехом»; *Youde wenti yi you zuozhe jie jue* «Некоторые вопросы уже решены автором»), инструментальные (предлоги *yong, yi*: *Haizi yong xizu ci can yanbo* «Мальчик руками тер глаза»; *Youshi yi da-mai daiti jiaoyu* «Иногда побоями и руганью подменял воспитание»), пространственные (предлоги *zai, cong*: *Yu zai shui-zhong you—yong* «Рыба плавает в воде»; *Taiyang cong chuanguhu waimian shejinlai* «Солнечный свет проникал из окна») и др.

Применные второстепенные члены предложения — определение и приложение. Определение и приложение — это в китайском языке взаимопоставленные категории, восходящие в одном случае (определение) к категории атрибутивности в широком смысле (препозиция ЗК), а в другом к категории дополнительности (постпозиция ЗК).

О п р е д е л е н и е — структурно-функциональный сегмент предложения, занимающий позицию перед именем, способный оформляться посредством частицы *de* и выступающий носителем значения атрибутивности в узком смысле (признак предмета). Имеет два синтаксических подтипа, устанавливаемых на основании необязательности — обязательности оформления посредством *de*, чему в содержательном плане соответствует противопоставление категорий постоянного (признак-свойство, признак-видоазличитель) и непостоянного (случайного, не свойственного предмету по природе вещей, или переменного) атрибутивных признаков.

Каждый из синтаксических подтипов определения обобщает и противопоставляет на единой грамматической основе синтаксическое функционирование различных частей речи, реализуясь в ряде лексико-грамматических вариантов: а) качественном (*piaoliang nüzi* «красивая женщина», но *hen piaoliang-de nüzi*; «очень красивая женщина»; *huo ren* «живой чело-

век», но *huo-de dongxi* «живая вещь»); б) именном (*nanren shengyin* «голос мужчины», но *zhege nanren-de shengyin* «голос этого мужчины»); в) глагольным (*jianshe lilang* «созидательная сила», но *shuizhaole-de haizi* «уснувший ребенок»); г) количественно-предметном [*san sui xiao haizi* «трехлетний»] (в смысле «малый, несмышленый») ребенок», но *er shi wu sui-de ren* «двадцатилетний человек») и некоторых других видах определений.

Лексико-грамматические варианты двух синтаксических подтипов определения (без *de* и с *de*) характеризуются широким спектром семантических реализаций. Наибольшее число последних присуще именному определению.

Неоформленное именное определение предстает как постоянный, относительно-качественный атрибутивный признак принадлежности (*ren tou* «голова человека», *chahu gaizi* «крышка чайника», *xiao haizi ku* «детский плач»), места или времени (*nanfang hua* «южный говор», *qiu yu* «осенний дождь»), сферы деятельности (*yanuyxue zhuanjia* «специалист по языкознанию»), назначения (*baomi louzi* «помещение для кукурузы») и др.

Оформленное именное определение реализуется как непостоянный, абсолютно-относительный признак принадлежности, при весьма широкой и своеобразной трактовке категории принадлежности, допускающей образцы типа *pengyou-de shu* «книга друга»; *diedie-de bangshou* «помощник отца»; *tade congming* «его ум»; *zinku shenghuo-de zhouwen* «морщины от тяжелой жизни»; *Liu Deshan-de shengchan weiyuan* «Лю Дешан в качестве члена комитета по производству»; *zhege wenti-de jiejue* «решение этого вопроса» и др.

Категория принадлежности является тем порогом, за пределами которого именное определение непостоянного, абсолютно-относительного атрибутивного признака требует обязательного введения в состав определения дополнительных синтаксических средств: послелога (*zhuozhi-shang-de huaping* «ваза на столе»; *shouli-de yi bei* «рюмка в руке»), предлога (*gei zhongyang-de zin* «письмо центральному комитету»; *tong Zhongguo-de guanxi* «отношения с Китаем»; *dui wo-de xiwang* «надежда на меня») и некоторых других средств.

Диапазон конструктивно-смысловых возможностей китайского определения (реальная употребляемость) в организации смыслового содержания предложения исключительно велик.

П р и л о ж е н и е — структурно-функциональный сегмент предложения именного характера, занимающий позицию после поясняемого имени и выступающий носителем синтаксического значения дополнительно-сти, реализующегося как значение уточнения номинации.

Уточнение номинации, достигаемое посредством приложения, имеет ряд специфических семантических проявлений, таких, как указание на а) имя или фамилию лица (*renmin yingxiong Liu Zhudan* «народный герой Лю Чжудань»); б) название предмета (*youhua «Mugun»* картина «Мать»); в) общественное или семейное положение лица, принадлежность к той или иной возрастной или социальной категории (*Zhao jizhoushou* «профессор Чжао»; *Mitelang zongtong* «президент Миттеран», *ni lao ren jia* «ты, старый человек»; *women gongren* «мы, рабочие»); г) количественный состав лиц, предметов (*tamen sange* «они трое»; *zamen dahuo* «мы все»); *Jin Sheng liang couzi* «чета Цзиньшэнов») и др.

Детерминантные члены предложения — обособленное обстоятельство и обособленное дополнение.

О б о с о б л е н н о е о б с т о я т е л ь с т в о — структурно-функ-

циональный сегмент предложения, занимающий позицию перед основным составом предложения, паузально отделенный от него и выступающий носителем синтаксического значения обстоятельственной характеристики, раскрывающей общий фон, на котором реализуется основное событие. Например: *Xianzai Shanghai jiefangle* «Сейчас Шанхай освобожден»; *Zai xuexiao-li women yujian hen duo sullivan tongzue* «В школе мы встретили много советских учащихся»; *Cong gangcai na biao-shang women keyi kanchu* «Из данной таблицы мы можем видеть...».

Обособленное дополнение — структурно-функциональный сегмент предложения, занимающий позицию после основного состава предложения, паузально отчлененный от последнего и выступающий носителем синтаксического значения дополнительной характеристики, дополнительного уточнения, разъяснения характера события.

Сущность специфики обособленного дополнения как члена предложения состоит в том, что, имея семантическую соотнесенность с тем или иным словом (именным или глагольным) основного состава предложения, оно не вступает с этим словом в непосредственную синтаксическую связь (не образует в сочетании с ним той или иной синтагмы), относясь к основному составу предложения как к целому. Например: *Ta hui sanzhong waiquoayu: ewen, fawen he yingwen* «Он знает три языка: русский, французский и английский»; *Zhe shi shui jia-de xiao nüzi, dabande zhenme hao?* «Чья это девочка, так хорошо одетая?»; *Zamen pao jia qi ye-de laidao ci di, weiliao shenme?* «Мы, бросив дом, дела, приехали, сюда, ради чего?».

Выше была дана краткая характеристика грамматической системы членов предложения китайского языка, полученной автором в результате синтагматического анализа.

Общелингвистический интерес полученных результатов состоит прежде всего в утверждении традиционного представления о членах предложения как о семантически значимых грамматических величинах.

Вместе с тем эти результаты вносят существенные коррективы в традиционное учение о членах предложения в том смысле, что они показывают, что морфолого-семантические основания как универсальный принцип определения членов предложения не способствуют раскрытию истинной природы этих категорий в конкретном языке. Та специфическая «картина мира», представление о которой дает система синтаксических категорий китайского языка, не согласуется с системой морфолого-семантических концептов, которая традиционно принимается в качестве универсального синтаксического основания выделения членов предложения в различных языках (см. выше).

Доминантой и принципиальным основанием системы членов предложения китайского языка является грамматический механизм, детерминированный существованием в китайском языке двух типов синтаксических средств — 1) прямой и 2) непрямой (частеречной) функциональной ориентации — и тем соотношением стоящих за ними синтаксических значений, при котором примат выражения наиболее общих и широких синтаксических значений принадлежит грамматическим средствам, имеющим прямую функциональную направленность и обобщающим функционирование различных частей речи, а синтаксические средства, обслуживающие функционирование определенных частей речи, реализуют свое действие на фоне и тем самым в зависимости от этих общих и широких значений. Таким образом, китайский язык дает пример такого соотношения центральных категорий грамматики — членов предложения и частей

речи. — которое выходит за рамки «фундаментального соответствия» этих категорий — идеи, на которой зиждется традиционное учение о членах предложения.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Keenan E. L. Towards a universal definition of «subject» // Subject and topic / Ed. by Ch. N. Li. N. Y., 1976.
2. Li Ch. N., Thompson S. A. Subject and topic: A new typology of language // Subject and topic / Ed. by Ch. N. Li. N. Y., 1976.
3. Кибрик А. Е. Подлежащее и проблема универсальной модели языка // ИАН СЛЯ. 1979. № 4.
4. Падуцева Е. В., Успенский В. А. Подлежащее или сказуемое? (Семантический критерий различения подлежащего и сказуемого в биноминальных предложениях) // ИАН СЛЯ. 1979. № 4.
5. Дежнев В. З. «Субъект», «тема», «топик» в американской лингвистике последних лет (обзор) // ИАН СЛЯ. 1979. № 4.
6. Шатер П. Рольные и референциальные свойства подлежащего // Новое в зарубежной лингвистике. Т. XI. М., 1982.
7. Нунан М. О подлежащих и топиках // Новое в зарубежной лингвистике. Т. XI. М., 1982.
8. Чейф У. Данное, контрастивность, определенность, подлежащее, топика и точки зрения // Новое в зарубежной лингвистике. Т. XI. М., 1982.
9. Гак В. Г. Сравнительная грамматика французского и русского языков. М., 1983.
10. Li Jinzi. Xin zhu guoyu wenfa (Новая грамматика национального китайского языка). Бэйцзин, 1924 (20-е изд. — 1954).
11. Li Jinzi. Zhongguo yufa-zhong-de «cifa» yantao (О «морфологии» в китайской грамматике) // Hanyu-de cilei wenti (Проблема частей речи в китайском языке). Бэйцзин, 1956.
12. Кротевич Е. В. Предложение и его признаки. Львов, 1954.
13. Кротевич Е. В. Члены предложения в современном русском языке. Львов, 1954.
14. Tesnière L. Elements de syntaxe structural. P., 1959.
15. Fillmore Ch. The case for case // Universals in linguistic theory. N. Y., 1968.
16. Fillmore Ch. Subjects, speakers and role-working // Papers in linguistics. 4. Ohio State University, 1970.
17. Daneš Fr. Three-level approach to syntax // TLP. 1964. 1.
18. Джонсон Д. Е. О реляционных ограничениях на грамматику // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XI. М., 1982.
19. Перлмуттер Д. М., Постал П. М. О формальном представлении структуры предложения // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XI. М., 1982.
20. Studies in relation grammar / Ed. by Perlmutter D. M. Chicago; London, 1983.
21. Lü Shuziang. Hanyu yufa fenxi wenti (Проблемы грамматического анализа китайского языка). Beijing, 1979.
22. Xiandai hanyu (Современный китайский язык) / Под ред. Hu Yushu. Shanghai jiaoyu chubanshe. 1981.
23. Xiandai hanyu (Современный китайский язык) / Под ред. Zhang Zhigong. Renmin jiaoyu chubanshe. 1981.
24. Li Yuehua deng. Shiyong xiandai hanyu yufa (Практическая грамматика современного китайского языка). Beijing, 1983.
25. Xiandai hanyu (Современный китайский язык) / Под ред. Wu Zhanshen. Hebei renmin chubanshe. 1985.
26. Li Fugan. Xiandai hanyu yufa (Грамматика современного китайского языка). Oishi chubanshe. 1985.
27. Хоцкий Н. Аспекты теории синтаксиса. М., 1972.
28. Лакофф Дж. Лингвистические гештальты // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XI. М., 1981.
29. Касевич В. Б. Семантика. Синтаксис. Морфология. М., 1988.
30. Шугова Е. И. Вопросы теории синтаксиса (на основе сопоставления китайского и русского языков). М., 1984.
31. Шугова Е. И. Синтаксис современного китайского языка. М., 1991.
32. Шугова Е. И. К вопросу о глагольном формообразовании в китайском языке // Разыскания по общему и китайскому языкознанию. М., 1980.

## ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЙ

ПРИЦАК О. И.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЯ *RŪS/RUS'*

## 1. Вводные замечания.

Начиная с 1749 г. вопрос о происхождении Руси (*Rus'*), средневекового государственного образования, которое позднее стало краеугольным камнем мира *Slavia orthodoxa*, сделался для ученых загадкой. Важнейшей причиной того, что они так и не смогли ее разгадать, является, на мой взгляд, их почти исключительное сосредоточение на этимологии названия *Rus'* как таковой.

В порядке своего рода протеста против такого положения дел я отодвинул собственно этимологическую проблему на второй план, считая более насущным обратиться к источникам, а также к соответствующим экономическим, социологическим и религиозным факторам, взятым в перспективе всеобщей истории.

В первом томе моей книги «Происхождение Руси», опубликованном в 1981 г., я аргументировал свои соображения формулой  $Ruti > Rūs$ , намеренно оставляя этимологические выкладки до четвертого тома книги, в котором речь должна идти о латинских источниках (11, с. 25); в индексе (с. 907) имеется ошибка: вместо ср.-франц. «>\*rusti» лемма должна быть «\*rudis». Поскольку некоторые из моих читателей и рецензентов не были удовлетворены такой трактовкой и даже отнеслись к моей формуле как к продукту нефилологического ума, я решил изложить свою аргументацию в настоящей статье<sup>1</sup>.

Эту статью я посвящаю моему другу Александру Беннигсену, который способствовал моему посещению парижской Ecole des Hautes Etudes в мае 1983 г. Находясь во Франции, я имел возможность побывать в древнекельтской Рутении (нынешний Родез и его департамент Аверон), где я познакомился с археологическими и нумизматическими данными, подтверждающими существование там в первые восемь веков н.э. международной (рутено-фризской) торговой компании и свидетельствующими о ее

© Omeljan Pritsak. The origin of the name *RŪS/RUS'* // *Passé Turko-Tatar present soviétique. Etudes offertes à Alexandre Bennigsen / Publ. par Lemerrier-Quelquejey Ch., Veinstein G., Wimbush S. E., P., 1986.*

<sup>1</sup> Я воздерживаюсь здесь от какой бы то ни было полемики. Замечательное исследование названий типа *RUS* было опубликовано Борисом Уйбегауном «L'origine du nom des Ruthènes» (последний вариант) в [2, с. 128—135]. В нем содержится хороший свод данных, однако ему не хватает как исторической, так и лингвистической перспективы. После того как моя статья была уже написана, я получил, благодаря любезности доктора Елены Александровны Мельниковой, выпуск сборника «Древние государства на территории СССР» за 1982 г. (М., 1984), содержащий ценные данные о названиях типа *Rus'* в средневековых германских источниках, собранные А. В. Назаренко [3, с. 86—129]. Тот же автор опубликовал в 1980 г. филологическое исследование (также не учитывающее исторической перспективы) под названием «Об имени „Русь“ в немецких источниках IX—XI вв.» [4].

важности. О моих находках я сообщил на заседании Семинара по украинистике (Seminar in Ukrainian studies) в Гарвардском университете в 1984 г. Я озаглавил свой доклад «Когда и почему галльские *Ruteni/Ruti* вступили в международную торговлю?». Новый расширенный вариант этого доклада под названием «Did the Arabs call the Vikings „Magians“?» опубликован в «Atti del 12° Congresso internazionale di studi sull' Alto Medioevo» (Spoleto, 1990).

## 2. Вступление: византийско-греческая форма *Rhos* (Ῥός).

Название *Rus* впервые появляется в западном латинском источнике, официальных королевских анналах Каролингов (*Annales Bertiniani*), под 839 г. Этот хорошо известный пассаж цитируется обычно (начиная с 1749 г.) норманистами для подкрепления их теории. Согласно этой записи, византийский император Феофил (829—842) отправил официальное посольство к франкскому императору Людовику I Благочестивому (814—840). В состав посольства Феофил включил нескольких посланников от народа, называемого *Rhos*: *se, id est gentem suam. Rhos vocari dicebant* («они говорили, что они, то есть их народ, называются *Rhos*). Довольно странно, что правитель этих *Rhos* носил при этом титул степных императоров, т. е. *каган* (>*xakan*): *rex chacanus vocabulo* («царь, называемый хакан») (= хазар., др.-тюрк. *qaghan* = *каган*) [5, с. 19—20].

Людовик принял посольство в своей рейнской резиденции Ингельхейме (в Пфальце, Западная Германия) 18 мая 839 г. Расспрашивая неизвестных гостей, он пришел к выводу, что они были чем-то вроде шведов (*gentis esse Sueonum* [там же]). Помещенный в анналах рассказ остался незаконченным, но для нашего дальнейшего изложения это не существенно.

Сосредоточим наше внимание на названии *Rhos*. Я согласен с теми из моих ученых предшественников, кто считал, что это название «книжного» византийско-греческого происхождения<sup>2</sup>. Византийские авторы (так же, как и китайские) предпочитали «исторические» названия для наличных аппеллятивов. Так, дунайские болгары (а позднее венгры) часто изображались византийскими авторами как гунны (Οὐννοι) [7, с. 234—235], сельджуки (а позднее турки-оттоманы) — как парфяне (Πάρθοι) [7, с. 245], и точно так же Русь (а позднее половцы/кипчаки) обычно обозначались «архаизирующим» названием тавроскифов (Ταυροσκόφαι) [7, с. 303].

Название Ῥός обнаруживается в сохранившейся византийской литературе, относящейся к 20-м годам IX в. («Житие Георгия Амастридского»). Оно появляется также в описании датированного 860 г. внезапного морского набега Руси (*Rūs*) на Константинополь. Автором, употребившим название Ῥός, был знаменитый очевидец предпринятой варварами осады константинопольский патриарх Фотий (ум. 891 г.)<sup>3</sup>.

Как отмечается в другом разделе настоящей статьи (см. ниже, раздел 4), устное византийско-греческое обозначение для Руси (*Rūs*) было *Rus-/Ῥοος* (как об этом свидетельствует Лиутпранд из Кремоны, часто исполнявший обязанности посла в Константинополе во второй четверти X в.).

Византийские ученые и духовенство пренебрегали этой «вульгарной»

<sup>2</sup> Дискуссия по этому вопросу подытожена Дмитрием Оболенским в его комментарии к 9 главе «De administrando imperio» Константина Багрянородного [6, с. 20—23].

<sup>3</sup> Фотийские гомилии 3 и 4 «Photii de Rossorum incursione homiliae duae» «Две гомилии Фотия о набегах русских» [8, с. 162—173], англ. перев. [9, с. 82—112; с. 74—82 (примечания)].

формой и ввели в употребление фонетически схожее архаическое название, известное им из Библии. Случилось так, что в Септуагинте, греческом переводе Ветхого Завета (III в. до н.э.), древнееврейские слова *nāsī rōš* («главный князь») (см. [10, с. 874—875]) были ошибочно переведены как ἄρχοντα 'Ρῶς «князя Рос» (Иезекииль 38 : 2, 3, 39 : 1) [14, с. 505—520].

Несклоняемая форма 'Ρῶς породила новое официальное обозначение пиратской Руси (*Rūs*), т. е. название 'Ρῶς, которое тоже осталось несклоняемым.

Это означает, что форма имени *Rhos*, употребленная только в *Annales Bertiniani* под 839 г., не происходит из западноевропейской, латинской культурной сферы, и по этой причине мы исключим ее из дальнейшего рассмотрения в нашей работе.

### 3. Южногерманские формы *Rūzx-*, *Rūx-* и т. д.<sup>4</sup>

Древнейшие известные формы названия *Rūs* в западных источниках встречаются в латинских текстах, связанных происхождением с двумя регионами: с дунайским пограничьем и прирейнской областью.

Известно, что в период наибольшей экспансии Римской империи (I—III вв.) реки Рейн (*Rhenus*) и Дунай (*Danuvius*) образовывали границу (*limes*) империи. Таким образом, экономическая и военная активность в римских цизальпийских владениях, в «диоцезе» Галлия, была сосредоточена вдоль линии, соединявшей две ее столицы — Лугдун (Лион, Франция) и Августу Треверскую (Трир, Западная Германия). Практически это означало, что бассейны Рейна и Соны — Роны были главными торговыми артериями этих территорий, а также и путями распространения римской культуры, включая христианство [12, особ. с. 1—105 и карта 1; 13, особ. с. 512—543]. Древнейший город Германии, Трир, расположенный на Мозеле в римской *Belgica Prima*, был основан в 15 г. до н.э., а епископская кафедра была учреждена в нем в 278 г.

Август (27 г. до н.э. — 14 г. н.э.), первый римский император, стремился обезопасить северо-восточные границы империи за счет продвижения своей армии до самой Эльбы, однако уничтожение в 9 г. н.э. трех римских легионов под командованием Вара, попавших в засаду в Тевтобургском лесу (расположен в Западной Германии между реками Эмсом и Везером), сделало такую стратегию нереалистичной. Лишь несколькими веками позже Карлу Великому (768—814) удалось утвердиться и на Эльбе, и на Дунае, и как следствие этого торговля на рейнско-дунайском пути развилась уже в эру Каролингов.

Однако чтобы довести до конца свои начинания, Карлу Великому еще предстояло усмирить саксов (772—785; Бременское епископство было учреждено в 781 г.), включить в свои владения Баварию (787), выдворить аваров с берегов Дуная (785—796; в Зальцбурге была учреждена архиепископская кафедра в 798 г.) и вести войны с правителем данов Годфредом (800—810).

На южном (правом) берегу Дуная между современными Пассау (римск. *Castra Batava*) и Веной (римск. *Carnuntum*) находилась еще использовавшаяся в IX в. старая римская дорога, которая в каролингских источниках именовалась *publica strata* («общественная дорога») или *strata legitima* («платная дорога») <sup>5</sup>. Дорога соединяла бассейны Дуная и Эльбы и в силу такого географического положения имела исключительное стратегическое значение. Наблюдатели франкского короля или торговой ком-

<sup>4</sup> Фонологически /rūci/, /rūni/.

<sup>5</sup> См. [14, с. 30, № 5 *publica strata* и № 25 *strata legitima*]. О римской дунайской дороге см. [15, особ. кли. 419—420, с двумя картами].

пани могли контролировать и фиксировать события, происходившие в *civitates* («укрепленных поселениях, бургах») и в *regiones* («племенных» политических образованиях) от устья Эльбы до Дуная в Верхней Австрии.

По счастью, до нас дошел еще один из таких журналов наблюдений за событиями в *civitates* («города») и *regiones* («племенные союзы»), включающий в себя донесения со всей «северной границы» (*ad septentrionalem plagam Danubii* «до северного берега Дуная») и составленный для нужд франкского правителя. Утраченный оригинал этой рукописи, созданной в скриптории в районе Бодензее и обычно именуемой «Баварский географ» (*Geographus Bavarus*), разными учеными датируется по-разному. Имеется, однако, осязательная причина полагать, что он был написан в придануйской области около 840 г. Что же касается сохранившегося списка, то все ученые согласны в том, что он выполнен около (или до) 900 г.<sup>6</sup>

Для обсуждаемой здесь проблемы *Geographus Bavarus* имеет особенное значение, поскольку в этом средневековом латинском тексте впервые упоминается название *Русь* (*Rus'*). Это название представлено здесь в форме *Ruzzi* (фонолог./руцци/), причем следует оно непосредственно за названием *Caztri*, обозначающим Хазар [19, факсимиле с. 1, ср. еще с. 43—45].

Второе упоминание названия типа *Rus'/Rus* встречается в грамоте восточнофранкского короля Людовика Немецкого (817—843—876), датированной 16 июня 863 г. В документе подтверждалось право на земельные владения, дарованные Карлом Великим Альтаихской обители, расположенной между Регенсбургом и Пассау в Баварии. Среди упомянутых здесь населенных пунктов один, расположенный где-то в Эмском лесу, *in saltu Enisae fluvii* («в лесу близ реки Энизы»), вероятнее всего, между Дунаем и слиянием рек Урль и Иббс (Верхняя Австрия)<sup>7</sup>, называется *Ruzaramarcha*.

<sup>6</sup> О современном состоянии изучения *Geographus Bavarus* см. [16, особ. «Die Datierung des Geographus Bavarus und die Stammesverfassung der Abodriten», S. 111—126, 438—440, «Zu einer Edition des sogenannten Bairischen Geographen», S. 127—129, 440—441], см. еще [17, с. 93—94; 18, с. 9—58], где во вступительной части статьи решается поставленный Вольфгангом Фрице [16] вопрос, почему описание в *Geographus Bavarus* начинается с Эльбской области и заканчивается в бассейне Дуная.

<sup>7</sup> [14, с. 157, № 109]: *Ammonit etiam celsitudinem nostram praedictam abba, qualiter dominus avus noster Karolus licentiam tribuit suis fidelibus in augmentationem rerum ecclesiarum dei in Pannonia carpere ac possidere hereditatem, quod per licentiam ipsius in multis locis et ad istud etiam monasterium factum esse dinoscitur. Fuerunt namque in vestra praedicti monasterii quaedam loca nomine Scalobah, sicut ipse rivulus fluit in occidentalem partem usque in Dagodeosmarcha et inde in orien]talem plagam usque in RUZAMARCHA (Здесь и далее прописные буквы мои. — П. О.), atque in locum quem vocant Cidalariabah in saltu Enisae fluvii, qui coniacet inter Danubium et Ibisam atque Hurulam in meridianum partem usque in verticem montis, et ad Biugin mansos V, et quicquid ad praedictas villas pertinet, hoc est in mancipiis edificiiis terris cultis et incultis vineis pratis silvis venationibus pascuis aquis aquarumque decursibus («Напомнил же Намему Величеству вышеупомянутый аббат о том, что государь и дед наш Карл (Карл Великий, ум. 814. — П. О.) дал разрешение своим подданным для приумножения имущества церкви Божиих в Паннонии занимать землю и получать ее по завещанию, и уже известно, что по его разрешению так и делается во многих местах и даже в этом монастыре. Были же во владении названного монастыря некие места, называемые Скалькобах, вдоль по течению этого ручья на восточной стороне до Dagodeosmarcha и оттуда в восточном направлении до Ruzaramarcha, а также до места, называемого Цидаларибах (= Zeitlbach), в лесу реки Эмса, которое лежит между Дунаем и Иббсом, а также до Гурулы на южной стороне до вершин горы и до Богин мансов V (mansos «манс», т. е. комплекс жилых и хозяйственных построек и земельных владений, составляющих в совокупности крестьянское хозяйство от 6—8 га до 25—30 га. — П. О.), и всем, что принадлежит к указанным вил-*

Это название состоит из двух элементов: *Ruzara-* и *marcha*. Последний элемент — хорошо известное германское обозначение для «пограничья, марки» (готск., др.-сакс. *marka*, др.-в.-н. *marha*) [20, Bd 2, Tl 1, S. 400]. Первый элемент — это род. п. мн. ч. топонимического суф. *-āri ~ -vāri* (<-*vāriōs*) (основа на *-a/-ja-*), например *Rom-āri* «римлянин», *Tenimark-āri* «датчанин», *Beheim-āri* «богемец», *Bai-āri* «баварец» [20, Bd 1, Tl 1, S. 157—158; 21, с. 188—189 (§ 200)]. Латинизированная форма мн. ч. от *-āri/-vāri* была *-arii/-varii*, например, *Bajo-vari-i* «баварцы» [21, с. 189 (§ 200, 1)]. Регулярная форма род. п. мн. ч. от *-āri* должна быть на *-o*, т. е. *-āro*. Но Адольф Бах замечает, что на немецком севере (например, *Magdeburgara marco*, 941 г.) и особенно в западнофризском (вплоть до наших дней) преобладают формы род. п. мн. ч. на *-a* (*-āra*), например, *Sted-ara-wald* (провинция Гронинген, XI в.), *Baard-era-deel* (современное название). Особый интерес для нас представляют ассоциации формы *Ruz-ara* с западнофризским [20, Bd 2, Tl 1, S. 83—84].

Значение названия *Ruzaramarcha* (фонолог. /руцара-/) было, таким образом, «марка Руц-ов». В «Житии Конрада, Архиепископа Зальцбургского» (*Vita Chunradi Archiepiscopi Salisburgensis*), написанном около 1177 г., засвидетельствовано, вероятно, для обозначения смежной с *Ruzaramarcha* области, сходное обозначение, а именно *marchia Ruthenorum* [22, с. 62—77]. Здесь сообщается, что к венгерскому королю, который в то время как раз пребывал в этой марке (*qui tunc in Marchia Ruthenorum morabatur*), был послан гонец [22, с. 74]. Вероятнее всего здесь фигурирует австрийско-венгерская граница вдоль Дуная, т. е. в то время, о котором идет речь (ок. 1177 г.), венгерская часть бывшей *Ruzaramarcha* <sup>8</sup>.

Именно эта марка была особенно важна для венгерской короны; об этом свидетельствует тот факт, что Генрих, сын св. Стефана, крестителя венгров и основателя христианского венгерского королевства (997—1038), представлен в *Annales Hildesheimenses* под 1031 г. как *dux Ruizorum* (-z- = /ц/) [28, с. 98, под 1031 г.].

По счастью, латинизированная форма мн. ч. *Ruzarii* (/руц-арии/) сохранилась в дошедшей до нас в оригинале грамоте Леопольда V (1177—1192—1194), герцога Австрии и Штирии. Грамота была выдана регенсбургским купцам в Вене 9 июля 1192 г. В то время название *Ruzarii* (/руцарии/) употребляли к регенсбургским купцам, которые торговали с Русью <sup>9</sup>.

Адам Бременский, уроженец Верхней Германии, учившийся в баварском Бамберге (ум. ок. 1081 г.), в своих *Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum* (ок. 1070 г.) 16 раз упоминает Русь, используя при этом сле-

дам, — зданиями, землями обработанными и необработанными, виноградниками, лугами, лесами, охотами, пастбищами, прудами и текучими водами, — монастырь распорядится). Название *Ruzaramarcha* уже было отмечено Адольфом Бахом [20, Bd. 2, Tl 1, S. 84; 4, с. 47—50; 3, с. 104—106].

<sup>8</sup> Названия *Marchia Ruthenorum* и *dux Ruizorum* (см. след. абзац) М. Грушевский — как другие ученые — ошибочно связывал с Карпатской Украиной, см., например [23, с. 488]. О существовании дунайской *Ruzaramarcha* в то время еще не было известно.

<sup>9</sup> См. [24, с. 116—119 (№ 86)]. В соответствующем тексте читается следующее: ...*RUZARII quocumque tempore vadant, duo talenta solvant et in reditu ex RUZIA dimidium talentum; duodecim denarios dabant ubicumque velint intrare* (е. всякий раз, когда рудари приходят, они платят два таланта, а возвращаясь — половину таланта, и куда бы ни захотели пойти, должны дать двенадцать динариев) [24, с. 118]. Среди купцов, упомянутых в документе, назван *Otto de Chioue* (т. е. из Киева) [24, с. 119].

дующие формы: *Ruzzi* (/руцци/) (дважды), *Ruzzia* (/руцциа/) (12 раз), *Ruzia* (/руциа/) (дважды)<sup>10</sup>.

В современных Адаму Бременскому (ок. 1070 г.) *Анналах Альтаихского монастыря* встречаются два написания: *Ruzones* (/руцонес/; один раз)<sup>11</sup> и *Ruscia* (/руциа/; один раз)<sup>12</sup>. Ламберт из Херсфельда (1025—1081), родившийся в крестьянской семье, проживавшей во Франкони, и учившийся в Вамберге, в своих *Анналах* (ок. 1080 г.) дает две разных формы названия Руси — *Ruzeni* (четыре раза; в текстах, относящихся к 70-м годам XI в.)<sup>13</sup> и *Rusci* (трижды; в записях под 960, 973 и 1043 гг., извлечено из более древних источников)<sup>14</sup>. Сообщенные Ламбертом сведения, касающиеся 70-х годов XI в., особенно важны ввиду его отношений с императором Генрихом IV (1056—1106), при дворе которого в 1074—1075 гг. нашел убежище изгнанный киевский князь Изяслав Ярославич<sup>15</sup>. Генрих IV обменивался послами и с Святославом Ярославичем (1075), и в *Анналах Ламберта* имеются сведения об этих событиях<sup>16</sup>.

Встречающаяся у Ламберта форма *Ruzeni* (<*Ruz-en-i*) с суффиксом, восходящим к \**-jān/-ān* (об этом суффиксе см. [20, Bd 1, Tl 1, S. 201, § 179.5]), особенно примечательна в силу того, что, как считается, хроника Ламберта содержала информацию о Руси, полученную из первых рук.

<sup>10</sup> См. [25, с. 135—503], перечень различных названий типа *Русь* см. в [2, с. 129, примеч. 9].

<sup>11</sup> Форма *Ruzones* = *Ruz-on-* [/руц-он/] выступает в оригинальной части *анналов* в качестве названия посольства киевского великого князя Ярослава Мудрого, которое прибыло в 1043 г. в Гослар к императору Генриху III (1039—1056): *Legati quoque Ruzonum magna dona tulerunt, sed maiora recipientes abierunt* («Послы руцонев тоже принесли великие дары, но отошли, получив еще большие») [26, с. 32].

<sup>12</sup> Написание *Rusc-* (/руц-/) находится в более древней, не оригинальной части *анналов* и относится к посольству Елены-Ольги (959 г.), которое привело к неудачной миссии Адальберта (о чем речь пойдет ниже): *venere RUSCIAE gentis legatis* («пришли послы народа Руция») [26, с. 9, под 960 г.].

<sup>13</sup> См. [27]. Форма *Ruzeni* (/руцени/) появляется в собственных наблюдениях Ламберта, тогда как форма *Rusci* (/руци/) извлечена из литературных источников.

<sup>14</sup> Под 960 г. здесь помещен рассказ о посольстве Елены-Ольги (ср. примеч. 12): *venerunt legati RUSCIAE gentis ad regem Ottonem etc.* («к королю Оттону пришли послы от народа Руция [руци/и]») [27, с. 19]. Описание посольства Ирлолка в 973 г. гораздо короче: *Illucque venerunt legati plurimarum gentium, id est ... RUSCORUM, cum magnis muneribus* («и туда приходили послы многих народов, т. е. ... руцов (с великими дарами)») [27, с. 20].

К тому же разряду сведений, а именно заимствованиям из более ранних источников, относится и упоминание о посольстве Ярослава Киевского в 1043 г.: *ibi inter diversarum provinciarum legatos, legati RUSCORUM tristes redierunt, quin de filia regis sui, quam regi Heinric (IV) nupturam speraverant, certum repudium reportabant* («туда среди послов разных провинций вернулись послы руцов, опечаленные тем, что относительно дочери своего короля (т. е. Ярослава. — П. О.), которую они надеялись выдать замуж за короля Генриха IV, они привезли окончательный отказ») [27, с. 27].

<sup>15</sup> В оригинальной части своих *Анналов* под 1075 г. (январь) Ламберт так пишет о судьбе изгнанного киевского князя Изяслава (Димитрия) Ярославича: *Paucis post diebus Mogontiam venit ibique occurrit ei Ruzenorum rex, Demetrius nomine deferens ei inestimabiles divicias in vas aureis et argenteis et vestibus valde preciosis, petitque, ut auxilium sibi foret contra fratrem suum, qui se per vim regno expulisset et regnum tyrannice immanitate occupasset ...* («Несколько дней спустя он прибыл в Майнц, где ему повстречался король руцонев по имени Димитрий, который поднес ему бесценные драгоценности в виде золотых и серебряных сосудов и весьма дорогих одежд и просил его предоставить ему помощь против его брата (Святослава II. — П. О.), который силой изгнал его из королевства и захватил власть путем тираннической жестокости...»).

...*Ruzenorum rex Dedi marchioni Saxonico, cuius ductu eo advenerat, a rege commissus est servandus, donec legati revertentur* («Саксонскому маркграфу Деди было поручено королем охранять привезенного маркграфом короля руцонев, доколе не возвратятся послы») [27, с. 167]; ср. [23, с. 63—64].

Употребленная Ламбертом форма не была уникальной. В Хильдесхаймских Анналах (ок. 1050), которые передают название Руси тремя разными способами, также имеется форма на *-jān-*: *Ruizi* (/руици/) (см. примеч. 10), *Rusci* (/руци/) (один раз)<sup>17</sup>, *Rusciani* (/руциани/) (один раз)<sup>18</sup>. То же самое можно сказать и о сочинении Гельмольда из Боау, чья «Хроника Славян» (*Chronica Slavorum*, ок. 1170 г.) тоже использует два написания (-c- = /ц/) *Ruci/Rucia* (пять раз) [29, с. 34, 36, 38, 80, 304] и *Ruceni* (*Rucenim mare* «Черное море») (один раз) [29, с. 36].

Титмар Мерзебургский (ум. 1018 г.), чья «Хроника» дошла до нас в автографе [30, с. XXVIII—XXX], часто использует (для фонемы /ц/) графему <z> параллельно с графемой <c> в нелатинских именах, например *Gezo* [30, с. 248, 286] = *Geço* [30, с. 322]; *Bezeco* [30, с. 16] = *Beçeco* [30, с. 202]; *Razo* = *Raço* [30, с. 176].

Тем не менее Титмар никогда не употребляет графему <z> в названиях, обозначающих Русь, а использует либо графему <c>, либо диграфы <sc> и <sz>, опять имея в виду фонему /ц/:

*Rucia* (один раз) [30, с. 340];

*Rucia* (трижды) [30, с. 56, 344, 432]; *Rusci* (дважды) [30, с. 432, 472];

*Ruszi* (один раз) [30, с. 476; ср. примеч. 24].

Написание через <sc> (*Ruscia*) (= /руциан/) обнаруживается в древних посланиях римских пап, касающихся Восточной Европы, например, у Григория VII (17 апреля 1075 г.; 20 апреля 1079 г.) [31, с. 5, 8] и у Григория IX (15 марта 1233 г.) [31, с. 22, дважды; однако в этом же документе встречается и форма *Russia*].

Суммируя материал, изложенный в этой главе, мы приходим к следующей стемме для названия Руси (с фонемой /ц/):

- |                  |                    |                   |                     |                 |
|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| (a) <i>Ruzz-</i> | a) <i>Ruz-</i>     | a) <i>Ruc-</i>    | a) <i>Rusc-</i>     | a) <i>Rusz-</i> |
|                  |                    |                   |                     | <i>Ruiz-</i>    |
|                  | b) <i>Ruz-en-</i>  | b) <i>Ruc-en-</i> | b) <i>Rusc-ian-</i> |                 |
|                  |                    |                   |                     | <i>Ruz-on-</i>  |
|                  | c) <i>Ruz-ari.</i> |                   |                     |                 |

Написание *Ruiz-* (с умлаутом) доказывает, что гласный *ī* был долгим [21, с. 42 (§ 40)], ср. еще [4, с. 52, 53], что подтверждается ср.-в.-н. формами *Riuze*, *Rūze* (XII—XIV вв.)<sup>19</sup>.

<sup>16</sup> Название *Ruzeni* (/руцини/) также упомянуто дважды в связи с великим князем Святославом II Ярославичем (июль 1075): *Nec multo post Burchardus praepositus Treverensis ecclesiae, qui ad regem Ruzenorum legatione regia junctus ierat, reversus est...* («Несколько позже вернулся Бурхард, препоит Трирской церкви, который ходил к королю руденов во главе королевского посольства») ... *Qua regem mercede ad hoc tantum redimere volebat rex Ruzenorum ut fratri suo, quem regno expulerat, adversum se non praebere auxilium* («Этой ценой король руденов (Святослав II. — П. О.) хотел только добиться от короля того, чтобы его брату (Изяславу. — П. О.), которого он изгнал из королевства, не была оказана помощь против него») [27, с. 194].

В хронике Альберта из Штадо [MGH SS, V. 16, p. 319] Святослав II Ярославич Киевский назван (под 1112 г.) *rex Ruzie* (/руцие/). Ср. еще [23, с. 64—65].

<sup>17</sup> Эта форма встречается в связи с миссией Адальберта, именней место в 959 г. (см. примеч. 12, 14): *venerunt legati RUSCIAE gentis* («пришли послы народа Рудия») [28, с. 60, под 960 г.]. На этой же странице приведен идентичный текст из Кведлинбургских Анналов (*Annales Quedlinburgenses*), а на следующей странице (с. 61) — из Анналов Ламберта (*Annales Lamberti*; ср. примеч. 14).

<sup>18</sup> В оригинале говорится, что Болеслав I Польский (992—1025) был втянут в войну с Русью: *contra RUSCIANOS bellum* [28, с. 69, под 992 г.]. Форма *Rusciani* (/руциани/) заслуживает особого внимания.

<sup>19</sup> Материал извлечен из [32]: *Riuze*, *riužen*; *riužesch*, *riužisch* (кни. 476); *Rūsche* (кни. 559); *Rūš*, *Rūše* (кни. 560); *rūšisch* (кни. 562). В «Песне о Нибелунгах» встречается форма *Riuzen* [33, с. 216 (1339, 1.1.)].

Графемы <z>, <zz>, <c> и <sc>, <sz> в верхненемецкой орфографии были практически взаимозаменяемыми [21, с. 152 (§ 158, примеч. 1)]. Колебание между графемами <z> и <c> означало, в переводе на язык фонетики, что эти графемы отражали скорее аффрикату /ts/ = /ц/, чем фрикативный /з/.

Средневековые латинские авторы романских стран пользовались графемой <z> как соответствием греческой буквы Ζ (ζ) [4, с. 51]. Носители древневерхненемецкого переняли эту графему из письменной практики романских авторов и стали использовать ее для обозначения двух своих новых фонем: аффрикаты /ts/ (= /ц/) и фрикативного /з/ [21, с. 151].

Эти новые фонемы развились в результате второго верхненемецкого передвижения согласных (Deutsche Lautverschiebung), которое отразилось на согласных *p, t, k*. Передвижение началось в Аллемании и Баварии незадолго до 600 г., но никогда не доходило до Северной Германии [21, с. 81—91, 150—157; 34, с. 107—113; 35]; см. также [36, с. 205—209]. В дальнейшем анализе мы ограничимся судьбой фонемы *t*.

В начале слова, после согласной и в случае геминации *t* переходило в аффрикату /ts/ (графема <z>): др.-сакс. *tiohan*, д.-в.-н. *ziohan* «тянуть» (нем. *ziehen*); \**set-tzen* > *sezzen* «ставить» (нем. *setzen*) [21, с. 152—153 (§ 159)].

В позиции после гласного *t* развилось в кластер, состоящий из двух фрикативных /зз/, например, др.-сакс. *ētan* (готск. *itan*) > д.-в.-н. *ēzzan* «есть» (нем. *essen*) [21, с. 150—157 (§ 160)].

Умлаут в названиях типа *Rūs* показывает, что в исходной германской форме был суффикс, начинающийся с *j* [21, с. 42 (§ 42)]. А. В. Назаренко полагает, что это был суф. *-jan* [4, с. 55]. Это предположение вполне приемлемо, особенно ввиду наличия форм *-jan / -an*: *Rusc-an*, *Ruz-en*, *Ruc-en*.

Только формы с суф. *-jan / -an* являются действительно германскими; формы без суффикса или с суф. *-ari* суть латинизированные формы.

Типично древневерхненемецкой чертой было удвоение согласного под влиянием *-j*, с которого начинается суффикс [21, с. 116 (§ 118)].

Таким образом, мы приходим к исходной германской форме \**Rūt + jan* > *Rūzz-*. Кроме того, в древневерхненемецком существовала тенденция к упрощению геминат, например, *leidezen* вместо *leidezzen* «осуждать» [21, с. 92 (§ 93), примеч. 1)]. Это объясняет сосуществование двух форм: *c <zz>* и *c <z>*, т. е. *Rūzz-* и *Rūz-*.

Поскольку форма \**Rūtjan* предшествовала второму верхненемецкому передвижению согласных, корень \**Rūt-* должен был проникнуть в германский в раннюю христианскую эпоху, несомненно до 600 г.<sup>20</sup>

#### 4. Рейнские формы *Rūss-* и *Rūs-*.

В то время как Германия и Австрия были областями, где действовало второе верхненемецкое передвижение согласных, в рипуарском Рейнланде (Трир — Кёльн) этого передвижения не было. Рипуарские франки, в фонемном репертуаре которых не было ни аффрикаты /ts/, ни фрикативной /з/, обычно изображаемых графемой <z>, пользовались для субституции этих звуков фрикативной /s/ [35, с. 256—258]. Таким образом появились формы *Russorum* (< \**Ruzz-*) и *Rusorum* (< \**Ruz-*). Так, обе эти формы безразлично употребляются Лиудприандом Кремонским (ум. 972 г.) в его «Антаподосисе» (*Antapodosis*) и в «Посольстве к константинопольскому императору Никифору Фоке» (*Legatio ad imperatorem Constantinopolitanum Nicephorum Phocam*) [38].

<sup>20</sup> О хронологии немецкого передвижения согласных см. [37, с. 15], литература вопроса в [21, с. 83].

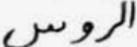
Ломбардец Лиудпранд, которого император Оттон I в 961 г. сделал епископом Кремонским, имел тесные связи с немецкой правящей элитой Рейнской области. Хорошо знал он и византийскую столицу, поскольку дважды ездил туда в качестве посла. Его покровителями были последовательно будущий король Италии Беренгар II (950—961; Лиудпранд служил ему в 948—950 гг.) и император Оттон II (ему Лиудпранд служил в 976 г.). Таким образом, Лиудпранд шел по стопам своего отчима, который служил в Константинополе, будучи послом итальянского короля Гугона Прованского (926—945). По счастью, узнав от своего отчима некоторые любопытные подробности важнейшего события в Константинополе в 941 г. — морского набега русов (*Rūs*) князя Игоря, — Лиудпранд записал их. Соответствующий пассаж в сочинении Лиудпранда начинается словами *cus Ingero rege RUSSORUM* [38, с. 446].

Любопытно, что Лиудпранд, описывая византийский флот, сообщает, что в это время (967 г.) он состоял из двадцати четырех *chelandia*, двух кораблей русов (*Russorum naves*; впрочем, он пишет также и *RUSORUM etenim naves* «ибо корабли русов», *in medio RUSORUM* «посреди русов», *Rusi* «Русь» [38, с. 462]) и двух галльских кораблей (*Gallicae* II [38, с. 548]). Такое соположение, *Russi* и *Gallicae*, еще пригодится нам в нашем исследовании.

Рейнские формы, пишущиеся через *-s-*, престиж которых должен был вырасти вместе с *dignitas* Каролингов (победа при Туре и Пуатье в 732 г.), были известны в Константинополе уже в середине X в. Лиудпранд приводит их греческую народную этимологию:

«На севере живет народ (*gens*), который у греков называется по свойству тела Ροσσιος, *Rusios*, но мы называем их *Nordmanni* по их географическому положению. Таким образом, поскольку на немецком языке (*lingua... Teutonum*) *nord* означает север, а *man* значит человек, мы можем истолковать *Nordmanni* как северные люди» [38, с. 462].

Вскоре после того, как Карл Великий завершил *Renovatio Imperii* (800 г.), он установил дружественные отношения с аббасидским халифом Аароном (Харун ар-Рашид, 786—809) [39, с. 16]. Нельзя, разумеется, приписать простому совпадению тот факт, что именно в середине IX в. в арабской географической литературе название Русь появляется в его

рейнской форме, а именно арабск. 

*ar-Rūc* в «Книге путей и стран» (*Kitāb al-masālik wa'l-mamālik*) Ибн Хур-дādбеха (ок. 840 или 840—880) [40, с. 241—259].

Рейнские формы *Russi* / *Russia* имели успех и в западноевропейской латыни после XI в., и в более поздних текстах на разговорных языках. К этим формам восходит также и английское название *Russia*.

##### 5. Рипуарско-франкская форма *Rug-*

Лоррен (немецкая Лотарингия) был родиной Каролингов, которые были рипуарско-франкского, или австразийского происхождения, и одновременно центром каролингской империи и имперского летописания. Последним имперским летописцем в Лоррене был Регино (ум. 915 г.), который закончил свою всемирную хронику в 908 г., будучи аббатом монастыря св. Мартина в Трире.

В 959 г. киевская великая княгиня Елена (Ольга < *Helga*) обратилась к Оттону I с просьбой прислать в ее страну миссию во главе с епископом

и священников. У Оттона был монах из монастыря св. Альбана в Майнце по имени Либутий, специально для этой цели рукоположенный во епископа, однако вскоре он умер. Исполнение предприятия легло на Адальберта, монаха обители св. Максимиана в Трире. В 961 г. он отправился в земли Елены, но уже в следующем году (962) был принужден оставить это дело и вернуться ко двору Оттона. Четырьмя годами позже Оттон, ставший теперь императором, поручил ему Вейсенбургское аббатство в Лоррене, и в качестве аббата он получил задание довести хронику Регино до дней Оттона. Новый аббат взялся за дело и написал свое изложение событий 907—967 гг., включая рассказ о просьбе Елены, рукоположении Либутия и о своей собственной роли в миссии на Руси в 961—962 гг. Избранное им название Руси делает его сведения исключительно ценными. Адальберт, посетивший Елену (Ольгу) и знавший Русь по собственному опыту, остановил свой выбор на форме \**Rugi*<sup>21</sup>: *legati Helenae reginae RUGORUM* («послы Елены, королевы ругов») [41, с. 214], *genti Rugorum* («народу ругов») [41, с. 214, 216], *Adalbertus Rugis ordinatus episcopus* («Адальберт рукополагается во епископа ругов») [41, с. 218].

Название \**Rugi* интриговало ученых с самого времени открытия сочинения Адальберта, но оно осталось неразъясненным и по сей день. Было предложено два решения: или это название является архаизмом [42, с. 108—119], или оно соотносимо с названием *Rugia* (нем. *Rügen*) [43, с. 292—306; 44, с. 1—16]. Допустить, что это архаизм, невозможно, поскольку Адальберт писал свою хронику совершенно простым стилем. С другой стороны, не видно причины, почему Адальберт, который сам бывал на Руси, спутал бы ее народ с древнескандинавскими ругами (*Rugi*), впервые упомянутыми Тацитом (55—120), которые в ходе Великого переселения народов безуспешно пытались утвердиться на Дунае (в Нижней Австрии), а также в Италии. Последнее упоминание названия *Rugi* встречается в 541 г. (О судьбе германских ругов см. [45, с. 80—85].)

Точно так же нет оснований и для предположения, что здесь существует какая-либо связь с островом Рюген в Балтийском море. Современник Адальберта Видукинд Корвейский, писавший в 967—968 гг., называл (славянских?) обитателей Рюгена *Ruani* [46, с. 162], и ни о какой Елене — княгине Рюгена в источниках нет речи.

«Свод преданий» (*Codex traditionum*) собора в Пассау, переписанный в 1254—1265 гг., включает в себя «Разыскание о раффельштеттенских пошлинах» (*Inquisitio de thelonis Raffelstettensis*), документ, появившийся во время последнего восточнокарлингского короля Людовика IV Дитяти (900—913), но основанный на более ранней практике, как сказано в нем:

«Времен Людовика (Немецкого, 817—843—876. — П. О.) и Карломана (с 865 г. правил совместно со своим отцом, в 876—880 — король Баварии. — П. О.) и других королей (—899 г.: Людовик III, 876—882, с 880 г. также король Баварии, Карл III,

<sup>21</sup> Как было сказано выше, в поздних анналах название Руси в эпизодах посольства Елены/Ольги и миссии Адальберта записывается как *Ruscia* (/руция/).

Как кажется, написание *sc* вместо *z* (для фонемы /н/) было своего рода модой в первые десятилетия XI в. (может быть, под влиянием Северной Италии?).

Упомянув о возведении Адальберта в сан архиепископа, Титмар подчеркивает, что тот, будучи монахом в Трире, был предварительно рукоположен во епископа Руси. Название Руси он пишет через <sc>: ... *sed RUSCIAE prius ordinatus* (но «сначала рукоположен для Руции») [30, с. 56].

Заседание (*placitum*), касавшееся Дунайского пошлинного тарифа, проходило в местечке Раффельштеттен, которое позднее пришло в запустение и перестало существовать. Некоторые ученые локализируют его на правом берегу Дуная между устьями Трауна и Зиса.

Согласно Ф. Л. Гансхофу, обсуждение этого предмета в Раффельштеттене соответствует каролингской практике 860—870-х годов [48, с. 197—224].

«Разыскание» состоит из введения и девяти глав. Глава 6 начинается так: *Slavi* же (славяне), которые приходят от Ругов или из Богемии для торговли (*Slavi vero, qui de RUGIS vel de Boemanis mercandi causa exeunt*) [47, с. 251].

Большинство ученых согласно — и я присоединяюсь к ним — в том, что *de Rugis* в этом тексте относится к купцам, приходящим с Руси (*Rus / Rus'*) [49, с. 460—461].

Рейнская (или прибрежно-франкская) форма *Rug-* встречается также в двух источниках XI — нач. XII в., использующих происходящие из Лоррена материалы. Первый источник — это *Historia Normannorum* Гийома из Жюмьежа (ок. 1072 г.), в которой великий князь Руси Ярослав Мудрый (1018—1036—1054) именуется «*Juliusclodius* (< *Jurius Georgius*) король ругов (*rex Rugorum*)»<sup>23</sup>. Вторым источником является *Genealogia Welforum* (первая четверть XII в.): Владимир Святой (979—1015, отец Ярослава) является здесь как *rex Rugorum* (*Is Chuno ... genuit... 4 filias... 3<sup>a</sup> regi Rugorum nupsit* («Этот Куно... родил... четырех дочерей... третья [из них] вышла за короля ругов») [54, с. 734].

Одной из типичных черт диалекта рипуарско-франкского языка — родного языка Адальберта — является так называемая гуттурализация, или, как ее еще называют, веларизация. Под этим подразумевается переход зубного варьивного (особенно *-d-*) после гласного переднего ряда в веларный, в данном случае *-d-* в *-g-*, например, *d.-v.-n. sniden* «резать», рипуарск. *šneg-*. Гуттурализация засвидетельствована не только в современных диалектологических записях, она появляется также и в средневековых текстах на разговорных языках (о рипуарско-франкской гуттурализации см. [37, Т. 1, с. 40—42, карта 13 (с. 119); Т. 2, с. 115—118; 55, с. 49—58]; ср. еще [36, с. 186—187].

<sup>22</sup> [47, с. 249—252, № 253, под 903—906 гг.]: *Slavi vero, qui de RUGIS vel de Boemans mercandi causa exeunt, ubicunque iuxta ripam Danubii vel ubicunque in Rotalaris vel in Reodariis loca mercandi optinuarit, de sogma una de cera duas massiolas, quarum utraque scoti unum valent* («Славяне же, которые, чтобы торговать, приходят от ругов и из Богемии, где бы они ни обещали за собой места для торговли по берегу Дуная или где-либо в Роттале (Rotthalmünster к югу от Пассау.— II. О.) или в Риде (Ried.— II. О.), [они должны платить] за вьюк воску на одном муле два куска [воска] стоимостью в один скот (скот — баварская монетная единица, равнявшаяся 1,5 франкских динариев, прибл. 1,7 г. серебра.— II. О.)».

<sup>23</sup> [50]: (в 1051 г. французский король Генрих I, 1031—1090) *Mathilde* (ошибочно вместо Аняны.— II. О.) *Juliusclodii, regis RUGORUM, filiam, in matrimonio habuit* [50, с. 185] «взял в жены Матильду, дочь Юлиусклодия, короля ругов»; ср. другой пассаж: *regis Rugorum id est RUSSIAE filiam ...* [50, с. 257] «дочь короля ругов или Руси». Интерполлятор Гийома, англонорманнский автор Ордерик Виталис (ок.1075—1142 г.), пишет в этом случае *Julius Claudius* [51]: *Henricus* (I.— II. О.) *autem, Francorum rex Bertradam, Julii Claudii* (Ярослава.— II. О.) *regis Russiae filiam, uxorem duxit...* [51, с. 158—159]. В некоторых английских хрониках, особенно в *Анналах Роже де Овдена* (ум. после 1201 г.), Ярослав именуется *Malecolodus*, что объясняется М. П. Алексеевым как искажение вышеупомянутой формы *Jurius Georgius* [52, с. 31]; см. также [53, с. 58—59].

Как известно, язык франков был смешанным, в нем германская основа была обогащена вулгарнолатинскими элементами [44, с. 152].

В галло-романском языке (VI—VII вв.) глухие согласные (например) *-t-* в интервокальной позиции озвончались (так, *-t- > -d-*), затем в течение VIII в. они становились фрикативными (так, *-d- > -ð-*) и, наконец, в XI в. в старофранцузском этот процесс завершился (так, *-ð- > -θ-*): ср. лат. *vita* «жизнь»  $>$  *\*vida*  $>$  ст.-франц. *vide*  $>$  *vie*; лат. *portata* «носимая»  $>$  *portada*; *Ataulphus* (имя собственное)  $>$  *Adaulfus* [56, с. 385—386; 57, с. 140, 262; 58, с. 8; 59, с. XXI].

Именно таким образом кельто-латинское (галло-романское) *\*Ruti* превратилось в *\*Rudi*, так же, как *Rutenis* (локатив; VI в.) / *Rutena* (IX в.) — в *Rodeis* (ок. 1260 г.); в диалекте Родеза (*rouergat*) оно развилось в *Roudés* ( $>$  *Rodez* во франц. языке XVII в.) [60, с. 572; 61, с. 205, № 1].

Исходя из этого, представляется разумным предполагать, что вулг.-лат./др.-франц. заимствование *\*Rudi*, после того, как оно перешло в рипуарско-франкский, подверглось гуттурализации (приблизительно между 800 и 860 гг.), результатом чего была форма *Rugi*.

#### 6. Приближение: Книжная форма *Ruten-* и *Ruthen-*.

В салических *Annales Augustani* (Аугсбург, 973—1104) сообщается, что в 1089 г. император Генрих IV (1056—1106) взял в жены *Prazaedem* (Евпраксию / Адельгейду Всеволодовну, 1073—1109.— П. О.) *RUTENORUM regis* (Всеволода Киевского, 1077—1093.— П. О.) *filiam* [62, с. 133], о судьбе Евпраксии-Адельгейды см. [63, с. 617—646].

Монах-бенедиктинец Ортлиб из Цвифальтена в Швабии ок. 1135—1138 писал о браке киевского великого князя Святополка II Изяславича (1093—1113) и византийской принцессы Варвары Комнины (ум. 1125 г.) в 1103 г. как о *matrimonium regis RUTENORUM* («брак короля рутенов»)<sup>24</sup>.

Оттон Фрейзингенский в своем *Chronicon* (1146 г.) упоминает о Евфимии Мономаховне (ум. 1138 г.), которая в 1112 г. вышла замуж за венгерского короля Коломана (*Kálmán*, 1095—1116), как о *RUTENORUM seu Chyos* (Киев.— П. О.) *regis filia* («дочь короля рутенов или Киева») [66, с. 536].

Точно так же и *Annalista Saxo* (ок. 1139 г.) говорит о Руси как о *Rutheni*<sup>25</sup>.

<sup>24</sup> [64; 65, с. 124; ср. с. 310, комментарий]. Тот же самый автор, однако интерполирует на той же странице рассказ о Володаре, князе Галицкой Руси (Перемишльском, ум. 1124), он употребляет по отношению к последнему выражение *Russiae* (/русьце/) *rex* (там же). Ср. еще написание Титмара (выше).

<sup>25</sup> *Annalista Saxo* [67] в качестве современника пишет под 1135 г., пользуясь модной орфографией: ... *Ungariorum et RUTENORUM, Danorum et Francorum et ceterarum gentium et regum muneribus et legationibus assidue frequenteretur* («... непрерывно стекались во множестве дары и посольства венгров и рутенов, данов и франков и прочих народов и королей») [67, с. 770].

Однако в исторической части своего сочинения, где он основывался на письменных источниках, в частности на анналах Херсфельда, Падерборна и прочих, его написание названия Руси не столь последовательно и явным образом отражает узуз его оригиналов.

Так, касаясь посольства Ольги и немецкой миссии в Киеве, он следует Адальберту (см. примеч. 21): *Legati Helene regine RUGORUM... ad regem venientes* («приходящие к королю ... послы Елены, королевы ругон») [67, с. 615, под 959 г.]; *Libutius ... RUGORUM genti ordinatur episcopus* («Льбутий ... рукополагается во епископа народа ругон») [67, с. 615, под 960 г.].

Пять раз *Annalista Saxo* использует написание через *-z-* (= /ц/): *sectam Bulgariae gentis vel Ruzie aut Slavoniae lingue* («учение народа Болгарии или Рущие или сла-

Первым известным нам автором, употребившим форму *Ruthen-* для обозначения Руси, был хронист французского происхождения, так называемый Галл Аноним. Примечательным в судьбе этого первого автора польской хроники (он писал ок. 1112—1116 гг.) было то, что он был монахом-бенедиктинцем монастыря св. Жилия (в Провансе, Южная Франция) и перед приездом в Польшу работал в Сомодьваре (*Somogyvár*) где имела венгерская обитель, дочерняя по отношению к монастырю св. Жилия. Марьян Плезя полагает, что Галл Аноним получил образование где-то в районе Тура — Орлеана [68, с. V—XVI]. Верно это или нет, Галл Аноним, во всяком случае, несомненно знал классиков, особенно столь влиятельную «Историю франков» Григория Турского (539—594) <sup>26</sup>.

Прежнее название древнекельтского государственного образования на Юге писалось, начиная с I в. до н. э., как *Ruleni*, *Rutena*, *Rutenus*, *Rutus* /

вянского языка» [67, с. 619, под 967 г.]; ... *tertia* (дочь Болеслава I Польского, ум. 1025 г.—П. О.) *nupsit filio regis RUZORUM Wolodimiri* («... третья [дочь] вышла замуж за сына короля руцов Володимира, т. е. за Святополка Киевского, 1015—1018» [67, с. 637, под 992 г.]; *Rez* (Георгий III Немецкий, 1039—1056.—П. О.) *in festo sancti Andree in Altstide placitum habuit, ubi et legatos RUZORUM cum muneribus suscepit* («на праздник св. Андрея у него было заседание в Альштиде, на котором он принял и послов руцов с дарами») [67, с. 684, под 1040 г.]; *Cunigunda nupsit regi RUZORUM* («Кунигунда вышла замуж за короля руцов») [67, с. 693, под 1062 г.]; *Habuit idem Cono comes uxorem nomine Cunigundam, filiam marchionis de Orlagemunde. Hec primam nupsit regi de RUZIA* («Тот же самый граф Куно имел жену по имени Кунигунда, дочь маркграфа из Орлагемунде. Прежде она была замужем за королем из Рудии») [67, с. 737, под 1103 г.].

Однако чаще всего (семь раз) *Annalista Saxo* переписывал из своих источников написания через *-sc- / -w- / Inger* (Игорь, ум. ок. 945 г.—П. О.) *rex RUSCORUM ... ad expugnandam Constantinopolim... venit* («Игорь король руцов ... отправился ... на завоевание Константинополи») [67, с. 602, под 938 г.], в действительности — 941 г.; Бруно (ум. 1109 г.) *in confinio RUSCIE et Litue predicaret* («проповедовал на рубежах Рудии и Литвы») [67, с. 658, под 1109 г.], в действительности — 1009 г., этот фрагмент повторяется на с. 745, под 1106 г.; *Post hec RUSCIAM, Teutonicis auxiliantibus, Bolizslava* (король Польши Болеслав I, 992—1025.—П. О.) *petiit* («После этого Болеслав при поддержке теутонов потребовал себе Рудию») [67, с. 665, под 1013 г.]; ... *Bolizslava regnum Iarizlai* (т. е. Ярослава, 1018—1054.—П. О.) *regis RUSCORUM cum exercitu invadens* («Болеслав вторгся с войском в королевство Ярослава, короля руцов») [67, с. 673, под 1018 г.]; *Kazimir* (Казимир I, 1039—1058.—П. О.), *filiius Miceccis ducis Polanorum... duxitque uxorem regis RUSCIAE filiam* («Казимир, сын Мешко, герцога поляков ... взял в жены дочь короля Рудии») [67, с. 683, под 1039 г.]; ... *rex RUSCIE* («Король послал его, палатина Фридерика, послом к королю Рудии») [67, с. 696, под 1068 г.]; *Hic (Udo.—П. О.) habuit uxorem Eupracciam, filiam regis RUSCIE* (Всеволода, ум. 1093 г.—П. О.), *que in nostra lingua vocabatur Adelheid, quam postem ducit Heinrichus* (Георгий IV, 1056—1106) *imperator* («У него была жена Евираксия, дочь короля Рудии, которая на нашем языке называлась Адельгейд, которую затем взял за себя император Георгий») [67, с. 721, под 1082 г., ср. 62, с. 133; 63, с. 617—646]; ... *inde per regnum Constantini (Byzantium) tendebant* (крестоносцы.—П. О.) *versus mare RUSCIE* («оттуда направились через царство Константина (Византию) к морю Рудии, т. е. к Черному морю») [67, с. 730, под 1097 г.].

<sup>26</sup> Довольно странно, что двое в прочих случаях исключительно точных ученых по непонятным причинам ввели в оборот ошибочное объяснение написания через *-th-*. Основываясь на авторитете Александра Альбенка [61, с. 24, примеч. 4], Борис Уйбегаун в своих «Избранных статьях» [2, с. 129, примеч. 1] пишет: «В первый раз *-h-* появилось по ошибке у Григория Турского (*civitas Ruthena, urbs Ruthena, terminus Ruthenus*) и сохранилось в *Ruthénos*, названии жителей Родеза».

В действительности же во всех рукописях «Десяти книг истории» (*Libri Historiarum X*) Григория Турского это название пишется через *-t-*. Именно поэтому такая форма была принята компетентными издателями [69] и в первом издании, выполненном В. Аридом и Бруно Крушем (Hannover, 1884), и во втором издании Бруно Круша и Вильгельма Левизона (1951). Вот некоторые примеры по второму изданию: *Rutinam civitatem* [69, с. 88], *Rutenorum episcopus* [69, с. 84], *urbe Rutena* [69, с. 84].

Ῥοῦθῆνοι, Ῥοῦθῆνοι, Ῥοῦθῆνοι, т. е. всегда через -t [61, с. 24—25, 44, 55, 56].

Тем не менее, Галл [70, с. 379—484] пишет *Ruthenorum rex* [70, с. 402, 403, 419], *Ruthenis* [70, с. 403, 467], *Rutheno* [70, с. 403, 453], т. е., пользуясь новой орфографией, отождествляет кельтских *Ruteni* Григория Турского с современной ему восточноевропейской Русью. В одном случае, однако, Галл употребляет обе формы, т. е. *Rutheni* и *Russia*, в одном ряду:

«Случилось, что в одно и то же время король Болеслав III (король Польши, 1102—1138, покровитель Галла. — *П. О.*) вторгся в Руссию, а король рутенов вторгся в Польшу (*contigit namque uno eodemque tempore Boleslavum regem RUSSIAM, RUTENORUM vero regem Poloniam*), не зная друг о друге; они стали лагерем, каждый на чужом берегу пограничной реки, вдоль их границы...» [70, с. 406].

Другой француз, Сугерий, аббат монастыря св. Дени (ок. 1081—1151), а до того — политик, идеолог и ведущий историк своего времени, тоже говорит о правителе Руси как о *rex Ruthenorum* [71, с. 61]: *Atavae* (= Анна. — *П. О.*) *Regis Ruthenorum filiae* «Атавы, дочери короля рутенов».

Это равенство: кельтские *Ruteni* = *Русь*, вероятно, было ясно сформулировано незадолго до XII в. или в течение этого столетия, поскольку оно обнаруживается в сочинении ученого компилятора Гервасия из Тилбери (ок. 1150—1235), англо-норманна, получившего образование на континенте и в последние годы жизни работавшего при дворе своего родственника императора Оттона IV (1209—1218). В своих «Императорских ученых досугах» (*Otia imperialia*), написанных около 1209—1215 г., затрагивая вопрос о современной ему Руси, Гервасий цитирует латинского писателя Лукана (*Marcus Annaeus Lucanus*, 39—65), который упоминает древнекельтских рутенов:

«О Паннонии... Польша соприкасается с одной стороны с Руссией, которая есть также Рутения (*Polonia... contigit RUSSIAM, quae et RUTHENIA*), о которой Лукан [пишет в „Фарсалиях“ (*Pharsales*) I, 402. — *П. О.*]: *Solcuntur flavi longo statione RUTHENI* („Рассеваются золотокудрые рутены с их давней стоянки“). В этой стране род рутенов (*gens Ruthenorum*), медлительный на досуге и т. д.» [53, с. 65].

В географическом разделе энциклопедического сочинения «О свойствах вещей» (*De proprietatibus rerum*, закончено ок. 1250 г. [53, с. 69—96]) францисканца Варфоломея Английского (ок. 1190—1250), англо-норманна, работавшего в Магдебурге (Восточная Германия), имеется краткая глава о Руси в это время. Здесь он тоже идентифицирует *Ruthia* и *Ruthena*:

«О Рутия (*De RUTHIA*). Рутия, или Рутена (*RUTHIA, sive RUTENO*), которая является провинцией Мезии (= Германия, как части Скифии? — *П. О.*), расположена вдоль рубежей Малой Азии, соседствуя с римской границей на востоке, с Готией (Германией) — на севере, Паннонией (Венгрией) — на западе и с Грецией — на юге. Это огромная страна, и их речь сходствует с речью богемцев и славян. Одна часть ее (страна. — *П. О.*) именуется Галация (*Galacia*) (украинская Галиция. — *П. О.*), ее жители некогда назывались галаты (*Galathae*), к которым, как говорят, апостол Павел обратился со своим посланием. О Галации смотри выше» [53, с. 77].

В пассаже, касающемся Галиции / Галации, т. е. Западной Украины (*De Gallacia*), Варфоломей, опираясь на авторитет более древнего энциклопедиста, Исидора Севильского (ок. 560—636), отождествляет обитателей этой страны с древними галлами. Он заключает этот пассаж следующим утверждением: «Эта страна (*regio*; Галиция. — *П. О.*) — наиболее протяженная и плодоносная; она занимает в Европе большую часть, которую многие называют Рутенией (*Rutenea*)» [53, с. 74].

Написание этого названия через *-t-* (*Rutenea*) показывает, что Варфоломей следовал здесь другому источнику.

Первый польский историк-поляк, епископ Краковский Винцент Кадлубек (ок. 1150—1223), получивший образование в Болонье и Париже, в своей исключительно влиятельной в европейско-латинской читательской среде «Хронике» (ок. 1218—1220) [72] отдавал предпочтение форме *Ruthen-* [72, с. 286, 294, 379, 421, 430, 433, 437, 440]. Только однажды (не считая цитирования пассажа из Галла Анонима [72, с. 280], где тот, как сказано выше, приводит две разные формы), Кадлубек обе формы (*Russ-* и *Ruthen-*) употребляет в одном ряду: «князь Руссии (*Russia*) Лаодерий (Володарь Галицкий, 1084—1124. — *П. О.*) собрал воедино своих рутенов (*suos Ruthenos*)» [72, с. 350].

Подытоживая наблюдения над написаниями через *-t-* и *-th-*, можно сделать вывод, что они были введены французскими и англо-норманскими учеными, латинизировавшими немецкое написание через *-z-* / *-c-* и т. д. (для фонемы /ц/) и «восстановившими» «древнее» *t*, иначе говоря, формы *Ruz-* (/руц/) и *Ruzen-* (/руцен/) были исправлены в *Ruth-* и *Ruten-* / *Ruthen-*.

### 7. Заключение.

Название *Rūs* впервые появляется в латинских каролингских источниках в первой половине IX в. В соответствии с разделением империи каролингов на две культурно-военно-экономические зоны — Дунайский и Рейнский регионы — развились две разные формы этого названия.

Первая была южногерманская (или относящаяся к Дунайскому региону) форма *Ruzz-* / *Ruz-* (/руцц/, /руц/), возникшая в результате второго верхнегерманского передвижения согласных. Ее корень \**Rut-* / \**Rut-en-* был заимствован из кельтско-византийского незадолго до 600 г. (т. е. до передвижения согласных).

Поскольку Рейнланд не участвовал в германском передвижении согласных, в консонантном репертуаре его языка не было аффрикаты /ts/ (= /ц/). Заимствуя южногерманские слова, франки Рейнланда использовали сибилант /s/ для субституции чужого для них /z/ (= /ц/), т. е. *Ruzz-* / *Ruz-* переходили в *Russ-* / *Rus-*.

Третьей формой было рейнское рипуарское слово *Rugi*, появившееся как результат типично рипуарско-франкской гуттурализации. Древнефранцузское заимствование *Rudi* (начиная приблизительно с 800 г.) послужило для его развития отправным пунктом. Таким образом, существование рипуарской формы *Rugi* (< \**Rudi* < *Rut-*) подтверждает, что исходной для форм типа *Ruzz-* была форма \**Rut-*.

Относящиеся к концу XI—XII вв. формы *Rut-en-* / *Ruth-en-* являются книжными релатинизированными формами, не имеющими непосредственного влияния на решение вопроса об этимологии названия *Rūs* / *Rusc*.

Интересно отметить, что источником для славянских форм *Ruscь* и *Ruscин* послужили субституты *Russ-* / *Rus-* кельтской формы (\**Rut-*, *Rut-en*). Они были принесены в Восточную Европу рутено-фризско-норманской торговой компанией, действовавшей там в последней четверти VIII в. <sup>27</sup>.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Pritsak O.* The origin of Rus'. I: Old Scandinavian sources other than the sagas. Cambridge (Mass.), 1981.
2. *Unbegaun B. O.* Selected papers on Russian and Slavonic philology. Oxford, 1969.

<sup>27</sup> Подробнее об этом см. [73].

3. Назаренко А. В. Имя «Русь» и его производные в немецких средневековых актах (IX—XIV вв.) // Древние государства на территории СССР. 1982. М., 1984.
4. Назаренко А. В. Об имени «Русь» в немецких источниках IX—XI вв. // ВЯ. 1980. № 5.
5. Annales Bertiniani / Ed. Waitz G. // MGH SSr Germanicarum. 1883.
6. Constantine Porphyrogenitus. De administrando imperio. V. 2 / Ed. Jenkins R. J. H. L., 1962.
7. Moravestk Gy. Byzantinoturcica. 2. Ausg. V. 2. B., 1958.
8. Fragmenta historicorum graecorum. V. 5 / Ed. Müller C. P. 1870.
9. Photius. The homilies / Transl. by Mango C. Cambridge (Mass.), 1958.
10. Biblia Hebraica / Ed. Kittel R., Kahle P. et als. Stuttgart, 1945.
11. Флороский А. В. Кивзь Рось у пророка Исаекиля // Сборникъ въ честь на В. Н. Златарски. София, 1925. С. 516.
12. Frings Th. Germania Romana. 2. Ausg. V. 1. / Hrsg. Müller G. Halle (Saale), 1966.
13. Müller G., Frings Th. Germania Romana. 2. Ausg. V. 2. Halle (Saale), 1968.
14. Diplomata regum Germaniae ex stirpe Karolinorum / Ed. Kehr P. // MGH DD. (1932—1934). T. I.
15. Müller K. Itineraria Romana. Stuttgart, 1916.
16. Fritze W. H. Frühzeit zwischen Ostsee und Donau. B., 1982.
17. Nalepa J. «Geograf Bawarski» // Słownik starożytności słowiańskich / Ed. Kowalenko W., Labuda G., Stieber Z. 1964. T. 2. Cz. 1.
18. Łowmiański H. O pochodzeniu Geographa bawarskiego // Roczniki historyczne. 1951—1952. 20.
19. Descriptio civitatum ad septentrionalem plagam Danubii (t. zv. Bavorský geograf) / Ed. Horák B., Travniček D. Praha, 1956.
20. Bach A. Deutsche Namenkunde. Bd I. Tl 1, 2: Die deutschen Personennamen. Heidelberg, 1952, 1953; Bd 2. Tl 1, 2: Die deutschen Ortsnamen. Heidelberg, 1953, 1954; Bd 3: Registerband. Heidelberg, 1956.
21. Braune W. Althochdeutsche Grammatik. 13. Aufl. / Bearb. von Eggers H. Tübingen, 1975.
22. Vita Chunradi Archiepiscopi Salisburgensis / Ed. Pertz G. H. // MGH SS. 1854. V. 11.
23. Грушевський М. История Украины — Русн. Т. 2. 2-е вид. Львів, 1905 (репринт — N. Y., 1954).
24. Urkundenbuch zur Geschichte der Babenberger in Österreich / Hrsg. Fichtenau H. und Zöllner E. Vienna, 1950.
25. Magistri Adam Bremensis Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum / Ed. Schmeidler B. et als. // AQzDGM. 1971. V. 11.
26. Annales Althenses maiores / Ed. von Oefele E. L. B. // MGH SSr Germanicarum. 1891. V. 4.
27. Lamperti monachi. Hersfeldensis Annales / Ed. Holder-Egger O. // MGH SSr Germanicarum. 1894. V. 38.
28. Annales Hildesheimenses / Ed. Pertz G. H. // MGH SS. 1839. V. 3.
29. Helmodi presbyteri Bozoviensis Chronica Slavorum / Ed. Schmeidler B., Stoboh H. // AQzDGM. 1963. V. 19.
30. Thietmari Merseburgensis episcopi Chronicon / Ed. Holtzmann R., Trillmich W. // AQzDGM. 1957. V. 9.
31. Documenta Pontificum Romanorum Historiam Ucrainae illustrantia (1075—1953) / Ed. P. Athanasius G. Welykyj // Analecta Ordinis S. Basilii Magni. 1953. V. 1.
32. Lexer Matthias. Mittelhochdeutsches Handwörterbuch. Bd 2 (N — U). Leipzig, 1876.
33. Nibelungenlied 17. Aufl. / Ed. Bartsch K., de Boor H. Wiesbaden, 1961.
34. Mitska W. Die althochdeutsche Lautverschiebung und der ungleiche fränkische Anteil // Z. für deutsches Altertum und deutsche Literatur. 1951—1952. Bd 83.
35. Lerchner G. Zur II Lautverschiebung im Rheinisch-Westmitteldeutschen. Diachronische und diatopische Untersuchungen. Halle (Saale), 1971.
36. Журмунский В. М. Введение в сравнительно-историческое изучение германских языков. М.; JL., 1964.
37. Frings Th. Sprache und Geschichte. Bd 1—3. Halle (Saale), 1956.
38. Ludprands von Cremona Werke / Ed. Bauer A., Rau R. // AQzDGM. 1971. V. 8. (S. 244—495; Antapodosis; 524—589; Legatio).
39. Einhard. Vita Karoli Magni / Ed. Holder-Egger O. // MGH SSr Germanicarum. 1911. V. 25.
40. Pritsak O. An Arabic text on the trade route of the corporation ar-Rus in the second half of the ninth century // FO. 1970. 12.
41. Adalberts Forsetzung der Chronik Reginos / Ed. Bauer A., Rau R. // AQzDGM. 1971. Bd 8.

42. Zöllner E. Rugier oder Russen in der Raffelstettner Zollurkunde? // Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. 1952. Bd 60.
43. Milewski T. Pierwotne nazwy Rugji i słowiańskich jej mieszkalców // Slavia occidentalis. 1930. T. 9.
44. Steinhäuser W. Rügen und die Rugier // ZSPh. 1939. Bd 16.
45. Schwarz E. Germanische Stammeskunde. Heidelberg, 1956.
46. Widukinds Sächsegeschichte / Ed. Bauer A., Rau R. // AQzDGM. 1971. Bd 8.
47. MGH. Capitularia Regum Francorum / Ed. Boretius A., Krause V. 1890—1897. V. 2.
48. Ganshof F.-L. Note sur l' «Inquisitio de theloncis Raffelstettensis» // Le Moyen Age (Bruxelles). 1966. V. 72. № 2.
49. Strzelczyk J. Raffelstetten // Słownik starożytności słowiańskich. 1972. T. 4. Cz. 2.
50. Guillaume de Jumièges. Gesta Normannorum Ducum / Ed. Marx J. Rouen; Paris, 1914.
51. Orderic Vitalis. Historia ecclesiastica. V. 3 / Ed. Prevost Au. P., 1845.
52. Алексеев М. П. К вопросу об англо-русских отношениях при Ярославе Мудром // Научн. бюл. ЛГУ. 1945. № 4.
53. Мамузова В. И. Английские средневековые источники IX—XIII вв. (Древнейшие источники по истории народов СССР). М., 1979.
54. Genealogia Welforum / Ed. Waitz G. // MGH SS. 1881. V. 13.
55. Frings Th., Schmidt L. E. Gutturalisierung // ZMaF. 1942. Bd 8.
56. Nyrop Kr. Grammaire historique de la langue française. 4-me ed. V. 1. Copenhagen, 1935.
57. Pope M. K. From Latin to modern French, with especial consideration of Anglo-Norman. Manchester, 1934.
58. Kesselring W. Die französische Sprache im Mittelalter von den Anfängen bis 1300. Tübingen, 1973.
59. Dauzat A., Dubois J., Mitterand H. Nouveau dictionnaire étymologique et historique. 4-me ed. P., 1983.
60. Dauzat A., Rostaing Ch. Dictionnaire étymologique de noms de lieux en France. 2-nde ed. P., 1984.
61. Albenque A. Les Rutènes. Rodez, 1948.
62. Annales Augustani / Ed. Pertz H. G. // MGH SS. 1839. V. 3.
63. Розанов С. И. Евпраксия-Адельгейде Всеволодовна (1071—1109) // Изв. АН СССР. Сер. VII. Т. 8. Л., 1929.
64. Die Zwiefalter Chroniken Ortliebs und Bertholds / Ed. Pertz G. H. // MGH SS. 1856. V. 12.
65. Die Zwiefalter Chroniken Ortliebs und Bertholds // Schwäbische Chroniken der Stauferzeit. V. 2 / Ed. Wallach L. et als. Sigmaringen, 1978.
66. Ottonis episcopi Frisingensis. Chronica sive Historia de duabus civitatibus / Ed. Hofmeister A., Lammers W. // AQzDGM. 1972. Bd 16.
67. Annalista Saxo / Ed. Waitz G. // MGH SS. 1844. V. 6.
68. Anonim tzw. Gall. Kronika Polska / Польск. перев. Plezia M. // Biblioteka narodowa. Seria I. № 59. Wyd. 4-e. Wrocław, 1975.
69. Gregorii Turonensis. Opera. Libri historiarum X / 1 ed. Arndt W., Krusch B. 1884—1885; 2 ed. Krusch B., Levison W. 1937—1951 // MGH SS Merovingicarum. V. 1.
70. Gakka Kronika / Ed. Bielowski A. // Monumenta Poloniae Historica. V. I. Львів, 1864 (репринт — Warszawa, 1960).
71. Suger. Vita Ludovici IV / Ed. Delisle L. // Recueil des historiens des Gaules et de la France. 12. P., 1877.
72. Magistri Vincentii Chronicon Polonorum / Ed. Bielowski A. // Monumenta Poloniae Historica. V. 2. Львів, 1872 (репринт. — Warszawa, 1961).
73. Pritsak O. At the dawn of christianity in Rus' // Harvard Ukrainian studies. 1990. V. 12—13.

Перевед с английского Арзунов А. А.

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

## РЕЦЕНЗИИ

Seriot P. *Analyse du discours politique soviétique*. P.: Institut d'études slaves, 1985. 362 p.

Книгу проф. П. Серью приходится рецензировать, по внеучным причинам, с опозданием на пять лет. Она посвящена анализу структуры, грамматических особенностей и смысла советского политического дискурса определенного периода. Ее конкретный материал — речь Н. С. Хрущева на XXII съезде КПСС (конец «оттепели») и Л. И. Брежнева на XXIII съезде (начало «застойного периода»). На обложке книги стоит 1985 г. — время, когда высказывания названных политических деятелей еще не стали объектом изучения. Подход же к политическому дискурсу не с идеологической, а с научной точки зрения у нас был не принят, поэтому ни в одном пособии по культуре речи и риторике никогда не говорилось о современных политических ораторах. В лучшем случае их авторы ограничивались упоминанием ораторов ленинской школы (см. недавно опубликованные работы [1—3]). И в целом политический дискурс остается пока terra incognita для отечественных языковедов.

Книга П. Серью является первым в мировой литературе столь подробным описанием советского политического дискурса (в дальнейшем — СПД). Ограничившись сравнительно небольшим материалом (две речи), автор проделал весьма значительную работу. Это свидетельствует о том, что СПД — мощный пласт языка, исследование которого требует дальнейших подробных и многоплановых исследований. По мнению автора, они должны быть свободны от сиюминутных конъюнктурных изображений и опираться на изучение языка, а не на внешние обстоятельства; П. Серью призывает читать строки, а не между строк.

Первая глава книги посвящена наименованию СПД. По мнению автора, наилучшим образом передает его сущность определение «деревянный язык» (*le langage de bois*). Внутренняя форма этого наименования обоснована следующим. Во-пер-

вых, в польском существует понятие «drętwą tową», определяемое как «язык лозунгов, стершийся язык». В русском языке хорошо известен фразеологизм «деревянный», т. е. бедный, невыразительный язык. Однако это выражение, как и его эквивалент «корявый» язык, не вполне соответствует тому смыслу, который вкладывается автором в «langue de bois»; здесь, скорее, ближе по смыслу выражение «сухой язык, казенный язык» и изобретенный К. Чуковский «канцелярит». Но в других европейских языках смысл «канцелярский, казенный язык» передается именно фразеологизмом «деревянный язык»: итал. *lingua da legno*, нем. *hölzerne Sprache* (именно так язык советской политики был назван в известной книге М. Восленского «Номенклатура»). Сходное значение имеет англ. *gobbledygook* (ониматопея по происхождению, дословно «индюшине кудахтаешь»). К тому же франц. *langue de bois* ассоциируется с *gueule de bois* «ощущение похмелья», ср. русск. (груб.) *во рту скакалон ночевал*. С другой стороны, франц. *langue de bois*, как и англ. *wooden tongue*, может обозначать и заболевание — отвердение языка у домашних животных. Это выражение может быть метафорически перенесено и на язык политических докладов, ставящих перед собой определенную цель, но — бессознательно или осознанно — совершенно не разборчивых в средствах.

Установив эти дефиниции, автор делает обзор основных попыток дать общую характеристику СПД. «Деревянный язык» советских руководителей рассматривался с точки зрения соотношения с реальностью; поэтому он получал название «язык-ложь» (А. Солженицын), «советский язык», моносемантический, исключающий всякие неоднозначные толкования действительности, приводящий к полной потере словом своего значения (М. Геллер), «сюрреалистический язык» (А. Мартинес), «шизоидный язык», управляемое

эстетикой клише (А. Гроппо). Вместе с такими, явно оценочными высказываниями встречаются и собственно лингвистические дефиниции: «игра словами», призванная подменить реальность (Г. Мулен), язык-метафора и т. д.

Автор же в своих дефинициях исходит из следующего. «Дерзавный язык» — это не язык и не речь, а определенный вид дискурса. Упомянутые П. Серьо авторы определяли задачи и цели этого дискурса двойко: как приписывание денотату ложного смысла (язык лжи, маккиавеллизм) или как лишение слова всякого смысла («очаровательный труп», термин Г. Мулена). Автор полагает, что понять смысл этого дискурса можно только после глубокого исследования СПД как определенной цепи условий, детерминирующих продуцирование и интерпретирование текстов.

Выбор объекта исследования объясняется особой исторической ситуацией — XII съезд КПСС — последний съезд хрущевской эпохи, а XIII — первый в брежневское время, что определяет различия между ними. С одной стороны, в докладе Брежнева было потрачено немало усилий на то, чтобы подчеркнуть, что курс партии остается неизменным, но, с другой стороны, события октябрьского 1964 г. пленума ЦК невозможно было замолчать. По удачному выражению П. Серьо, Хрущев одновременно присутствует и не присутствует в докладе Брежнева: он не назван по имени, но упоминаются волюнтаризм и субъективизм [Это чрезвычайно интересное суждение, на мой взгляд, лучше всего свидетельствует о том, что СПД стремится отбросить реальный смысл денотата и заполнить его новозосозданным. Имя же собственное всегда лишь указывает на определенный референт, не сообщая о нем никаких дополнительных сведений (по крайней мере, прямо), оставляя его один на один с адресатом речи. Задача же СПД именно в том, чтобы вложить последнему свой смысл и навязать свою систему ценностей. Именно поэтому после разгрома в 30-е годы всех оппозиций и после политических процессов их субъекты редко упоминались по имени, а так называемые «требования трудящихся» обычно формулировались не «Смерть Бухарину (Рыкову, Томскому...), а «Смерть троцкистско-бухаринской банде. Особого расцвета этот стиль достиг в брежневские времена, когда в курсах истории КПСС преступления Сталина и его подручных упоминались вскользь, как случайные, преходящие ошибки, совершенные неизвестно кем и насколько не нарушающие общего движения к светлому будущему. Так же безличны упоминания и об успехах партии: в них актуальны только два имени соб-

ственных: Ленин и правящий лидер. Ясно, что первое имя существенно отошло от своих функций и превратилось по сути в символ или даже миф (в лосеском понимании). Итак, одна из важнейших черт СПД — попытка устранения референтного, действительного мира, возможного денотата и попытка подогнать значение слова под сконструированный кофидент. Эта тема требует дальнейшей разработки, как, впрочем, и все, относящееся к СПД.] Тем не менее, поскольку линия партии по крайней мере на словах в указанный период оставалась неизменной, то между обими выбранными автором текстами наблюдается больше сходства, чем различия. Прежде всего сходство обусловлено, конечно, общей коммуникативной ситуацией. Ведь доклад на съезде — это письменный текст, предназначенный для устного воспроизведения (de l'écrit à l'oral). Это предопределяет следующий состав участников коммуникативного акта: автор-производитель текста, читающий текст и слушающие. Последние влияют на воспроизведение текста самым незначительным образом: в виде ремарок (оживление в зале; аплодисменты; крики «Правильно!»). Между производителем и читающим существует отношение не тождества, а скорее неполного вхождения: читающий выражает в тексте не себя, а стоящую за ним организацию (в данном случае — ЦК КПСС — и шире — свою идеологию, систему ценностей и действий). Вместе с тем отклонения от литературного стиля и нормативной лексики, встречающиеся в докладе Хрущева, характеризуют именно докладчика. В этом смысле доклад Брежнева еще менее личностен.

В политическом дискурсе — отчетном докладе достаточно эксплицитно выражены и производители, и адресаты речи. К первым относятся: «Я (Генеральный секретарь); ЦК; наша партия; все коммунисты; наша страна; мы»; ко вторым — «делегаты съезда; все коммунисты; народ; все прогрессивное человечество»; «мы». Немалый интерес представляет пересечение обеих множеств, что доказывает стремление производителя приблизиться к тождеству с адресатом речи. Но П. Серьо обращает внимание на другую важную черту — тяготение СПД к особым псевдонимическим группам, названным автором «координатиями в недискурсивной теории речевой деятельности». Это — однородные члены предложений, в семантике которых наблюдаются общие черты. Смысловые потенции слова раскрываются в зависимости от того, с каким словом оно становится в координатия. Примеры координаций: /Б/ «Партия, весь советский народ богаты талантливыми людьми»; /X/ «Партия, советский народ богаты талантливыми людьми». От координаций следует

отличать те виды однородности, когда однородные члены не равны по значению по смыслу. Так, нет координации в выражениях типа «борьба между силами прогресса и реакции»; «союза рабочего класса и колхозного крестьянства». В первом случае речь идет о явлениях, прямо враждебных друг другу, во втором — денотатах, хотя и объединены в общую предметную область, но границы между ними остаются достаточно четкими. Напротив, истинная координация «партия и советский народ» характеризуется именно размытостью границ между составляющими: первое как бы вырастает из второго. Главный же признак координации — монофункциональность составляющих.

Вся система слов, находящихся в координациях, составляет то, что автор назвал «конstellациями сопоставимостей» (*constellations des comparabilités*)<sup>1</sup>. В книге приводится их схематическое изображение. У Хрущева в эту «конstellацию» входят 43 лексемы, некоторые повторяются по несколько раз, наиболее употребительное сочетание — *партия (и) народ* (28 раз). У Брежнева — 80 лексем, наиболее частотное — тоже *партия и народ*, но меньше, чем у Хрущева — 16 раз. Меньшее количество лексем в «конstellациях» Хрущева объясняется тем, что у него представлены имена более крупных и общих классов, чем у Брежнева: *партия, народ, молодежь, рабочие, крестьянство*. У Брежнева существуют и более частные классы: *писатели, публицисты, ученые*; многие из них эксплицируют общие классы: *крестьянство* → *труженики колхозов (совхозов), руководители колхозов (совхозов), агрономы, зоотехники*. Если у Хрущева руководящие органы упоминаются кратко (*ЦК, руководство партии и правительства*), то у Брежнева список имен этого класса почти вдвое длиннее (*ЦК, правительство, руководящие кадры, Советская власть*). Кроме того, у Хрущева наблюдается большая открытость к миру: в число сопоставимостей входит также и *все человечество, народы других* (т. е. не социалистических) стран; у Брежнева же упомянуты только дружественные силы (*братские партии, трудящиеся всех стран*) и лишь в одном контексте — *мировая цивилизация*. Верный идее «читать строки, а не между строк», П. Серьо не комментирует «конstellации сопоставимостей»; однако по изложенному следует вполне определенный вывод: дискурс Брежнева еще более бюрократичен и регламентирован, чем у Хрущева, конец «хрущевской оттепели» отразился и в «картине мира» отчетного до-

клада ЦК, сделав ее еще более замкнутой и статичной.

Наиболее часто в «конstellациях» встречается лексема *партия*, и П. Серьо отмечает в этой связи, что можно выделить три основных контекста: *партия* ≙ «государство», *партия* = «народ», *партия* = «правительство», символически — П<sub>1</sub>, П<sub>2</sub>, П<sub>3</sub>. Высказывания Брежнева с этими контекстами отличаются значительно большей тривиальностью и неконкретностью по сравнению с хрущевскими. У первого находим примеры П<sub>1</sub> («Отрицательные черты Сталина нанесли большой ущерб партии», «Против линии партии выступили лица, занимавшие видное положение»), П<sub>2</sub> («Партия единодушно одобрила решение июньского Пленума»). Высказывания же Брежнева значительно менее референтны, меньше привязаны к конкретным событиям: П<sub>1</sub> («Укреплять дисциплину партии»); П<sub>2</sub> («Партия строит коммунистическое общество»); П<sub>3</sub> («Партия осуществила ряд важных мероприятий по...»). П. Серьо отмечает в этой связи, что в контекстах П<sub>1</sub> у Хрущева речь идет по большей части о конкретных людях — так называемой «антипартийной группе». При этом сама лексема *партия* здесь не выступает в качестве субъекта, т. к. здесь речь идет не столько о трудовых победах партии, сколько о покушениях на нее. Напротив, аналогичные контексты Брежнева малокофликтны. Контексты П<sub>2</sub> у Хрущева почти всегда несут предикат прошедшего времени несовершенного вида, часто с кванторными наречиями («Партия всегда разоблачала козлов врагов»). У Брежнева же в этом случае стоит главным образом настоящее время, выражающее актуальные действия, нацеленные на будущее («Партия строит коммунизм»). Наконец, в контекстах П<sub>3</sub> Хрущев ограничивается в основном рекомендациями («Партия призывает»), а Брежнев использует предикаты действия («Партия заботится»).

Другое ключевое слово обоих докладов — *народ* — не распадается на слова с разными денотатами. Его семантические потенции выявляются с помощью синонимических рядов, из которых следует, что народ связан по большей части с предикатами высокого стиля и положительной оценки: *Народ строит коммунизм; часть советских людей страдает от нарушений законности в годы культа личности*. В демографических же процессах участвует исключительно население (*население увеличивается в объеме*). Оценивая метод координации, разработанный П. Серьо, можно сказать следующее. Конечно, некоторые частные вопросы остаются дискуссионными. Можно, например, полагать, что контексты, обозначающие автором как П<sub>1</sub>, касаются не столько свя-

<sup>1</sup> Термин «конstellация», букв. «созвездие», заимствован из терминологии глоссематики Л. Ельмслева.

зи партии с государством, сколько внутрипартийных дел. Этим они отличаются от контекстов  $P_2$  и  $P_3$ , объединяющих партию с другими институтами (народ, правительство). Но в целом ясно, что координация действительно служит хорошим орудием для выявления в слове его индивидуального смысла, несомного автором текста. Кроме того, исследование координации помогает выявить и иерархичность слов, их оценочный характер (см. также ниже).

Следующая характерная особенность СПД — преобладание существительных, образованных от глаголов (номинализация). Логические субъекты и особенно объекты этих имен стоят в генитиве, поэтому в речах Хрущева и Брежнева в среднем вдвое — втрое больше генитивов, чем в среднем в русской речи, согласно данным словаря Штейнфельдт [4]. Но нужно учесть, что не всякое отглагольное имя, пусть даже и управляющее генитивом, можно считать номинализацией. Для этого необходима живая, осознаваемая связь с глаголом. В противном случае происходит то, что Л. Теньер называл «застывшей трансляцией» [5] (у П. Серьо целый раздел посвящен именно этому явлению). Застывшие трансляции могут отличаться от живых своим синтаксическим управлением и валентностью; иногда же их можно выявить с помощью перевода на другой язык. Так, в русск. *явления подобно рода* имя в номинативе вне всякого сомнения связано с глаголом *являть*, *являют*; оно управляет генитивом, но его нельзя рассматривать как подлинную номинализацию, и на французский оно переводится именем, в котором в рамках французского языка уже никак нельзя выявить глагольную основу: *réponème*. (Заметим, впрочем, что перевод на другой язык трудно считать корректным методом проверки. И в данном случае, на наш взгляд, гораздо существеннее синтаксическая семантика оборота: генитив здесь служит определением, а не актантом. Напротив, в высказывании *Явление Христа народу* мы имеем дело с подлинной, живой номинализацией. Будучи сходным с процитированным выше на поверхностном уровне, данное высказывание резко отличается от него на глубинном. И выявить это различие позволяет только семантика).

По П. Серьо, существует три основных типа номинализации: существительные образуются от глаголов: *строить* → *строительность*; существительные образуются от прилагательных: *вдвигательный* → *вдвигательность*; существительные относятся не к тем корням, к которым относятся замещаемые ими глаголы: *хотеть* → *воля*. Все существительные-номинализации занимают весьма значительное место в ис-

следованных корпусах (приводятся подсчеты). В рамках трансформационной грамматики номинализация должна рассматриваться как свернутое предложение. Так, в предложении из доклада Брежнева: *Ленин видел в этом выражение революционного духа партии* прямое дополнение развертывается в *выражение революционного духа партии*. Но в отличие от предикативных синтагм номинализация лишена показателей времени и модальности, в связи с чем у слушающего создается впечатление истинности и неизменности концептов номинализации.

Весьма значительное место (несколько разделов) П. Серьо отводит логическому анализу номинализации, предпринятому различными исследователями. Так, П. Адамец [6] предлагает различать фактографическую и идеографическую номинализацию. Первая категория повествует об имевшем/неимевшем месте события (*Петр пришел* → *Я рад приходу Петра*). Идеографическая же модальность не указывает на реальные события, а лишь на мысленные построения (*Он (бы) поддержал мой проект* → *Я просил его о поддержке моего проекта*). Как отмечалось выше, номинализации на поверхностном уровне лишены указаний на модальность, поэтому, как считает П. Адамец, различать их позволяет трансформация. Фактографические номинализации трансформируются в сложноподчиненные предложения с союзом *что* (*Я рад, что Петр пришел*), идеографические — в предложениях с союзом *чтобы* или инфинитив (*Я попрошу, чтобы он поддержал мой проект / попрошу его поддержать мой проект*). Специфика СПД, однако, состоит в том, что в нем многие номинализации и в этом отношении вполне амбивалентны. На основании этого П. Серьо считает метод П. Адамца не вполне релевантным. С нашей точки зрения, напротив, различие номинализаций по модальностям вполне корректно; амбивалентность же этих модальностей в СПД вполне отвечает его прагматическим установкам: внушить слушателям, что все, существующее в сфере мысли, воплощается в реальность («Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...», — сказали бы мы по этому поводу).

Автор соглашается с З. Вейдлером [7], что номинализации занимают в предложении «пустые места» (*places vides*), предоставляемые структурными схемами предложений, заполняя их свернутыми предложениями. Рассматривая их как члены предложения, следует отметить, что существуют предикаты, управляющие только объектами-номинализациями, например, *вызывать* обязательно имплицитно имя действия: *Эксплуатация трудящихся вызывает обострение клас-*

совой борьбы». Существуют также ограничения на сочетание номинализаций с эпитетами. И здесь определенную роль играет разграничение номинализаций на целостные и нецелостные. Первые управляют предикатами типа *находиться, даваться, происходить*, имеют при себе эпитеты типа *медленный, постоянный*, а в качестве объектов являются компонентами при глаголах *видеть, наблюдать, чувствовать*. Они утверждают бытие своего денотата. Нецелостные номинализации трансформируются в предложения типа *то, что ... (как, когда, где)*. Они сочетаются с предикатами *утверждать, считать, полагать*, обстоятельствами, выражающими модальность (*возможно, истинно, должно*). Иными словами, как мы полагаем, различия между целостными и нецелостными номинализациями примерно таковы, как между ассерторическими и модальными высказываниями в логике [8]. Но и эти признаки могут оказаться недостаточно релевантными. Н. Д. Арутюнова подчеркивает, что здесь речь идет не столько о внутренних потенциальных грамматической категории, сколько о ее интерпретации в зависимости от интенции, прочтения текста. Так, рассматривая пример Э. Вендлера *John's singing of the Marseillaise surprised me*, Н. Д. Арутюнова предлагает две его возможные интерпретации: «Тот факт, что Джон пел, „Марсельезу“, поразил меня» и «То, что Джон пел, „Марсельезу“, поразило меня». Очевидно, здесь идет речь о различии между «что-предложениями» и «как-предложениями». Можно полагать, что в каждом «что» заключено «как», но не наоборот. На наш взгляд, именно то, что имя изначально лишено эксплицитных указаний на модальность, делает также изначально амбивалентным любой метод установления модальности отглагольного имени. Вместе с этим, конечно, нельзя отрицать устремления говорящего придать ту или иную степень истинности своему высказыванию. Представляется, что именно амбивалентность позволяет манипулировать истинностными операторами. Так, согласно приведенным выше критериям, высказывание /X/ *Торжество коммунизма неизбежно* как будто характеризуется нецелостной номинализацией. Здесь, как показывает П. Серьо, кроме номинализации, имеется «вставленное сообщение» (*l'énoncé enchâssé*) «N неизбежно», где N заполняется свернутым предложением, которое в развернутом виде выглядит как *коммунизм торжествовать/восторжествовать*. Это показывает, что номинализация стремится к тому, чтобы ее сообщение трактовалось как вечно-истинное.

Казаться тождественно-истинной номинализации позволяет задаваемая ею пре-

суппозиция. Пропозиция, как уже отмечалось, есть по сути свернутое предложение, следовательно, предикативная форма высказывания в ней преобразована в непредикативную, рема — в тему, новое — в данное. Иными словами, высказывание *Эксплуатация трудящихся вызывает усиление классовой борьбы* сообщает нам нечто о бытии и сущности и экспозиция, преподнося ее сущности в овании как данность. Автор строит правила вывода высказывания из пресуппозиции с точки зрения истинности/ложности. Ложная пресуппозиция эквивалентна ложному высказыванию, истинная же оставляет вопрос открытым; истинное высказывание может существовать тогда и только тогда, когда все его пресуппозиции истинны (ср. классификацию высказываний по степени их истинности/ложности/неопределенности в [9]). Любопытно, что взаимоотношение пресуппозиции и высказывания дает картину, противоположную той, что мы находим в теории логической импликации: здесь ложным считается только сочетание истинного антецедента с ложным консеквентом. Дело в том, что пресуппозиция обуславливает высказывание, причем предложение уподобляется уже не импликации, т. е. суждению типа «если ... то», а свернутому силлогизму, т. е. умозаключению с подразумеваемой, но не высказанной большей посылкой. Это убедительно показал недавно А. Т. Кривоусов на материале предложений с *так как, поскольку* [10]. В связи с тем, что номинализация представляет собой свернутое предложение, то она может рассматриваться именно как содержащая в пресуппозиции посылку. П. Серьо предложил интересный метод анализа предложений с номинализациями, содержащимися как в теме, так и в реме. В таких предложениях предикатами являются глаголы типа *происходить, усиливать, вызывать*, подтверждающие истинность высказывания *de re*, и глаголы типа *отражать, находить отражение, доказывать/быть/являться доказательством* и т. д., подтверждающие истинность высказывания, заключенного в пресуппозиции, *de dicto*. Для интерпретации высказываний, содержащих номинализации в подлежащем и сказуемом, автор предлагает следующую методику. Одна из них содержит так называемую «истину говорящего» (*verifiée par le locuteur*, символически VL), другая же, составляющая именную часть сказуемого с глаголом второй группы, — универсальную истину (символически BV). Глаголы второй группы, обозначающие существование, получают символическое обозначение ARG; схема высказывания выглядит так: пресуппозиция LV (q); (высказывание) x {ARG}

$\forall V(q)$ . Высказывание обнаруживает универсальность истины говорящего, т. е. истинность пропозиции доказывается ее соположением с универсальной истиной. П. Серьо иллюстрирует эту формулу следующим примером. Дано: /X/ *Одержанные советским народом всемирно-исторические победы являются самым убедительным доказательством правильного применения и творческого развития марксистско-ленинской теории*. Пресуппозиции: *Советский народ, одержал всемирно-исторические победы* ( $\forall V(q_1)$ ); *Марксистско-ленинская теория правильно применяется* ( $LV(q_2)$ ); *Марксистско-ленинская теория творчески развивается* ( $LV(q_3)$ ). Формула высказывания:  $\forall V(q_1) \{ARG\} \forall V(q_2) \wedge \forall V(q_3)$  ( $\wedge$  — знак конъюнкции).

На этих логико-лингвистических особенностях и зиждутся многие существенные черты СПД. Номинализованная формула в силу своей свернутости составляет то, что П. Серьо называет «предсозданием» (*le préconstruit*). Невысказанные предикативные ситагмы составляют тот невысказываемый уровень, который предопределяет уровень высказывания. Нереализованные предикаты номинализация создают вместе с реализованными предикатами высказывания цепь, где каждый член подтверждает другой, а все вместе создают впечатление стабильного, неизбежного возможного мира. Этот мир реализуется с помощью предикатов, доказывающих его существование и/или эксплицирующих его сущность, и выступает как единственный реальный мир. П. Серьо совершенно справедливо указывает на сходство СПД с научным дискурсом. Задачи, стоящие перед научным текстом, примерно аналогичны названным нами. Но, конечно, не может быть и речи о том, чтобы в СПД присутствовала такая же строгая система аксиом и правил выводов, как в научном тексте. Глубоко прав П. Гард, назвавший в предисловии к книге П. Серьо советскую политическую речь «*п а р о д и е й* на научную».

Пресуппозиция задает невысказанный уровень текста, в котором тем самым появляется новая единица — так называемый *le non-dit*. В этом плане автор рассматривает такие явления, как взаимоотношение автора и докладчика (произносящий доклад отождествляет себя с его

коллективным автором), высказывания и реальности (номинализация внушает мысль о реальности пресуппозиции, а через нее — и высказывания в целом). При этом всегда актуальна неоднозначность, амбивалентность высказывания, морфологическая форма которого позволяет выдавать ментальное за реальное.

Оценивая книгу П. Серьо в целом, необходимо подчеркнуть, что она является плодом большой и серьезной работы, продланной талантливым и самостоятельным мыслящим лингвистом. Автор показал ряд важнейших черт политического дискурса, его стиль и ориентацию. Но, разумеется, рецензируемая книга — не завершение, а, напротив, начало изучения СПД.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Формановская Н. И.* Русский речевой этикет: лингвистический и методический аспект. М., 1982.
2. *Головин Б. И.* Основы культуры речи. М., 1986.
3. *Граудина Л. К., Мисьяевич Г. И.* Теория и практика русского красноречия. М., 1989.
4. *Штейнфельдт Э. А.* Частотный словарь современного русского литературного языка. М., 1969.
5. *Теннер Л.* Основы структурного синтаксиса. М., 1989.
6. *Адамец П.* О семантико-синтаксических функциях деевративных и деедъективных существительных // ФН. 1972. № 4.
7. *Vendler Z.* Adiectivs and nominalisations. Paris; La Haye, 1968.
8. *Арутюнова Н. Д.* Предложение и его смысл: Логико-семантические проблемы. М., 1976.
9. *Разлогова Е. Э.* Когнитивные установки в прямых и непрямых ответах на вопрос // Логический анализ языка: Проблемы интенциональных и прагматических контекстов. М., 1989.
10. *Кривоногов А. Т.* К интеграции языкознания и логики (на материале причинно-следственных конструкций русского языка) // ВЯ. 1989. № 2.

Красухин К. Г.

Бурное развитие социолингвистики в последней четверти XX в. — факт общепризнанный. И вот теперь эта наука подошла к очередному рубежу своего «академического признания» — к созданию справочника, точнее, руководства энциклопедического характера по всем ее направлениям, проблемам и методам. Издание осуществлено под руководством немецкого лингвиста У. Аммона и с участием широкого международного коллектива (включая специалистов из Советского Союза — Ю. Д. Демперева, Л. П. Крынина и А. И. Домашнева).

Всего в обоих томах содержится 193 справочных статьи на английском и немецком языках; издание снабжено также обширным указателем. Мы не имеем возможности, разумеется, подробно остановиться на содержании всех статей, поэтому ограничимся ниже лишь максимально кратким тематическим обзором.

Как отмечается в Предисловии, основными задачами руководства являются: 1) отразить современное состояние социолингвистических исследований в мире; 2) дать обзор всех направлений в социолингвистике (включая ее историю); 3) дать стимул новым исследованиям в различных областях и предложить практическую помощь, особенно в отношении методики социолингвистических исследований; 4) указать возможные применения социолингвистики в общественно-политической практике (преподавание языка, языковая терапия, модернизация языков, языковое планирование и т. п.).

Социолингвистика как таковая является, как уже было сказано, относительно молодой дисциплиной. Сам термин был введен в употребление в 50-е годы XX в. в работах американца Х. Карри: тогда же появились первые публикации У. Вайрайха и Э. Хаугена. В 60-е и в начале 70-х годов происходит особенно бурное развитие социолингвистики в различных странах. Важную роль в этом процессе, в частности, сыграли рост урбанизации, усиление внутренних и внешних миграций населения, обострение национально-языковых противоречий в целом ряде стран, а также настоятельная необходимость языковой стандартизации в странах третьего мира. Существовали, конечно, и теоретические предпосылки для развития социолингвистики: в частности, именно эта дисциплина взяла на себя задачу описания и объяснения языковой вариативности, от которой, как правило, абстрагировалась традиционная теоретическая лингвистика (как структурная, так и генеративная). Кроме того,

в лице социолингвистики мощную эмпирическую поддержку получила и традиционная эмпирическая диалектология. Развитие социолингвистики, в свою очередь, повлияло на развитие социологии — как в теоретическом, так и в практическом отношении (методики сбора данных, работы с информантами и др.). Наконец, еще одна область, в которую развитие социолингвистики принесло значительные перемены, — это обучение языку (родному, иностранному, в смешанных группах и т. п.).

В настоящее время развитие социолингвистики продолжается; объем публикаций по-прежнему растет, однако обзоры современного состояния исследований отсутствуют; даже специалисту становится трудно следить за всеми направлениями социолингвистических исследований. Восполнить этот пробел и призвано настоящее издание.

Первый том состоит из шести больших разделов: первые три раздела посвящены основам социолингвистики (1. Теоретические аспекты; 2. Основные социологические и социопсихологические понятия; 3. Основные социолингвистические понятия). Раздел 4 — истории социолингвистики как самостоятельной дисциплины, 5 — смежным и вспомогательным дисциплинам. Раздел 6 («Социальные проблемы, теоретические подходы и результаты исследований»), самый значительный по объему, содержит обзор конкретных языковых проблем в обществе и способов их решения. Кратко изложим тематику каждого раздела.

1. **Теоретические аспекты.** В этом разделе определяется место социолингвистики в ряду других наук о языке и обществе и уточняется ее предмет. Социолингвистика, с одной стороны, отделяется от социологии как дисциплина, имеющая в качестве специального объекта только естественный язык, с другой стороны, — от (внутренней) лингвистики, которая рассматривает идеализированную модель языка вне зависимости от индивидуальных свойств говорящих. Особо рассматривается вопрос о различии между конкурирующими терминами «социолингвистика» и «социология языка» (статья А. Д. Гримшоу). В принципе можно считать, что эти термины синонимичны, и употребление того или другого отражает скорее приверженность различным школам и традициям (термин «социология языка» был введен и энергично отстаивался Дж. Фипманом). Вместе с тем под социолингвистикой чаще понимается исследование «микроуровня» (языковая ва-

риативность), связанные с индивидуальными различиями говорящих (социальная психология), а под социологией языка — исследования «макроуровня» (языковые ситуации, социолекты и т. п.). В целом термин «социолингвистика» является, однако, более распространенным и более универсальным. В разделе также обсуждаются метаучные проблемы: что является определением, описанием, объяснением и формализацией в науке вообще (и в социолингвистике в частности).

**2. Основные социологические и психолингвистические понятия.** В разделе дается краткая характеристика важнейших параметров человеческого общества, в той или иной степени релевантных для социолингвистических исследований; многие из них могут выступать в качестве так называемых «социальных переменных» (определяющих языковую вариативность). Рассматриваются прежде всего следующие понятия: возраст и принадлежность к определенному поколению, религиозная принадлежность, этническая принадлежность, национальная/государственная принадлежность, классовая, групповая, кастовая принадлежность и т. п. Все эти параметры непосредственно влияют на языковые особенности говорящих, отражаются в их самосознании и должны учитываться при социолингвистическом исследовании. В разделе анализируются также и некоторые общенаучные (социально-психологические) понятия, такие как норма (социальная) роль, установка (attitude), самосознание, престиж, личность, ситуация, социальная структура и др. Все эти понятия в той или иной степени используются в социолингвистических работах, иногда непосредственно заимствуясь из смежных областей знания или общетерминологического фонда, а иногда существенно преобразуясь и приобретая самостоятельное значение (ср. понятия языковой ситуации, языковой установки, языковой нормы, отражающие собственно социолингвистические концепции).

**3. Основные социолингвистические понятия.** В данном разделе рассматриваются понятия, принадлежность уже социолингвистике как таковой. Это, во-первых, такие базовые понятия (макро)социолингвистики, как языковая общность (группа индивидов, говорящих на одном языке и объединенных определенным набором социолингвистически релевантных параметров), т. е. фактически базовая единица социолингвистического анализа, диглоссия и полиглоссия (существование на определенной территории двух или более языков, «двуязычие в государственном масштабе»), коммуникативная компетенция (по определению

Д. Хаймса, умение использовать в соответствующих ситуациях соответствующие языки/варианты языка; описание коммуникативной компетенции индивида является одной из главных задач социолингвистики).

Во-вторых, в разделе широко обсуждаются понятия, связанные с феноменом языковой вариативности, в том числе социально обусловленной. Это собственно понятие языковой разновидности (variety), а также такие понятия, как социолект, стиль и регистр (стиль связан с функциями, задачами сообщения, а регистр зависит от ситуации общения, от ролевых характеристик говорящего), языковой репертуар (набор языковых возможностей индивида), идиолект, профессиональный язык, разговорный язык, жаргон и т. п.

В-третьих, рассматриваются процессы стандартизации языка, развития языка и языковых контактов и в связи с этим такие понятия, как национальный (государственный) язык, пиджины и креольские языки, родной и иностранный (первый и второй) языки, классические и ритуальные языки, lingua franca (язык межкультурного общения) и, наконец, международные языки (рассматриваются как естественные языки, используемые в этой роли, так и искусственные языки, специально созданные с целью международного общения).

**4. История социолингвистики как научной дисциплины.** В разделе дается обзор взглядов ученых на язык и общество в разные периоды развития лингвистики: в доструктурном языкознании, в структурной и генеративной лингвистике, с точки зрения марксизма (статья Ж. П. Марселлези и А. Элиман), а также излагается история становления социолингвистических идей в таких областях, как диалектология, социология, культурная антропология, исследование языковых контактов, пиджинов и креольских языков. Отмечается, что наиболее ранней самостоятельной социолингвистической дисциплиной следует, по-видимому, считать диалектологию, т. к. именно в рамках диалектологии последовательно изучалась связь языковых фактов с особенностями говорящих и с общественной структурой. В области же собственно теоретического языкознания постановка вопросов в социолингвистическом аспекте (если использовать современную терминологию) встречается, например, у Платона и Аристотеля (проблемы нормы, языковой правильности и т. п.), а позднее — у Фомы Аквинского. Отмечается значительный вклад в эту область деятелей европейского романтизма, разработавших понятия «народного языка», «внутренней формы» и др. Наконец, непосредственными

предшественниками современной социолингвистики являются К. Бюлер и Ф. де Соссюр; в работах последнего заложены важные предпосылки для изучения языка в социальном контексте (оставшиеся, правда, нереализованными в классическом структурализме — за исключением, возможно, работ Л. Блумфилда).

5. **Смешные и вспомогательные дисциплины.** Здесь дается краткий обзор таких связанных с современной социолингвистикой областей знания, как психолингвистика, социальная психология, этимология, социология культуры, диалектная и социальная география, политэкономия и символический интеракционизм (последнее направление следует считать скорее ответвлением прагматики или философии языка, т. к. его создатели интересовались прежде всего базовыми принципами человеческого общения и исходили из того положения, что им присущ символический характер).

6. **Социальные проблемы, теоретические подходы и результаты исследований.** В разделе дается обзор исследований в наиболее перспективных направлениях современной социолингвистики. В частности, к ним относятся исследования в области городских социолектов (они достигли особой интенсивности в США и связаны, главным образом, с именем В. Лабова, но проводились ранее и в других индустриальных странах — в частности, в Великобритании и в СССР), языковых контактов (они лежали в основе теории интерференции У. Вайрайха и др.), языкового планирования, гидризации и креолизации языков, этнография речи (термин, введенный Д. Хаймсом для обозначения дисциплины, находящейся на стыке этнографии и социолингвистики), билингвизма и др.

Статьи второго тома сгруппированы в восемь больших разделов: 1. Общие методологические проблемы; 2. Методологические проблемы, связанные с отбором данных; 3. Методологические проблемы, связанные с обработкой данных; 4. Социальная релевантность уровней лингвистического анализа; 5. Проблемы отдельных регионов; 6. Историческая социолингвистика; 7. Прикладные аспекты; 8. Практическая организация исследований.

Первые три раздела объединяют статьи по методологическим проблемам (проблемы отбора и обработки данных рассматриваются отдельно, поскольку они имеют большое значение для социолингвистики как экспериментальной науки, прибегающей к полевым исследованиям, опросам и т. п.). Авторы статей отмечают сосуществование в социолингвистике нескольких различных исследовательских парадигм и некоторую

размытость базовых теоретических установок (это положение характерно и для социальных наук в целом). Подчеркивается также важность таких проблем в социолингвистических исследованиях, как проблема этики (Х. Гебель), проблема достаточной репрезентативности лингвистического материала (Д. Санкофф) и др.

Из числа методов отбора данных специально рассматриваются следующие: наблюдение, тестирование, опросы, контент-анализ (или содержательный анализ текстов), статистическая обработка материала и экспериментальные методы. Большинство методов этого типа являются в социолингвистике общими с психологией и социологией.

Что касается методов фиксации и обработки данных, то они носят несколько более «лингвистический» характер, поскольку относятся к области работы с текстами на естественном языке. Это — транскрипция, компьютерная обработка данных, анализ различных лингвистических параметров (типа измерения языковой близости) и др. В указанной сфере в качестве смежных для социолингвистики дисциплин выступают статистика речи, лингвистическая семантика и этнография.

Четвертый раздел руководства посвящен обзору отдельных уровней лингвистического анализа с точки зрения социолингвистической релевантности единиц каждого уровня. Рассматривается фонетико-фонологическое, орфографическое, морфологическое и лексическое варьирование. Отмечается, что на всех уровнях возможна социолингвистически релевантная вариативность; в особенности это касается фонологии и лексики. Кроме того, в данном разделе рассматриваются такие связанные с лингвистической вариативностью явления, как переключение кода (одновременное употребление нескольких языковых систем одним говорящим) и употребление форм вежливости (одна из классических сфер применения социолингвистической прагматики). В отдельных статьях рассматривается роль паралингвистических и нелингвистических феноменов, которые в ряде случаев также участвуют в формировании социолингвистических особенностей данного речевого кода.

Центральным (и самым значительным по объему) в данном томе справочника является пятый раздел, содержащий обзор социолингвистических проблем в отдельных регионах. Отобраны преимущественно такие регионы, в которых представлены многоязычные общности со сложными иерархическими взаимоотношениями и нередки языковые конфликты. В каждый обзор входит перечень основных языков, указание на их функ-

циональный статус и анализ специфических проблем региона. Представлены следующие регионы: арабоязычная область (Африка и Ближний Восток), Австралия, Бельгия, Бразилия, Китай, Индия, Италия, Япония, Югославия, Канада, Карибский бассейн, Каталония, Люксембург, Мексика, Восточная Африка, Папуа — Новая Гвинея, Перу, Швейцария, Сингапур, Скандинавские страны, СССР (автор Л. П. Крисин), Южная Африка, юго-запад США (рассматриваются, главным образом, проблемы испаноговорящего населения), Западная Африка.

В шестом разделе собраны статьи, касающиеся проблем исторического развития языка. Прежде всего отмечается связь между социальными и языковыми изменениями (разумеемся, посядая сложный и опосредованный характер). Важную роль в истории языка и фиксации его социальных параметров играет возникновение письменности и последующая стандартизация с появлением литературного языка. Помимо традиционных факторов языковой вариативности, таких, как территориальное расчленение языка (возникновение диалектов), в последнее время особое значение приобретают и другие факторы: индустриализация и урбанизация, развитие профессионального и научно-терминологического языкового слоя и др. Особую роль играет языковая политика крупных многоязычных образований, возникших в ходе насильственного объединения этносов (колониализация) — так называемые языковые империи.

Специальные очерки посвящены рассмотрению исторических изменений языковой системы: звуковым изменениям и изменениям в значении слов, а также грамматическим изменениям (с учетом процессов креолизации языков).

В двух заключительных разделах энциклопедии дается обзор приложений социалингвистической теории и практических методов осуществ-

ления социалингвистических исследований. В качестве важнейших прикладных задач социалингвистики всегда на первом месте стояли задачи стандартизации и нормализации языка, в том числе разработка письменности и выработка литературной нормы. Другой важной сферой применения социалингвистических знаний является преподавание языка для различных целей. Наконец, практической сферой применения социалингвистики является так называемая «речевая терапия» (особенно интенсивно развиваемая в ФРГ), лечебные расстройства речи и т. п.

Три статьи последнего раздела а знакомит читателя с историей собственно социалингвистических исследований, исследовательской политикой и структурой современных социалингвистических учреждений в мире.

Что можно сказать об издании в целом? Конечно, как всякое издание такого объема и такого жанра, оно не лишено определенных недостатков: статьи иногда довольно сильно различаются по научному уровню (как кажется, принцип репрезентативности был для составителей справочника важнее), а также по концепциям авторов; в ряде случаев предлагаемые обзоры производят впечатление слишком сглаженных, не дающих достаточного представления о действительных противоречиях социалингвистических теорий и сложности языковых ситуаций. Однако все эти недостатки искупаются прежде всего высокой научной культурой издания. Как представляется, именно в этом качестве оно было бы особенно полезно читателю в нашей стране, где, с одной стороны, социалингвистические проблемы в настоящее время необычайно остры, а с другой стороны, «академическая» социалингвистика, в прошлом деформированная идеологическими предрассудками, часто и по сей день далека от научного идеала.

Плугиня В. А.

*Ioannis C. Tarnanidis. The Slavonic manuscripts, discovered in 1975 at St. Cathrine's monastery on mount Sinai/ Publish. by St. Catherine's Monastery Mount Sinai and the Hellenistic Association for Slavic. Studies. Thessaloniki, 1988. 363 p.*

В 1975 г. произошло замечательное событие: в древнем монастыре Св. Екатерины на горе Синай были найдены славянские рукописи. В 1988 г. вышло описание этих рукописей Иоанниса Тарниандиса, профессора университета в Фессалониках, президента университетского центра византийских исследований, генерального секретаря греческой ассоциации по славистике. Издание этой книги посвящено XIII столетиям существования Фесса-

лония, места рождения Кирилла и Мефодия.

И. Тарниандис проделал громадную работу, разобрав листы славянских рукописей, лежавших в беспорядке вместе с листами арабских рукописей, изучив их и подробно описав.

Итак, описана 41 рукопись. 5 из них написана глаголицей, а 36 — кириллицей. 3 рукописи можно отнести к старославянским, 3 — к русским, 2 — к рус-

ско-молдавским, 8 — к болгарским, 24 — к сербским.

Распределение найденных рукописей по векам следующее: XI в. — 3, XII — XII вв. — 2, XIII в. — 7, XIII—XIV вв. — 5, XIV в. — 19, XV в. — 2, XVI в. — 1. По содержанию рукописи разнообразны (о неточности некоторых заголовков ниже): Евхологий — 3, Житие Василия Нового — 1, Каноны-кондаки — 1, Лекционарий — 1, Литургия — 4, Минея — 5, Миссал — 3, Номоканон — 1, Октоих — 1, Палимпсест — 1, Псалтырь — 9, Сборник — 1, Сборник аскетический — 2, Сборник служб — 1, Службы канонов — 2, Типикон — 1, Триод — 1, Часослов — 1, Четвероевангелие — 2.

Рукописи описаны достаточно подробно по следующему плану: 1) название; 2) шифр; 3) датировка; 4) извод (сербский, болгарский, русский, молдавско-русский)<sup>1</sup>; 5) материал (пергамен или бумага); 6) количество листов; 7) размер листа; 8) размер текста; 9) количество строк; 10) утраты; 11) краткая характеристика почерка; 12) заголовки и их раскраска; 13) характеристика инициалов; 14) количество псисов; 15) краткая характеристика орфографии; 16) полнотное описание содержания. В особо подробных описаниях даются греческие параллели и библиография. Наиболее подробно описаны Синайский евхологий, Синайская псалтырь, Синайский миссал, Псалтырь Дмитрия Олтарника, Бычковская псалтырь, т. е. наиболее ценные рукописи.

Это исчерпывающее описание дополняется подбором 34 прекрасных снимков, которые позволяют расширить наше знание о рукописях. Но особенно приятно специалистам получить полное факсимильное воспроизведение вновь найденных листов Синайского евхология, Синайской псалтыри, Бычковской псалтыри, Добромирова евангелия и сербской Псалтыри середины XIII в. К сожалению, мы не имеем снимков с 15 рукописей из 41.

Прочитав книгу И. Тарнидидиса, убеждаешься, что это не просто полное описание рукописей, но это описание-исследование. Тщательно анализируя рукописи, автор высказывает много интересных соображений и по поводу содержания, и по поводу датировок, и по поводу почерков.

Далее мы хотим оценить значение найденных рукописей для славистики и за-

одно согласиться или не согласиться с некоторыми высказываниями автора описания.

1. Под номером 1/N описываются вновь найденные 28 л. Синайского евхология. И. Тарнидидис убедительно доказывает, что эти 28 л. принадлежат именно этой рукописи. Ученый опирается не только на падеографию и кодикологию, но и на содержание текста. Так, лл. 5—12 содержат молитвы, и л. 12 кончается словом *en*, а первый лист Синайского евхология начинается с *дѣвше*. Это молитва иерусалимского патриарха Софрония. Таким образом, лл. 5—12 существенно дополняют начало одной из самых древних славянских рукописей. Листы же 13—28 прижимают к концу рукописи Евхология, потому что содержат чтения из Апостола и Евангелия на все дни недели, начиная со вторника, а Синайский евхологий кончается апостольскими и евангельскими чтениями на понедельник. Особенно важны из 28 листов лл. 1—4, содержащие молитвы служб суточного круга. Если сложить эти 4 листа по их номерам, которые были им даны сразу, то получится следующая последовательность служб: час, вечерня, утренняя. И. Тарнидидис считает возможным сложить эти листы и по-другому: 4, 4 об, 1, 1 об, 2, 2 об, 3, 3 об. В таком случае службы следуют в порядке служб Часослова: молитвы утренни, молитвы часов, молитвы вечерни. И. Тарнидидису это кажется тем более убедительным, что в такой же последовательности названы службы в Житии Кирилла, когда речь идет о том, что он перешел на славянский. Византийский Часослов отражает палестинский монашеский Типикон Саввы Освященного, который распространился в IX в. в монастырях Константинополя и повлиял на Типикон Великой церкви. Воспроизведение этих листов в издании позволяет нам предложить другое решение вопроса — сложить листы в следующем порядке: 2, 2 об, 3, 3 об, 4, 4 об, 1, 1 об. Тогда службы будут расположены в обычном порядке греческого Евхология: вечерня, утренняя, час. И. Тарнидидис пишет, что 3 утренние молитвы на л. 4—4 об. согласно классификации М. Арранца, принадлежат греческому Евхологию типа А (списки IX—XIII вв.), который хорошо сохраняет традицию пензенного последования Великой константинопольской церкви (с. 77). Молитвы 3 и 6 часа на л. 1, 1 об — это молитвы, сохранившиеся в тех немногих Евхологиях, в которых наиболее полно отразилась традиция пензенного последования. Такие Евхологии мы имеем в рукописях Vatic. Barber. Grec. 336 (VIII—IX вв.), Синайская 958 (XI в.), изданная А. А. Дмитриевским [1, с. 143—145].

<sup>1</sup> Таких определений нет при описании глаголических рукописей. Нам кажется, что автор напрасно отказывается от этого. Синайскую псалтырь, Синайский евхологий и Синайский миссал можно приписать к старославянским памятникам; Псалтырь Дмитрия Олтарника и Минею (№ 4/N) — к болгарским.

Итак, Синайский евхологий, по нашему мнению, хорошо сохраняет особенности песенного последования (т.е. *т.е. т.е. т.е.* *эхологiа*) древней соборной службы. Конечно, требуется дальнейшее исследование этого трудного вопроса. Болгарский исследователь Б. Чифлянов считает, что солунские братья перевели чин Великой церкви, что и подтверждается вновь найденной частью Синайского евхология. Если в ранний период славянской письменности мог быть переведен и Миссал, то, возможно, были переведены и разные типы Евхологии; и более древнего типа, в котором отразилось песенное последование, и более позднего типа, в котором находим влияние палестинского богослужения по Тиникону Саввы Освященного. Поэтому текст Синайского евхология не противоречит сказанному в житии Кирилла: «Научи е утрѣнци, и часовѣи, и вѣчери, и пав(е)рѣници, и тайнѣи слоужбѣ» (Загребский список 1469 г.) [2].

Подбор чтений из Апостола и Евангелия не находит соответствия ни в одном греческом Евхологии. Поэтому И. Тарнандис предпологает, что этот отбор чтений — труд Кирилла и Мефодия. Это может быть и так, но столь же вероятно, что это точное отражение греческого оригинала. Исследование отца Михаила Арранца, просмотревшего греческий Евхологий по более чем 92 спискам, показывает их большое разнообразие. Для палеославян очень важны апостольские и евангельские чтения *во вновь найденной* части Евхология. Соотношение их редакций с редакциями старших списков Апостола и Евангелия дает возможность сделать вывод о месте Синайского евхология среди других старославянских памятников и уточнить историю перевода Апостола и Евангелия.

2. Много нового мы узнаем о Псалтырях. Их найдено 8. По описанию И. Тарнандиса их значится 9. Но список 26/N ошибочно отнесен к Псалтырям: это Часослов, который содержит воскресную утреню и полунощницу. На последней читается 118 псалом, написанный на л. 4—6 об, что и ввело автора описания в заблуждение.

Из 8 найденных Псалтырей 2 глаголические. Первая из них имеет 32 листа и, как убедительно доказывает И. Тарнандис, является продолжением древнейшей славянской глаголической Псалтыри — Синайской. Как мы теперь узнаем, Синайская псалтырь была следованной, потому что на этих 32 листах записаны 9 библейских песен, молитвы и песни утрени и «чинъ еспернѣи: срѣчь вѣщ(ер)ьнѣ». Таким образом, мы имеем старейший славянский список библейских песен. Сравнение их с библейскими песнями в

других, найденных в 1975 г. или уже известных Псалтырях, покажет, была ли одна редакция перевода или несколько. Это важно для истории перевода библейских песен на славянский. На 31об — 32об находим древнейший славянский устав вечерни палестинского монастырского Тиникона, переведенный с греческого, на что указывает термин еспернѣи — *εσπερινός*. Для историков славянского богослужения такая находка очень важна. Значение найденных листов определяется еще и тем, что мы теперь имеем древнейшие списки молитвы Симеона «Нынѣ отпусти раба твоего», утренней песни «Слава въ вышнихъ б(ог)оу», вечерних песен «Сѣте тихий», «Б(ог)о)родице дѣво радуюи са».

Таким образом, Синайская псалтырь — это первая славянская следованная Псалтырь, содержащая не только библейские песни, но и Часослов, в который входил чин утрени и чин вечерни.

До сих пор нам был известен только один глаголический список Псалтыри — Синайский. В 1975 г. нашли еще один глаголический список, описанный под номером 3/N. Это список XI—XII в., по орфографии отличающийся от Синайского. Каждый древний список Псалтыри помогает глубже раскрыть историю перевода и редактирования этой богослужебной книги. В этом списке находим неизвестные молитвы, возможно, славянского происхождения, записи медицинских рецептов, которые можно считать древнейшими в славянской письменности. Они дают богатый материал для изучения культуры славян того времени и содержат ценные данные о лексике, морфологии и синтаксисе народной речи. Мы понимаем, что автор описания не мог дать факсимильного издания в одной книге всех найденных рукописей, но одного снимка (8) с одного листа (21) этой замечательной Псалтыри (значение которой, возможно, не меньше, чем Синайской) мало, хотя воспроизведение текста молитв и медицинских рецептов при описании рукописи уже дает прекрасный материал исследователю.

Особо следует остановиться на найденных 17 листах из русского списка Псалтыри конца XI в. 8 л. этой рукописи хранятся в Государственной Публичной библиотеке в Ленинграде под шифром ГПБ, Q. п. 173 и известны под названием Бычковской псалтыри. Последний раз они публиковались в 1972 г. [3]. Но большая часть этой рукописи (135 л.), хранящаяся в Синайском монастыре, была издана в 1978 г. [4]. Очевидно, этот русский список Псалтыри находился там уже в XIII в., так как «стерты» слова и строки рукописи были подновлены писцом XIII в., который судя по языку

вым особенностям подновленного текста был сербом» [3, с. 73]. А о том, что в Синайском монастыре было много сербов в XIII—XIV вв., мы знаем по историческим данным. Найденные 17 листов дополняют начало и конец синайской части. Очень важно и то, что на последних листах написаны 5 библейских песен, что дает возможность сравнить их с библейскими песнями Синайской псалтыри.

Бычковская псалтырь представляет особый интерес для исследователей восточнославянской письменности по следующей причине. В XI в. на Руси правились богослужебные гимнографические книги. Можно предположить, что правились и Псалтыри. Не сохранила ли Бычковская псалтырь правку того времени? В. И. Срезневский, исследовавший эту Псалтырь, писал, что редакцией Бычковской псалтыри пользовался Владимир Мономах, который цитировал и богослужебные гимнографические книги русской редакции XI в. Кроме того, В. И. Срезневский обнаружил сходство редакции Бычковской Псалтыри с редакцией, сохранившейся в новгородских списках XIII—XIV вв. [5, с. 14—17]. Это же можно сказать и о Триодях русской редакции XI в., которая до нас дошла в нескольких новгородских списках XIII—XIV вв. Вопрос о редакции Бычковской псалтыри требует дальнейшего исследования, чему будет способствовать факсимильное издание в книге вновь найденных листов.

Из остальных 5 Псалтырей наибольшее значение имеют сербская Псалтырь середины XIII в. и болгарская того же времени (№8/N и № 25/N).

3. Пять рукописей, содержащих службы праздникам и святым, И. Тарнаидис называет Минеями, но мы согласны с ним не во всех случаях. Минеией следует называть рукопись или отрывок из нее, если службы минеинского цикла ставятся подряд: или по всем числам месяца, или только по праздникам. Так, рукопись 4/N можно назвать Минеией, потому что написаны подряд служба на Рождество Иоанна Крестителя 24 июня и служба апостолам Петру и Павлу 29 июня. Между этими двумя числами есть еще минеинские службы, но это службы небольших праздников. Следовательно, рукопись 4/N — это Праздничная минея (Festive Menaion). Название Small Menaion — малая Минея применительно к славянским Минеям не употребляется.

По этой причине остальные 4 рукописи — 11/N, 33/N, 34/N, 35/N, содержащие минеинские службы, следовало назвать иначе. Рукопись 33/N, в которой записаны службы на 2 января, 29 августа, 31 августа, и рукопись 34/N, в которой находим службы на 25 декабря, и на 25

марта, можно назвать богослужебными сборниками (Miscellany of services).

Рукописи 11/N и 35/N, содержащие по одной службе, можно назвать по наименованию этих служб. В таком случае 11/N — это служба на перенесение мощей первомученика Стефана 2 августа (Service of the Translation of the relicts of the Protomartyr Stephen), а 35/N — служба св. Стефану (Service of the St. Stephen). Эти службы могли быть дописаны в любой книге, как, например, в рукописи 15/N, где наряду с канонам Богородице, который мог быть написан в Часослове, Охтоихе, Тренилке, находится канон на Преображение (4 августа).

До сих пор были неизвестны Минеи, написанные глаголицей, поэтому самая замечательная рукопись из 5 названных — это 4/N — 2 листа глаголической Минеи. Мы согласны с И. Тарнаидисом, который считает, что именно такую книгу перевел Солунские братья, с помощью которой можно было править службы различным святым — Праздничную минею. Находка этой рукописи, написанной в Болгарии, подтверждает нашу мысль о том, что у южных славян до XIV в. были только Праздничные минеи, а полная Минея появилась во второй половине XI в. у восточных славян в связи с правкой богослужебных книг. Набор богослужебных гимнографических книг отличался у восточных и южных славян до XIV в. У восточных славян были полные Минеи, нотированные Кондакари, нотированные Стихирари, нотированные Ирмологии, Триоды с обязательным делением на постную и цветную часть. А у южных славян были Праздничные минеи, Триодь полная, не разделенная на постную и цветную часть, нотированные богослужебные книги отсутствовали. Это можно доказать текстологическим путем. Отрывок такой древней южнославянской Праздничной Минеи мы и находим в списке 4/N.

Воспроизведение двух страниц рукописи на снимке 11 позволило сравнить службы этой Минеи со службой болгарской Праздничной минеи XIV в., которая сохраняет текст до правки на Афоне (ГПБ, Ф. п. 1.72). Это сравнение показало, что Минея XIV в. имеет другую редакцию служб, но эта редакция ближе к редакции древней глаголической Минеи, чем к редакции полной Минеи в русских списках. Очевидно, редакция болгарской Минеи XIV в. создана на основе этой древней редакции, сохранившейся в глаголическом списке XI—XII вв. Так, канон Петру и Павлу 4 гл., известный только по трем греческим рукописям (с. 100), является общим для обеих южнославянских Минеи. Сближает их и то, что в обеих Минеях между службами 24 и 29

кия отсутствуют другие службы. Очень важна и структура служб, записанных в глаголической Минее. Служба начинается с канона и кончается самогласными стихирами. Это позволяет провести аналогию со структурой шафариковской Троицы, в которой тоже самогласными стихирами заканчивается служба. В этой Троице (ГПБ, Ф. п. 1.74) сохранилась одна из старших редакций перевода греческой Троицы. При этом шафариковская Троица имеет несколько тропарей, написанных глаголицей. Возможно, что Троица типа шафариковской и глаголическая Миней принадлежат к одному кругу богослужебных книг, переведенных с греческого в старшую пору одновременно.

4. Находка в Синайском монастыре глаголического Миссала (80 л.), как справедливо пишет И. Тарниандис, «открывает новую главу в истории латинско-славянской литургической традиции» (с. 107). По приведенным в описании текстам видно, что текст писался в южнославянской среде, на что указывает мена еров (пѣсьнь — 20 л.). К подробному описанию рукописи, сделанному И. Тарниандисом, можно добавить следующее. Судя по содержанию, по приведенным заголовкам, это другая редакция, отличная от редакции Киевского миссала. Это видно по переводу литургических терминов. Если в Киевском миссале *zper oblata* передается как *надъ оплатъмъ*, то в Синайском миссале находим *надъ приношениемъ*. Слово *оплатъ* встречается только в Киевском миссале, а калькированный термин *приношение* употребляется и в других памятниках, таких, как Устюжская кормчая. Термин *communio* в Киевском миссале передается мораво-паннонским термином *въсѣдѣ*, заимствованным из древневерхненемецкого *wiz-zōd* — евхаристия, причастие [6]. Этот термин встречается в Венском фрагменте, Жития Мефодия, Законе судному людям. В Синайском миссале *communio* переводится *брашеньце*, как в Синайской евхологии [7], в котором встречаем и другой термин *комъчанице*, обычный для Супрасльского сборника. Очевидно, редакция Синайского миссала более поздняя, чем редакция Киевского миссала, так как калькированный термин обычно появляется позднее, чем термин-транскрипция иноязычного слова. И. Тарниандис пишет о сходстве круглой глаголицы Синайского миссала с круглой глаголицей Синайского евхология (с. 105). (Самим судить по снимкам № 9 и № 10 невозможно, так как воспроизведенные листы плохо сохранились.) Возможно, такое сходство не случайно. Одинаковая передача столь важного термина, как *communio*, словом *брашеньце* это подтверждает. Поэтому можно предположить, что Синайский ев-

хологий и Синайский миссал происходят из одного книгописного центра. Об этом свидетельствует и употребление в обоих памятниках глагола *рачити* в значении «благоволить».

Таким образом, благодаря этой находке расширяется наше представление о культуре той далекой эпохи, когда Кирилл и Мефодий с учениками переводили не только богослужебные книги восточного обряда, но и книги западного обряда, потому что связи с латинскими клириками были достаточно тесными. И теперь оказывается, что Миссал не-славянски был в нескольких редакциях.

5. И. Тарниандис называет еще две рукописи (28/N, 41/N) Миссалом, что кажется нам неверным: так следует называть только рукописи, содержанием которых является служба по западному обряду, как это мы видели при описании глаголической рукописи 5/N.

Рукописи 28/N, 41/N следует считать Часословами. Сюда же относится рукопись 26/N, неудачно названная Псалтырью, о чем было сказано выше, и рукопись 29/N, правильно названная часословом. Из них две (сербские) рукописи — 26/N, 28/N относятся к XIII в. — одна (сербская) 29/N — к XIV в. и одна (русская) 41/N — к XIII—XIV вв. Часословы XIII—XIV вв. — большая редкость. По Сводному каталогу рукописей, хранящихся в СССР, их всего два: БАН 13.7.9 (4 лист) и ГПБ, Q. н. 1.57.

Особенно интересной нам представляется русская рукопись XIII—XIV вв. — 41/N. Это один лист, текст которого можно прочесть на прекрасном снимке № 33. Для историков православного богослужения он будет особенно интересен. На нем написано начало чина курооглашения. И. Тарниандис неправильно утверждает, что православие не знало такого чина, поэтому он полагает, что в этой рукописи сказывается влияние западного чина *gallicinus* (с. 181). Но форма самого термина говорит о его греческом происхождении. Курооглашение — калька с греч. *ἐκκλιτοροφώνια*. Это слово встречается в Евангелии от Марка (Марк. XI, 35): «Не вѣсте бо, когда г-у дому придетъ, вечер ли, или полуночи, или в курооглашение, или завтра (*ἐκκλιτοροφώνιας*)» [8]. В Апостольских постановлениях говорится о курооглашении как об одном из 8-ти часов молитвы, а Дионисий Александрийский понимает под курооглашением конец Великого поста [9]. «В 11 веке *ricav vbrtas* продолжались до 3 или 4 часов ночи до нения петуха, момента, когда начинается *brdros*...» [1, с. 137].

По рукописи 41/N (с. 181) чин курооглашения начинается с тропаря 2-го гласа «Отъ ложа и от сна въздвижи». И. Тарниандис неверно пишет в описании

(№ 33), в рукописи написано *тре-парь* — *трепарь* находим в рукописях, содержащих текст русской редакции конца XI в. После тропаря следует молитва «О слава тебе вл(а)д(ы)ко...».

С целью показать, что этот чин был известен на Руси и найденный отрывок не единственный, который содержит такой чин, можно привести следующие параллели. В списке Часослова XIV в. (ГПБ, Соф. 1052) находим последование, состоящее из молитв, нескольких тропарей и псалмов 107, 126, 127, 121. Оно начинается с уже упомянутого тропаря и молитвы. К сожалению, лист перед этим последованием в рукописи утрачен, и мы не можем судить, как оно называлось в софийском Часослове, но предполагаем, что это и есть чин курооглашения, тем более он написан непосредственно перед чином утрени. К сожалению, список Часослова (ГПБ, Соф. 1052) не сохранил первых листов с названием этого чина. А. М. Пентковский указал нам на рукописи ГИМ, Син. 325, которая содержит Псалтырь с Шестодневом. Она начинается так: «П(с)льмъизъ о бѣзъ починаемъ... Оуставъ стъкъ горы. мѣтъ курогд(с)нѣ. како подобак (т) пѣ(т) в кѣльи мнхо(м)» [10]. Далее записаны вышеупомянутые тропарь и молитва, а затем идут псалмы 107, 126, 127, 121. Итак, в этой рукописи XIV в. содержится тот же чин курооглашения. Но что особенно важно, кодикологический и палеографический анализ листа под номером 41/N (по снимку), на котором содержится начало чина курооглашения, показал, что этот лист принадлежит рукописи Часослова конца XIII — нач. XIV в., хранящейся в Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде под шифром ГПБ, Q. п. 1.57. Эта рукопись ранее принадлежала Сайнагоскому монастырю и была привезена в Петербург Порфирием Успенским. Первые листы рукописи потеряны, и она начинается с чина утрени. Найденный лист показывает, что рукопись содержала чин курооглашения, как и другие славянские рукописи.

6. Кроме перечисленных богослужебных рукописей найдены 3 Евангелия. Особенно ценными являются 9 листов Добромира евангелия — болгарского списка XII в. Это добавление к рукописи, большая часть которой хранится в Публичной библиотеке в Ленинграде (Q. п. 1, 55) и меньшая часть на Синае. Обе части опубликованы в 1975 г. Б. Велчевой [11].

7. Значение остальных найденных богослужебных рукописей определяется прежде всего тем, что в них содержатся мно-

гие тексты, до сих пор нам не известные. Так, найдена потерянная часть Еврегетидского устава, перевод которого приписывается св. Савве, архиепископу сербскому. Сербская рукопись 14/N первой половины XIII в. сохранила уставные указания на службы всего года и службы Поста. Как указывает И. Тарнаидис, сербский перевод содержит некоторые особенности по сравнению с тем греческим оригиналом, который опубликован А. Дмитриевским [12]. Эти особенности могут объясняться и отличием греческого оригинала, с которого был сделан славянский перевод. В настоящее время И. Тарнаидис готовит к публикации этот славянский список Еврегетидского тиликона. В наших библиотеках есть некоторые сербские рукописи, которые составлены по этому уставу. На одну из них нам указал А. М. Пентковский. Это Триодь, хранящаяся в Публичной библиотеке в Ленинграде под шифром ГПБ, F. п. 1.92.

К вновь найденным текстам можно отнести и гимнографические. Например, в сербском списке 15/N (XIII—XIV вв.) имеется канон на Преображение 4-го гласа «Придите въздѣль съ с(ъ)и(а)моса на гороу фаворскую». И. Тарнаидис отмечает, что этот канон неизвестен в греческих и славянских Минеях (с. 142). Есть и неизвестные стихиры на Благовещение (34/N), на праздник положения ювса Пречистыя Богородицы в Халкопратии (33/N), неизвестные кондаки сербскому архиепископу Савве на 4 января и Симеону Новому на 13 февраля (12/N). Присутствие таких неизвестных песнопений в сербских списках показывает, что сербские богослужебные рукописи XIII—XIV вв. имели много особенностей по сравнению с болгарскими и русскими списками. Это проявлялось и в том, что сербские списки имеют другую редакцию службы первоученику Стефану, чем болгарская Минея XIV в. (ГПБ, F. п. 1.72), сохраняющая текст доафонской правки, и иную, чем русские Минея XV—XVI вв. (ГПБ, Q. 1.64). Таким образом, эта служба имела по крайней мере три редакции, отличавшиеся составом стихир и чтениями.

В сербской рукописи XIII—XIV вв. (12/N) сохранилась особая старшая редакция Акафиста, близкая к древнейшей редакции — шафариковской (из Триоди Шафарика ГПБ, F. п. 1.74), судя по общим чтениям, которые больше ни в одной редакции не встречаются: в икосе 12 «Хотешу симеону отъ соужьнаго» (в остальных «отъ инынешнаго») и в икосе 17 «Риторомъ великоу вешаню» (в остальных «Вѣтия многувшаныя»). Но в шафариковской редакции икосы расположены в порядке славянского алфавитного ак-

ростиха, таким образом, нарушен первоначальный порядок следования строф по греческому алфавитному акростику. В сербской же рукописи порядок следования икосов строго соответствует греческому оригиналу. Итак, перед нами новый вариант шафариковской редакции.

В сербской Триоди 36/N XIII—XIV вв. (1 лист) содержится неизвестная редакция служб «Последование страстей» в Великий пяток, о чем можно судить по снимку (№ 25) 1-го листа, на котором написаны последние строки блаженного<sup>2</sup> тропари перед троициным тропарем и троициный тропарь. Особенностей редакции три. 1) Троициный тропарь «Отца же и сына» есть в наиболее поздних типах Триоди [13] — орбельском и гимовском, а в наиболее ранних типах — в шафариковском и загребском — его нет. 2) Перед троициным стоит тропарь «Жиносна ти ребра», который в остальных типах Триоди ставится намного раньше. 3) В последних сохранившихся колонах этого тропаря читается *напакуюче*, в остальных же редакциях вместо *напакуюче* встречается *оучаща* (ГПБ, Ф. п. 1.74, л. 130 об) *наоучаща* (ЮАЗУ, IV, 107, л. 158 об). К сожалению, в сербской Триоди (ГПБ, Ф. п. 1.92), которая составлена по Еврегетидскому уставу, это место испорчено, но зато троициный тропарь не имеет ни одного разночтения с тем же троициным тропарем в списке Триоди 36/N. Но редакция блаженных тропарей другая, потому что перед троициным тропарем поставлен другой тропарь «Въ страд(а)ни твоимъ ГИ» (л. 58). Таким образом, можно заключить, что перед правой богослужебных книг на Афоне в XIV в. сербские Триоди были достаточно разнообразны.

Заканчивая этот далеко не полный обзор новой замечательной коллекции рукописей, еще раз отмечаю громадный самоотверженный труд составителя ее описания И. Тарнаидаса.

Конечно, можно указать на некоторые недостатки, которые неизбежно должны быть в каждом большом и подробном описании рукописей. Например, назвать отрывок богослужебной рукописи — не легкая задача тем более, если речь идет о рукописях, написанных до афонской правки XIV в., при которой был унифицирован состав богослужебных книг. Поэтому неудивительно, что мы встречаемся с неточностями и даже ошибками в названиях описываемых рукописей. На некоторые неточности уже указывалось. Далее. Не следовало рукопись 17/N называть палимпсестом, потому что название определяется содержанием. Лучше

<sup>2</sup> Блаженный — тропари, поющиеся с Заповедями блаженства.

назвать ее «Молитвы». Рукописи 19/N, 38/N, 39/N, 40/N удачнее называть Служебником, а не Liturgy, потому что литургия у греков входила в *ἑσπέραιον*, а у славян в Служебник. Но Евхологию именуется только два списка Требника (16/N, 31/N), которые лучше называть по-английски Ritual. Так же должна называться и рукопись 10/N, которая неудачно названа Services of canons. Канон — это часть службы. Кроме того, в этой рукописи есть чин причащения, три канона 6-го гласа; канон Богородице, который входит обычно в молебное правило, канон покаянный, канон молебный, которые тоже, очевидно, могли входить в правило. Чин причащения и правило обычно помещались в Требнике. То же касается и рукописи 12/N, которая названа в описании Canons-Kontakia (каноны-кондаки), которая содержит чин причащения, те же покаянный и молебный каноны, что и в рукописи 10/N (службу Акафисту) кондаки. Это тоже Требник. Рукопись 32/N не является просто Сборником служб (Miscellany of services), потому что на найденном листе есть только чтения из Апостола и Евангелия. Вероятно, это тоже Требник, в котором помещались такие чтения. Рукопись 15/N неудачно называется Services of canons. Так как в ней не улавливается закономерность в подборе канонов, ее лучше назвать Богослужебный сборник (Miscellany of services) или просто Каноны (Canons). Рукопись 24/N лучше назвать «Сборник поучений и Требник» (Miscellany of Homily and Ritual), потому что с 54 листа излагается чин освящения воды на Крещение, а затем даются проклятия с апостольскими и евангельскими чтениями.

Можно отметить следующие неточности в описании. Сравнивал Синайскую псалтырь с Псалтырью Дмитрия Олтарника, автор замечает, что они принадлежат одной традиции, но в последней более упрощенный язык (simplified language) (с. 98), что говорит о более поздней датировке. Что значит «упрощенный язык» — не совсем ясно.

Есть неточности в воспроизведении славянского текста. Например, на с. 163 читаем: *большъи нудитме изрещи (надо нудит ме)*; на с. 101 *тъ ибо реди (богородице надо тѣи бо*.

Когда есть возможности сравнить описание рукописи со снимком, на котором воспроизведен хотя бы один лист из нее, то можно найти некоторые погрешности. Так, при сравнении описания рукописи 34/N (с. 173) со снимком № 24 обнаруживается следующее. В описании перед словом *образ* следовало поставить многообразие, потому что это продолжение стиха, начало которой утрачено. В описании

же получилось, что этим словом начинается стихира. Кроме того, видно, что на листе есть еще одна стихира «Что ти присемя», которая оказалась пропущенной в описании. Автор отмечает только следующую за ней стихирой «Августу «диновалостующую», при этом неудачно обрывает последнее слово.

Но эти неточности отнюдь не умаляют высоких достоинств описания-исследования И. Тарнаидиса.

Найденные рукописи нуждаются в дальнейшем изучении, которое может многое добавить к уже сделанному описанию (например, уточнить датировки рукописей — мы специально не останавливались на этом вопросе), и, дать много новых, возможно, неожиданных для нас, сведений о славянской письменности.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Аппанц М. О. И.* Как молились Богу древние византийцы. Суточный круг богослужения по древним спискам византийского ехлогия. Л., 1949. С. 143—145.
2. Пространно житие на Константин-Кирил философ // Климент Охридский. Собрание съчинения. Т. 3. София, 1973. С. 105.
3. *Тот И. Х.* Бычковская псалтырь XI в. // *Dissertationes Slavicae*. V. VIII.

**Шварцкопф Б. С.** Современная русская пунктуация: система и ее функционирование. М.: Наука, 1988. 191 с.

Чтобы оценить любую научную работу, прежде всего, по-видимому, следует ответить на вопрос, зачем эта работа сделана, какое место в общем контексте научных исследований она занимает. Относительно рецензируемой книги ответы на эти вопросы заложены в ее подзаголовке: работа написана для того, чтобы обсудить вопрос о пунктуации как системе и показать практическое функционирование этой системы или, проще говоря, исследовать современную пунктуационную практику. И то, и другое, несомненно, важные и своевременные задачи. Д. Н. Шмелев, выступая в роли официального оппонента на защите рассматриваемой здесь книги в качестве докторской диссертации, отметил, что современная русская пунктуация воспринимается обычно как набор разрозненных правил, а потому стремление Б. С. Шварцкопфа обнаружить в пунктуации систему заслуживает внимания как в теоретическом, так и в практическом аспекте. Другой официальный оппонент М. Ю. Максимов обратил внимание на актуаль-

*Szered*, 1972. С. 71—96 + 16 листов фотогр.

4. *Altbauer M., Lunt H. G.* An Early Slavonic Psalter from Rus'. V. 1: Fotoreproduction, Harvard, 1978.
5. *Срезневский В. И.* Древнеславянский перевод Псалтыри. СПб., 1897. С. 14—17.
6. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка: В 4-х т. Т. I. М., 1964. С. 364.
7. *Slovník jazyka staroslověnského*. Seš. 4. Praha, 1961.
8. Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 8. М., 1981. С. 140.
9. *Lampe G. W. H. A.* Patristic Greek Lexicon. V. I. Oxford, 1961. P. 70.
10. *Горский А. В., Невоструев К. И.* Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. Отд. III: Книги богослужебные. М., 1869. С. 538.
11. Добромирово евангелие. Български наметник от началото на XII век / Подготви за издаване Велчева Б. София, 1975.
12. *Дмитриевский А.* Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках православного Востока. Т. I. Киев, 1895. С. 499—614.
13. *Можина М. А.* Вопросы классификации славянской Троицы // ТОДРЛ 1983. Т. 37.

*Можина М. А.*

ность функционального аспекта исследования, подчеркивая, что современная пунктуационная практика, современные пунктуационные потребности как бы переросли созданные более тридцати лет назад пунктуационные правила.

Системный подход к пунктуации был обоснован еще в 1933 г. А. А. Реформатским [1], однако его идеи в этой области не получили затем сколько-нибудь существенного развития. Между тем поиски системы в пунктуации, как убеждает книга Б. С. Шварцкопфа, весьма плодотворны. Правда, надо заметить, что редкое лингвистическое исследование сейчас не маркирует себя как системное. Под системой, однако, часто понимается всего лишь так или иначе упорядоченная подача материала. Б. С. Шварцкопф стремится к более глубокому толкованию системы. Дается следующее общее определение системы: это «...форма организации некоторого целого (некоторой целостности), строение которого свойственно: а) взаимосвязь и взаимодействие составляющих частей (компонентов), эле-

ментов), б) иерархическая архитектоника, при которой и целое, и ее составляющие обладают каждое своей собственной функцией, в) уровневый — разноразноуровневый и многоуровневый — характер организации, с непосредственным предшествованием уровней (с. 8). Пунктуационная система, по мнению автора, организуется следующим образом.

На самом высоком уровне организации системы вводится оппозиция предложение/текст и проводится последовательное разграничение сильных и слабых позиций некоторых (парных) пунктуационных знаков в этих синтаксических образованиях. На последующих более низких уровнях организация системы в «игру» вводит функциональная нагруженность пунктуационных знаков. Различаются общие и частные функции. Приняв вслед за А. Б. Шапиро [2] выделение двух основных, ядерных функций — разделения и выделения, Б. С. Шварцкопф существенно расширяет репертуар общих функций. Весьма важным кажется мне следующее положение: «Обратной, дополнительной стороной общих функций разделения и выделения является *общая функция связи (соединения)* элементов простого и частей сложного предложения. Функция связи не находится в одном ряду с двумя основными общими функциями знаков препинания; она накладывается на каждую из ядерных функций...» (с. 15). Действительно, не признав за знаками препинания функцию соединения, было бы, как я полагаю, невозможно объяснить пунктуацию в бессоюзных сложных предложениях, где знак препинания может быть единственным показателем связи предикативных конструкций в одно предложение<sup>1</sup>. Не вызывает возражений и выделение таких функций знаков препинания, как предупреждение, повторное предупреждение (напоминание), распределение, расчленение. Описание общих функций осуществляется в единстве с анализом структуры знака: выделяются одиночные, парные знаки препинания, пунктуационные и пунктуационно-орфографические комплексы. В частности, получают дальнейшее описание пунктуационно-орфографический комплекс в контекстах с прямой речью. Частные функции знаков препинания выделяются на основе набора таких параметров: общая функция знака препинания; характеристика процесса членения текста, а именно — объем членения, результат членения; собственно частная функция знака препинания — граммати-

ческая, смысловая (с. 24). И, наконец, существенным для характеристики пунктуационной системы представляется выделение в ней центра и периферии, к которой отнесены, по преимуществу, типографские знаки.

Б. С. Шварцкопф осторожен в своих выводах не только о характере существования пунктуационной системы, но и о самом существовании ее: автор позволяет себе говорить только о гипотезе относительно системной организации современной русской пунктуации. Я же позволю себе сделать заключение о том, что автор, несомненно, сумел обнаружить систему в пунктуации и представить наиболее полное и глубокое на сегодняшний день ее описание.

Предложенное понимание пунктуационной системы побуждает к некоторым дальнейшим размышлениям. Б. С. Шварцкопф неоднократно подчеркивает, что пунктуационная система по своим основополагающим свойствам аналогична любой языковой системе (или подсистеме). Другими словами, не делается различий между естественными собственно языковыми системами — фонологическими, грамматическими и т. п., естественность которых представляется аксиоматичной, — и пунктуационной системой. Между тем, стоит обсудить вопрос об искусственности пунктуационной системы. Не ставя себе целью дать исчерпывающие доказательства ее искусственности, приведу только следующие аргументы: (а) естественные системы в обычных случаях могут, по-видимому, только эволюционировать, но не могут быть изменены, так сказать, в приказном порядке — пунктуационные же правила неоднократно менялись на наших глазах<sup>2</sup>; (б) естественные системы, если они касаются человека, без труда, органически усваиваются им с детских лет (примером такой естественной системы является сам язык) — пунктуация же как искусственная система требует для своего усвоения целенаправленных усилий; (в) искусственные системы не имеют «пустых клеток», и пунктуационная система, как в этом

<sup>2</sup> М. В. Панов в своих устных выступлениях неоднократно подчеркивал следующее: тщательно разработанная реформа правописания 1964 г. оказалась нереализованной не потому, что она, как считали многие (среди которых лингвистов, к счастью, было совсем немного) требовала насилия над естественным языком, а потому, что общество оказалось слишком консервативным для радикальных перемен в правописании, а многие критики реформы проявили элементарную (на уровне средней школы) лингвистическую безграмотность.

<sup>1</sup> Именно «идея связи» лежит в основе интерпретации функции знаков препинания в бессоюзном предложении в [3].

убеждает рецензируемая работа, также лишена «пустых клеток» — естественные системы менее последовательны и часто избегают «пустых клетками». С другой стороны, нельзя, конечно, отрицать и своеобразия пунктуационной системы как искусственной. Б. С. Шварцкопф на первых же страницах монографии приводит слова Л. В. Щербы о том, что система пунктуационных знаков «...возникла стихийно и, строго говоря, никакой единой теории не лежит в ее основании» (с. 3). И это справедливо. Но справедливо и другое: каждый новый знак, каждое новое правило вполне сознательно должны быть согласованы с другими. Вероятно, можно говорить о стихийно сложившейся искусственной системе (подчеркну, что противоречия в содержании сочетания «стихийная искусственная система» я не вижу). Главная же отличительная черта пунктуационной системы в том, что эта искусственная система ориентирована, несомненно, на естественную систему — на язык.

Сильной стороной анализа пунктуационной системы в рецензируемой книге, как уже было сказано, является функциональный аспект. Мне кажется, что в ряду общей функции — частная функция не хватает еще одной функции, самой конкретизированной. Можно думать, что пунктуационные знаки того или иного класса, обслуживая определенные синтаксические явления, получают особые функции. Для меня несомненно, например, то, что тире или двоеточие в бессоюзном сложном предложении — это не только разделительный знак и одновременно знак связи, но это и знак того, что смысловые отношения между соединяемыми частями должны быть извлечены из содержания этих частей (см. об этом в [4]). И бессоюзное сложное предложение в этом плане далеко не исключение: особые нагрузки пунктуационные знаки имеют при обособлении и в других случаях. Нельзя, конечно, требовать от автора описания этих функций. Дело это весьма трудное, требующее глубокого проникновения в суть того или иного синтаксического явления. В задаче данного исследования эта сторона дела не входила и имела право не входить. Но обозначить названный «функциональный уровень», мне кажется, было бы весьма полезным.

Б. С. Шварцкопф — тонкий исследователь, и, конечно, он не мог не увидеть у пунктуационных знаков той функции, о которой здесь говорится. Эти наблюдения нашли отражение в понятии семантизированного знака. Думаю, однако, что это понятие не вполне определено и не слишком хорошо вписывается в систему. Выделение особого «функционального уровня» придало бы системе

функцию большую стройность и завершенность.

Особый раздел книги — это раздел о реальном функционировании пунктуационной системы. В центре его стоит вопрос о пунктуационной норме. Новыми и интересными являются соображения Б. С. Шварцкопфа о различиях между языковой, орфографической и пунктуационной нормами. Принимается общее определение нормы, непосредственно ориентированное на систему. Норма — «...это, — пишет автор, — закономерности реализации системных возможностей единиц (определенного) уровня языковой системы, фиксирующие исторически сформировавшиеся параметры традиционного употребления единицы... и тем самым накладывающие ограничения на использование системных возможностей единиц» (с. 129). Норма подвергается кодификации.

Языковые — орфографические, словообразовательные, морфологические, синтаксические нормы — отличаются от орфографических. Языковые нормы объективно формируются в языке, они изменчивы, развиты и изменение языковой системы диктует и изменение нормы, а потому и кодексы языковых норм постоянно меняются. Орфографические кодексы более устойчивы и стабильны и, вероятно, менее объективны, чем языковые нормы. Пунктуационные же нормы — это, как считает Б. С. Шварцкопф, не то же самое, что орфографические нормы. Пунктуационные нормы по своему статусу есть нечто среднее между языковыми и орфографическими. В аспекте «...функционализации, — пишет Б. С. Шварцкопф, — в связи с развитием пунктуационной системы — спонтанно формируются новые закономерности реализации системы, возникает разрыв между отдельными нормами и правилами, разрыв, который может быть устранен при помощи кодификации возникших в практике закономерностей; следовательно, в аспекте „функционализации“ пунктуационная норма выступает как „данная в языке“, т. е. как заданная свойствами функционирующей системы...» (с. 137). Вероятно, это действительно так. Иначе трудно было бы объяснить многочисленные нарушения кодифицированных предписаний. Анализу этих нарушений с точки зрения их системного происхождения посвящены специальные части книги.

Принципиально важным представляется последовательно проведенное в работе различие нарушения пунктуационной нормы и колебания нормы в сфере пунктуации. Именно колеблющаяся норма, как убедительно показывает Б. С. Шварцкопф, может стать причиной некоторого изменения пунктуационного кодекса. Колебания нормы показаны на широком, пред-

ставительном и разнообразном материале.

В каждой работе по правописанию, хочет того автор или нет, читатель стремится увидеть пути к упрощению орфографии или пунктуации. Добиться упрощения можно двумя путями: либо создать новые правила, либо проще и системней изложить старые. Задача упрощения пунктуации в данной книге прямо не ставится, но нет сомнения в том, что при реализации любого из путей эта книга сыграет большую положительную роль.

Итак, книга Б. С. Шварцкофа — это новый существенный шаг в таком теоретическом осмыслении современной русской пунктуации, которое способно не только объяснить современную пунктуационную практику, но и совершенствовать ее.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Реформатский А. А.* (при участии *Каушанского М. М.*). Техническая редакция книги: Теория и методика работы. М., 1933.
2. *Шапиро А. Б.* Основы русской пунктуации. М., 1955.
3. *Ширяев Е. Н.* Соотношение знаков препинания в бессоюзном сложном предложении // Современная русская пунктуация. М., 1979.
4. Бессоюзное сложное предложение в современном русском языке. М., 1986.

*Ширяев Е. Н.*

## НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

### ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

8—15 июня 1990 г. в Алма-Ате состоялся III советско-турецкий коллоквиум на тему «Древнетюркские рунические памятники: язык, литература, культура, история, археология», организованный Советским комитетом тюркологов (СКТ) и АН КазССР. Коллоквиум явился первым международным научным мероприятием, посвященным древнетюркским руническим памятникам. Вступительное слово произнес заместитель председателя СКТ Т. Д. Меликов (Москва). Он обозначил цели и задачи коллоквиума: определение круга решенных проблем рунологии и вопросов, для разработки которых необходима координация действий ученых двух стран.

Было проведено четыре заседания, по темам которых были сгруппированы доклады участников. Первое заседание «Древнетюркский рунический алфавит: проблемы и гипотезы» открылось докладом «К вопросу о распространении тюркского „рунического“ алфавита» А. М. Щербак (Ленинград). Приведя существующие мнения относительно места и времени возникновения рунического алфавита, автор делает вывод, что руническое письмо зародилось в Южной Сибири, в период второго Тюркского каганата (конец VII — начало VIII вв.). Особую значимость представляет вопрос распространения древнетюркского алфавита в Восточной Европе. Несомненно связь восточноевропейских рун с орхон-енисейскими памятниками, причем посредником между этими письменами являются таласские руны, в частности, «таласская палочка», чтение которой до сих пор остается сомнительным. А. М. Щербак, показав возможные способы дешифровки, призвал тюркологов к усиленному изучению тюркских рунических памятников, обнаруженных в Европе, и предложил подготовить атлас этих текстов.

О. Н. Туна (Малатья) в докладе «Лигатуры в древнетюркской письменности» предлагает свой вариант образо-

вания лигатур из отдельных знаков рунического алфавита и делает попытку атрибуции тех лигатур, чтение которых оставалось проблематичным.

Большой интерес вызвал доклад И. Л. Кызласова и Л. Р. Кызласова (Москва) «Новая руническая письменность саяно-алтайских тюрков». Авторы отмечают, что в бассейне Верхнего Енисея, наряду с древнетюркскими памятниками, написанными хорошо известным вариантом рунического письма, обнаружено 17 граффити, главным образом наскальных, сходных по составу знаков с восточноевропейской руникой. По мнению авторов, руническое письмо данного типа, именуемое ими «южноенисейское», зародилось в бассейне Верхнего Енисея и существовало в качестве альтернативного варианта енисейского рунического письма.

О. Ф. Сертка (Стамбул) в докладе «Рукописные древнетюркские тексты и алфавит», вновь обращаясь к опубликованной А. фон Лекоком манихейской рукописи из Турфана, где указаны соответствия между некоторыми знаками манихейского письма и рунического алфавита, а также сопоставляя ее с рукописью, хранящейся в коллекции Рюкюского университета (Япония), в которой изображен ряд рунических графем, уточняет количество, порядок расположения и названия знаков древнетюркского алфавита. Наличие таких текстов, написанных на бумаге, а также большого числа бытовых предметов, украшенных древнетюркскими надписями, позволяет автору сделать предположение о том, что уровень грамотности тюрков раннего средневековья был высоким и обучение велось относительно широко.

Проблему возникновения древнетюркского алфавита также пытаются решить А. Шюккюрю (Баку) в докладе «Орфографические особенности знаков, обозначающих согласные звуки, в древнетюркском алфавите». В рунических памятниках отмечается явление, когда в словах с беззвонными гласными в опреде-

ленных позициях вместо ожидаемого «велярного» знака для согласного используется знак, коррелирующий с палатальным согласным. Если это явление, говорит автор, рассматривать как орфографические ошибки, то, по статистическим наблюдениям, наименьшее количество «ошибок» зарегистрировано в памятниках бассейна р. Енисей, а по мере удаления от этого региона «ошибки» количественно возрастают. Следовательно, заключает А. Шюкюрлю, руническая письменность возникла среди тюркских племен, обитавших в бассейне р. Енисей.

Второе заседание было посвящено теме «Древнетюркские рунические памятники: распространение в Азии и Европе и проблемы дешифровки». С. Г. Кляшторный (Ленинград) прочитал доклад «Имя царского рода тюрков в орхонских памятниках». Китайская хроника повествует о появлении в V в. в Восточном Тянь-Шане племени во главе с родом *ашина*, который впоследствии стал династичным родом Восточного и Западного тюркских каганатов. В древнетюркских рунических памятниках этот этноним не встречается. Развивая свою гипотезу, выдвинутую в 1964 г., а также признавая неубедительными гипотезы Х. В. Хаусита (1969) и К. Беквиса (1980), С. Г. Кляшторный предполагает этимологию на основе хотано-сакского языка, в котором, как и в ряде родственных ему иранских языков, искомая форма имеет значение «синий». Данная этимология является фонетически и семантически безупречной, поскольку цветовые обозначения были характерны для древней царской ономастики Восточного Туркестана. Автор отмечает, что этнополитим *kök türk* является тюркской калькой более древнего «ашина и тюрки», где иранское по происхождению *ашина* «синий» передано соответствующим тюркским словом. Тем самым констатируется присутствие в текстах имени царского рода тюрков и возможное осознание ими двусоставного характера тюркского племенного союза времен первых каганов.

С. Я. Байчоров (Черкесск) в докладе «Древнетюркские рунические памятники Европы» изложил основные положения своей одноименной монографии, представляющей собой публикацию 156 граффити, которые автор относит к рунической письменности северокавказского ареала и соотносит с надписями волгодонского и дунайского регионов. Ключом к дешифровке исследуемых памятников автор считает тексты Хасаутского могильника, выполненные, по его мнению, руническим и уйгурским письмом. В результате параллельного исследования и сопоставления их с памятниками других ареалов автор реконструирует алфавит

и определяет принципы древнетюркской орфографии. С. Я. Байчоров полагает, что в северокавказских памятниках нашли отражение три основных диалекта и один промежуточный диалект языка древних болгар, и, по мнению автора, рунические надписи дунайского, волго-донского и северокавказского ареалов являются памятниками болгарских диалектов.

И. В. Кормушин (Москва) в докладе «Поправки к чтению енисейских рунических памятников» предложил уточнения чтений фрагментов ряда древнетюркских текстов на основе проведенных им палеографических и текстологических исследований памятников Южной Сибири.

В докладе «Является ли надпись в честь Кюль-тегина записью текста выступления» А. Б. Эрджиласуи (Анкара), исследовав стиль языка текста, выделяет следующие стилистические обороты, характерные, по его мнению, для тюркской устной речи: прямые обращения, предложения-обращения, вопросительные предложения и др. Это позволяет автору выдвинуть гипотезу, что памятник в честь Кюль-тегина есть запись речи Бильге кагана, и, таким образом, памятник является первой зафиксированной тюркской речью, в отличие, например, от памятника в честь Тонъюкука, который является образцом письменного языка.

А. С. Аманжолов (Алма-Ата) в докладе «Тюркская руника Казахстана» перечислял ряд граффити, обнаруженных на территории Казахстана, которые, по его мнению, являются древнетюркскими руническими надписями. Их число, отметил докладчик, уже более двадцати, среди которых наскальные надписи, надписи на каменных, глиняных и бронзовых предметах. Большой интерес представляет руническая надпись на серебряном браслете, обнаруженном в Павлодарской области Казахстана. Опираясь на свою интерпретацию письменных знаков, докладчик подчеркнул важность новых эпиграфических находок для решения проблем истории древнетюркской письменности.

Теме «Проблемы грамматики древнетюркского языка» было посвящено третье заседание коллоквиума. В докладе «Придаточное предложение в орхонских памятниках и типы связей главного и придаточного предложений» М. Тулум (Стамбул), пояснив свои дефиниции сложного предложения, главного и придаточного предложений, выделяет следующие типы связей компонентов сложного предложения в древнетюркском языке: условный, причинный, причинно-результативный, временной, цели и намерения, противоположенности, количественного и

качественного сравнения, вида состояния и движения.

В докладе А. Е. Раджабова (Баку) «Некоторые проблемы орхоно-енисейских памятников» было отмечено, что при переизданиях и в новых публикациях, посвященных памятникам древнетюркской письменности, повторяются ошибки, допущенные при их первых изданиях. Пагубность подобной практики сказывается на новых исследованиях и, главным образом, при преподавании курса «Язык древнетюркских памятников», столь популярного в последнее время на филологических факультетах вузов тюркоязычных республик. Автор призвал к упорядочению транскрипции и транслитерации, предложив свои решения некоторых спорных моментов древнетюркской фонологии, в частности, вопросов различия гласных /ä/, /ö/ и /e/ и «древнетюркской долготы», а также заострил внимание на проблеме перевода ряда слов, словосочетаний и поговорок.

З. Коркмаз (Анкара) в докладе «Аффиксы отменного глагольного словообразования и структура корней в языке древнетюркских памятников» проводит мысль о том, что отмечающиеся в текстах древнетюркских памятников аффиксы отменного глагольного словообразования некогда были самостоятельными или вспомогательными глаголами. В качестве примера приводятся аффиксы *-ad/-ed- (<\*a-d-)*, *-r- (<\*er-)*, *-sa/-se- (<sa-)*, *-si/-si- (<si-)*. Автор полагает, что грамматикализация лексем является общим явлением для всех тюркских языков.

Н. Хаджиминюглу (Эдирне) в докладе «Грамматический строй древнетюркского языка и формант отглагольного именного словообразования -I» на основе анализа лексикона опубликованных текстов древнетюркского периода и современных языков предлагает систему разложения односложных древнетюркских глаголов на значимые составляющие, а также подробно рассматривает функцию форманта отглагольного именного словообразования -I.

В докладе «Древние тюркские элементы в системе языка: проблемы реконструкции» Е. З. Кажибекова (Алма-Ата) настоятельно призывает тюркологов к дифференциации древних тюркских срезов различной глубины и соответствующих им терминов: прототюркский, пратюркский, древнетюркский, среднетюркский, старотюркский, явлений общетюркских и мекротюркских. Данная классификация базируется не на хронологии, но на фактах эволюции системы языка. По мнению автора, тюркологам предстоит хронологизировать фоно-корреляты — конкретные чередования и соответствия, а также, возможно, морфоло-

гические явления, синтаксические модели, семантические характеристики слова-типа. Отдельные примеры корней с открытым слогом типа Г, СГ, СГСГ и т. д. в языке древнетюркских памятников представляют собой образец использования исторически реальных древних фактов для аргументирования еще более древних феноменов в современных тюркских языках. Для реконструкции пратюркского состояния необходимо совмещение методов внутренней и внешней реконструкции с апробацией на уровне промежуточных праязыков.

Доклад Г. Гюльсевина (Малатья) «Следы чувашского, якутского и халаджского языков в языке древнетюркских памятников» посвящен месту чувашского, якутского и халаджского языков в генеалогической классификации тюркских языков (приложена таблица) и предположительному времени их отделения от общетюркского. Основываясь на фонетических, морфологических и лексических особенностях рассматриваемых языков в сравнении с языком рунических памятников, автор полагает, что чувашский и праякутский языки существовали как самостоятельные языки еще в орхоно-енисейский период.

На заседании по теме «Древнетюркские рунические памятники: история, литература и фольклор» были заслушаны доклады Д. Аксана (Анкара) «Поэтика древнетюркских памятников», С. С. Сакоглу (Конья) «Параллельные мотивы в древнетюркских рунических памятниках и в анатолийском фольклоре», Т. Байкара (Измир) «Древнетюркские памятники и история расселения тюрков», Ш. Ибраева (Алма-Ата) «Принципы систематизации общих мотивов в древнетюркских рунических памятниках и в казахском фольклоре».

Большое внимание, уделяемое тюркологами разных стран изучению древнетюркских рунических памятников, объясняется их особым значением для истории и культуры всех тюркских народов. Рекомендации, зафиксированные в резолюции III советско-турецкого коллоквиума, направлены на объединение усилий ученых двух стран для сохранения и исследования этих памятников: предполагается издать атлас всех известных на сегодняшний день памятников, заново транскрибировать и перевести их, и на этой основе вести дальнейшие филологические и исторические исследования. Участники коллоквиума обратили внимание на необходимость принятия срочных мер для музейного хранения памятников (некоторые из них находятся в критическом состоянии), а также поддержали предложение провести в 1993 г. в Туве и Хакасии международный семинар, посвя-

щенный 100-летию расшифровки знаков древнетюркского рунического алфавита Вильгельмом Томсоном.

Проведение коллоквиума по проблемам тюркологии в столице Казахстана будет способствовать дальнейшему развитию тюркологии в республике, и в частности — ускорит создание Тюркологического центра в Алма-Ате.

4—6 июня 1990 г. в Москве проходила V Всесоюзная конференция по китайскому языкознанию, организованная Институтом языкознания АН СССР и Отделом языков Института востоковедения АН СССР.

В работе конференции приняли участие сотрудники и аспиранты научно-исследовательских учреждений, высших учебных заведений Москвы, Ленинграда, Киева, Бишкека, Ташкента, Читы, Новосибирска, ученые из КНР и СРБ.

Во вступительном слове председатель Оргкомитета конференции директор Ин-та языкознания чл.-корр. АН СССР В. М. Солицев (Москва) отметил роль китайского языка для общего языкознания. Именно китайский язык дал возможность сделать уточнения в определении общей категории частей речи и подойти к ним с точки зрения классов слов, отличающихся грамматическими свойствами. Удалось показать, что части речи — это классы слов, не обязательно связанные с морфологией. В. М. Солицев выразил удовлетворение тем, что в Советском Союзе идет рост исследований по китайскому языку. Им была отмечена также важность контактов с китайскими учеными.

В докладах и выступлениях рассматривались различные аспекты китайского языка в плане общей теории значения, структурной организации его единиц на разных уровнях; приводились данные грамматического, семантического, акустического анализа; уточнялись типологические характеристики. Исходным материалом для анализа являлись как современное состояние языка, так и его история [см. подробнее: Актуальные вопросы китайского языкознания: Материалы V Всесоюзной конференции (Москва, июнь, 1990 г.). М., 1990].

В. И. Горелов (Москва) рассмотрел некоторые вопросы ономастологии. Он проанализировал различные наименования с точки зрения присущей им внутренней формы и способов номинации, выделив при этом в качестве важной ономастологической особенности китайского языка явность внутренней формы многосложных слов и образность номинации.

В. М. Солицев в докладе «О характере значения существительных в ки-

тайском языке» привел факты, показывающие способность существительных китайского и других формализующих языков обозначать без счетных слов как отдельные предметы, так и совокупности их. Это объясняется природой значений существительных, большинство из которых не имеет форм числа, в то время как в русском и других языках, имеющих формы ед. и мн. числа, эта способность закреплена за формой ед. числа. Появление счетных слов было обусловлено потребностью эксплицитного выражения штурности, единичности, определенности предметов.

Сарыбаев К. Ш. (Алма-Ата)

Значительный интерес вызвал доклад китайского профессора Чжан Чжи (Яньтай) «Общепринятое и специфическое в лексико-семантической системе языка». Он исходит из наличия в лексической системе семантических полей и лексических рядов, каждая единица лексического ряда занимает свое место в семантическом поле. Чжан Чжи дал характеристику общему и специфическому названию объектов внеязыковой действительности с учетом их взаимосвязи, временной последовательности и исторического развития.

В центре внимания участников конференции оставались и такие базовые для китайского языкознания проблемы, как особенности грамматического строя китайского языка, характеристика его морфологических форм и способов словообразования. В докладе Тань Аошуня и (Москва) «Категория отрицания в китайском языке» исследовались два способа выражения отрицания: при помощи отрицательных частиц *бу* и *май* и сфера их действия. Т. Н. Никитина (Ленинград) рассмотрела переходные и непереходные глаголы в китайском языке, отметила отсутствие согласия у исследователей китайского языка при решении общей проблемы переходности, что вызвано, по ее мнению, «некоторой мнимостью самой проблемы».

В докладе «Грамматическая роль и соотношение синтаксических средств организации подчинительных структур в китайском языке» Е. И. Шуговой (Москва) устанавливаются два функциональных типа формально-синтаксических средств: 1) прямой, 2) непрямой, или частеречной, синтаксической значимости. Та-

кого рода характер распределения функциональных сфер употребления синтаксических средств является отражением специфического для китайского языка грамматического механизма взаимосвязи синтаксического и лексико-грамматического уровней, категорий синтаксиса и категорий слов (частей речи). В докладе Н. В. Солидевой (Москва) «К вопросу о контроле агенса над действием» отмечалось, что в китайском языке агентивное начало представлено очень широко, воздействие агенса фактически распространяется на весь строй предложения и прежде всего осуществляется через соположение подлежащего — агенса со сказуемым. Кроме того, китайский язык небезразлично относится к тому, чем выражен агент. Автор доклада нарисовал сложную картину взаимодействия агентов разных рангов с группой сказуемого. Соотносительность подлежащего и сказуемого уходит корнями в лексику и в корреляты одушевленности / неодушевленности.

Результаты исследований особенностей именной суффиксации на материале нормативного словаря современного китайского языка «Сяньдай ханьюй цидянь» (1979) доложил А. А. Беликов (Москва). Общее количество статей, содержащих единицы с суф. *-чи* или *-эр*, — 3162, комбинационное употребление суффиксов не характерно (только 6 с двойной суффиксацией). Л. Н. Морев (Москва) остановился на типологически существенных различиях, касающихся порядка слов в китайском и тайском языках на территории Китая.

Целая серия докладов была посвящена особенностям лексической системы современного китайского языка. Так, широко распространенное явление двух форм существования слова рассмотрела И. Б. Кульчицкая (Москва), показавшая возможность оценки обоих членов пары в качестве лексических вариантов в том случае, если они квалифицируются как словесные единицы. В докладе М. В. Софрониной (Москва) исследовались трехлогические лексические единицы с точки зрения их грамматической и семантической структуры. Описание референта, выполненное с помощью трехлога, позволяет идентифицировать его с большей точностью по сравнению с бинмомом. Неаддитивные трехлоги представляют собой редкое явление в лексике современного китайского языка. Автор отметил факты гаплогонии при устранении плеонастической морфемы.

Слова со своей семантической структуре весьма разнообразны. Существуют употребительные слова, насчитывающие более десятка или даже несколько десятков значений. Именно они представляют

наибольшую трудность для лексикографической разработки. О своем подходе к решению этого вопроса рассказала А. Л. Семенов (Москва), выделив особо те случаи, когда многозначность является следствием перевода, а не объективно присущей слову данного языка.

В ряде докладов сообщалось об изучении отдельных групп лексики и ее элементов. Т. В. Кудай (Москва) исследовала семантическое поле глаголов со значением «брать», выделяя семантические признаки местонахождения предмета и способа действия. Использовалась методика идентификаторов на основе словарных дефиниций. Лексико-семантическая группа движения, насчитывающая 500 глаголов, выделялась О. П. Фроловой (Новосибирск) на основе двух критериев: направления и способа действия, которые могут проявляться как совместно, так и порознь. Н. В. Денисова (Москва) рассмотрела одно из значений лексемы *е* («тоже, также, и») и ее корреляты в русском языке, показав сферу действия, необходимые и факультативные валентности данной лексемы. А. А. Каримов (Ташкент) доложил о своем опыте диахронического изучения счетных слов в древнекитайском языке, выделив основные модели их употребления для количественного выражения имен и глаголов, что необходимо для лучшего понимания природы и специфики этого явления в современной лексике.

Внутренней форме китайских иероглифов и преемственности ее основных свойств был посвящен доклад В. Ф. Резаненко (Киев). Особенность семантико-графической структуры иероглифического знака является одним из важных факторов, способствующих сохранению и применению иероглифики в Китае и некоторых других странах Юго-Восточной Азии. Е. Н. Румянцев (Москва) сообщил о некоторых фактах из истории реформы китайской письменности, имевших место накануне победы народной революции в Китае. Вопросы типологии и функционирования китайского архаичного письма были темой сообщения С. Н. Шевцова (Москва). О работе по исследованию специфических особенностей тибетского письма и систематическом анализе его основной единицы — силлабограммы доложила И. Н. Комарова (Москва). В своем подходе она исходит из идеи соотношения графического и фонологического слогов на парадигматическом уровне.

На конференции была представлена также серия докладов, посвященных фонетико-фонологической системе китайского языка. А. М. Карапетьянц (Москва), проанализировав распределение слов по длине и фонологию легкого

тона, пришел к выводу, что односложность — это признак «центральной» слова, двусложность характеризует мало распространенную лексему, а трехсложность свойственна периферии языка. Двуслоги с легким тоном можно считать словами «полудурной» длины. Постсиллабизацию следует относить к речевым фактам, приводящим к появлению слогов, системой китайского языка не предусмотренных. М. Х. И м а з о в (Бишкек) в докладе «О просодических смыслообразительных средствах в дунганском языке» привел две разные характеристики тонов. Функция тонов в основном смыслообразительная. Кроме того, в качестве средства семантического различия двусложных и многосложных слов выступает ударение.

Построение типологической теории фонологической системы китайских диалектов возможно осуществлять на основе сравнения сильноконтрастных живых фонетических систем китайских диалектов. К таковым относятся, в частности, шанхайский, мэйсяньский и пекинский. Именно на этом материале проводились исследования А. Н. А л е к с а х и н а (Москва) инспираторных гласных в фонетических системах и их фонетических корреспондентов — ретрофлексных гласных.

На материале указанных выше трех диалектов опыт акустического анализа разнотональных гласных провели А. Н. А л е к с а х и н и К. И. Д о л о т и н (Москва). В докладе Р. А. Я н с о н а (Ленинград) говорилось о терминологическом и понятийном аппарате слоговой фонологии, представленной в трудах исследователей китайского, тайского, бирманского языков.

Кроме теоретических докладов, на конференции обсуждались различные вопросы, касающиеся прикладной лингвистики, практики преподавания китайского языка. В. П. М е н ь ш и к о в (Киев) сообщил об опытах по интенсификации обучения китайскому языку. Циклическое построение учебного процесса, психологическая подготовка учащихся к введению большого по объему материала создают благоприятные условия для дальнейшей творческой работы.

Обсуждение представленных на конференции докладов отразило возросший уровень исследований советских ученых по китайскому языкознанию.

Очередную, VI конференцию по китайскому языкознанию предполагается провести в г. Москве в 1992 г.

*Семенов А. Л.* (Москва)

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ  
«ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» В 1991 Г.

СТАТЬИ

Алексеев М. Е. Проблемы исторической грамматики лезгинского языка	2
Белова А. Г. Структура семитского корня и семитская морфологическая система	1
Богуславский И. М. Лингвистический процессор и локативные обстоятельства	1
Бондарко А. В. Носитель предикативного признака (На материале русского языка)	5
Гамкрелидзе Т. В. К проблеме историко-этимологического осмысления этнонимии древней Колхиды	4
Гаспаров М. Л. Рассказ А. П. Чехова «Хористка» с точки зрения риторической теории статусов	1
<b>Гин Я. И.</b> К вопросу о построении поэтики грамматических категорий	2
Гиндин Л. А., Цымбурский В. Л. Отражения индоевропейских лабиовелярных в древнемакедонском	2
Голубева-Монаткина Н. И. Классификационное исследование вопросов и ответов диалогической речи	1
Грибберг Дж. Г. Об утрате гармонии гласных в некоторых чукотско-камчатских языках	3
Десницкая А. В. О В. М. Жирмушском — языковеде (К столетию со дня рождения)	6
Журавлев А. Ф. К проблеме расселения древних славян (О так называемом «графоаналитическом методе»)	2
Зубкова Л. Г. Словесное ударение в характерологическом, конститутивном и парадигматическом аспектах	3
Калауцкая Л. П. Размышления о русской лексикографии (в связи с выходом в свет Русско-японского словаря)	1
Калашникова Г. Ф., Альникова В. Ю. О структурной организации русского полипредикативного сложносочиненного предложения	6
Касаткина Р. Ф. Рефлексы * <i>ε</i> в некоторых севернорусских говорах	2
Кибрик А. А. О некоторых видах знаний в модели естественного диалога	1
Кравецкий А. Г. К изучению текста богослужебных книг (Паримейная версия книги пророка Ионы)	5
Кулагина О. С. Об аспекте меры в лингвистическом знании	1
Лебедева Л. Б. Референциальные критерии в типологии высказываний	6
Левин Ю. И. От синтаксиса к смыслу и дальше (о «Котловане» А. Платонова)	1
Леман В. П. Новое в индоевропейских исследованиях	4, 5
Лубецкий А. Ведийская именная акцентуация и проблема праиндоевропейских тонов	1
Мароевич Р. Лингвистика и поэтика многозначности (Славянские переводы «Двенадцати» А. Блока)	3
Мельничук А. С. О всеобщем родстве языков мира	2, 3
Мельчук И. Еще раз к вопросу об эргативной конструкции	4
Мигачев В. А. О реконструкции морфонологических процессов (На материале германских языков)	5
Муравицкая М. П. Психолингвистический анализ лексической омонимии в украинском языке	1
Мурясов Р. З. Номинализация и аспектология	2
Николаева Т. М. Диахрония или эволюция? (Об одной тенденции развития языка)	2
Павлович Н. В. Парадигмы образов в русском поэтическом языке	3
Падучева Е. В. К семантике несовершенного вида в русском языке: общезначительное и акциональное значение	6

П ю р б е е в Г. Ц. К типологии развития словосочетаний в монгольских языках	3
Р у л и л о в М. Происхождение языка: ретроспектива и перспектива	1
С к л я р е н к о В. Г. К истории славянской подвижной акцентной парадигмы	6
С к р е б н о в Ю. М. Анисомы, псевдопроблемы и проблематика стилистики	1
С т е п а н о в Ю. С. Несколько гипотез об именах букв славянских алфавитов в связи с историей культуры	3
Ф е д о р о в Л. Л. Типология речевого воздействия и его место в структуре общения	6
<b>Х а б у р г а е в Г. А.</b> Проблема диглоссии и южнославянских влияний в истории русского литературного языка (В связи с книгой Б. А. Успенского «История русского литературного языка / XI — XVII вв. »)	2
Х а л и л о в М. Ш. К вопросу о грузинско-дагестанских языковых контактах (К постановке проблемы)	6
Х р а к о в с к и й В. С., О г л о б л и н А. К. Группа типологического изучения языков ЛО Института языкознания АН СССР: теоретическая программа, исследовательские принципы, рабочие приемы	4
Ш а л я н и н З. М. Грамматика и ее соотношение со словарем при словоцентрическом подходе к языку (На опыте формализованного лингвистического описания)	5
Ш в е й ц е р А. Д. Проблемы контрастивной стилистики (К сопоставительному анализу функциональных стилей)	4
Ш е в о р о ш к и В. В. Лингвистический анализ новых зарийских надписей (Находки 1985 г.)	3
Ш м и д т К. Х. Место сванского в семье картвельских языков	2
Ш у т о в Е. И. Система членов предложения современного китайского языка	6
Э п ш т е й н М. Н. Идеология и язык (Построение модели и осмысление дискурса)	6

#### ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЙ

К а й н е р т Г. Крещение Руси и история русского литературного языка	5
П р и ц а к О. И. Происхождение названия <i>RUS/RUS'</i>	6

#### ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Г у х м а н М. М. Литературный язык и культура	5
Ж у р а в л е в В. К. Теория языковой эволюции Е. Д. Поливанова	4
П о л и в а н о в Е. Д. Краткая фонетика японского языка. Выпуск I. Звуковой состав японского языка	4

#### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

##### Обзоры

А р н о л ь д И. В. Современные лингвистические теории взаимодействия системы и среды	3
М а к о в с к и й М. М. Теория языка Фридриха Ницше и современные лингвистические концепции	1
П л у н г и н В. А., Р а х и л и н а Е. В. О сборниках статей проблемной группы «Логический анализ языка»	2

##### Рецензии

А г е е в а Р. А. <i>Стаатмане В. Э.</i> Ономастическая лексикография	5
А л п а т о в В. М. <i>L'Hermite R. Marr, marrisme, marristes. Une page de l'histoire de la linguistique soviétique</i>	1
Б о р о д и н а М. А., Н а й д и ч Л. Э. <i>Смирницкая С. В.</i> Ареальная специфика рейнско-мозельского региона	5
В л а д и м и р о в Л. А. <i>Озрен И.</i> Паренесис Ефрема Сирина. К истории славянского перевода	4
Г в и ш и а н и Н. Б. Understanding the lexicon. Meaning, sense and world knowledge in lexical semantics	5
Г о л у б е в а - М о н а т к и н а Н. И. <i>Yokoyama O. T.</i> Discourse and word order	2
З и н д о р Л. Р. <i>Потапова Р. К.</i> Речевое управление роботом	3

Климов Г. А., Сарджвеладзе З. А., <i>Ониани А. Л.</i> Вопросы сравнительной грамматики картвельских языков (именная морфология) . . . . .	3
Кочерган М. П., <i>Тараненко А. А.</i> Языковая семантика в ее динамических аспектах (основные семантические процессы) . . . . .	5
Красухин К. Г., <i>Seriot P.</i> Analyse du discours politique soviétique . . . . .	6
Маковский М. М. Etymologisches Wörterbuch des Deutschen . . . . .	3
Михайлова Т. А., <i>Rockel M.</i> Grundzüge einer Geschichte der irischen Sprache . . . . .	2
Момина М. А., <i>Ioannis C. Tarnanidis.</i> The Slavonic manuscripts, discovered in 1975 at St. Cathrine's monastery on mount Sinai . . . . .	6
Насилов Д. М., <i>Doerfer G.</i> Grammatik des Chaladsch . . . . .	4
Плунгин В. А. Sociolinguistics. An international handbook of the science of language and society . . . . .	6
Сарыбаев К. «Майтрисмит» . . . . .	2
Слюсарева Г. А. Language Typology. 1987. Systematic balance in language . . . . .	5
Софронов М. В. Китайско-русский словарь . . . . .	2
Татаринцев Б. И., <i>Щербак А. М.</i> Очерк по сравнительной морфологии тюркских языков . . . . .	3
Тестелец Я. Г. Typology of resultative constructions . . . . .	4
Тумаянц Э. Г., <i>Hyarapetyan S. P.</i> Hay hin ew mijnadarean gzakanuthean ratmuthiwn . . . . .	5
Туркин А. И. Wotjakischer Wortschatz . . . . .	3
Черданцева Т. Э., <i>Будагов Р. А.</i> Толковые словари в национальной культуре народов . . . . .	1
Шаховский В. П., <i>Volek B.</i> Emotive signs in language and semantic functioning of derived nouns in Russian . . . . .	3
Ширнев Е. Н., <i>Шварцкоф Б. С.</i> Современная русская пунктуация: система и ее функционирование . . . . .	6
Шмальштик У. Р., <i>Michellini G.</i> Linguistica stratificazionale e morfologia del verbo: con applicazione alle lingue baltiche . . . . .	4

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Письмо в редакцию . . . . .	5
Хроникальные заметки . . . . .	1-6

Технический редактор *Беллева Н. Н.*

Сдано в набор 29.08.91	Подписано к печати 05.11.91	Формат бумаги 70×100 <sup>1/8</sup>
Офсетная печать	Усл. печ. л. 43,0	Усл. кр.-отт. 50,0 тыс.
	Тираж 372 экз.	Уч.-изд. л. 14,8
	Заказ 1889	Бум. л. 5,0
		Цена 2 р. 30 к.

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волковна, 18/2. Институт русского языка,  
телефон 203-00-78

2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6